

УРАЛЬСКИЙ

**Следопыт**

**10 '90**





ПЕРЕДАЧА СЕМЬИ РОМАНОВЫХ УРАЛСОВЕТУ. Художник В. Н. Пчелин

### ОТКРЫТКА ИЗ 1927 ГОДА

В каждой семье найдутся два-три фотоснимка, которые попали в семейный альбом неизвестно когда и никакого отношения к оной семье не имеют. Так было и с этой открыткой. В конце двадцатых годов эти открытки продавали с лотков. Ее купили. Потом наступили времена, когда хранить подобное было даже опасно: могли обвинить в антисоветизме, в монархизме, могли признать врагом народа. Но открытка была сохранена.

Мы видим фоторепродукцию с картины «Передача Романовых Уралсовету». В 1927 году предполагалось широко отпраздновать «юбилей» расправы над царской семьей. Накануне предстоящих торжеств известный художник-реалист В. Н. Пчелин получил заказ — написать это историческое полотно. Побеседовав с очевидцами, восстановив подробности момента, художник передал атмосферу того апрельского дня 1918 года, когда на платформу в Екатеринбург, окруженные красноармейцами, сошли Николай с царицей и младшей дочерью. Комиссар Яковлев с помощником «передавали» высочайших особ членам Уральского Совета Белобородову, Голощекину, Дидковскому. Уже приготовлен Ипатьевский особняк; уже назначен комендант «дома особого назначения» — Юров-

ский... Через девять лет Юровский предложит Музею Революции «исторические реликвии» — кольт и маузер, из которых были выпущены пули в русскую монархию...

«Юбилей» казни не состоялся. Револьверы в экспонаты негодились. Картину «арестовали», был исключен из партии директор музея, в котором она хранилась. Голощекин, Белобородов, Дидковский впоследствии пошли под расстрел как троцкисты.

Слишком много имен и событий приказано было забывать. Считалось, что мудрость «сверху» должна исключить все наши сомнения, все наши оценки. Но вопреки всему — репрессиям, догмам, усилиям наушников и доносчиков — хранилась, например, в свердловских домах и эта открытка. Люди, далекие от власти и правления, понимали историю лучше, чем иные правители, считавшие, что они «делают историю», и не спешили так быстро забывать имена — будь то герои или жертвы. Потому что они-то и есть истинная история наша, и как бы она ни развивалась — из нее ничего нельзя выбросить, предать забвению...

[Фотооткрытка из архива Лилии Алексеевны Козловой]

УРАЛЬСКИЙ

# СЛЕДОПЫТ



## 10 '90

### В НОМЕРЕ:

И. Кобзев	РАЗМЫШЛЕНИЕ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА . . . . .	2
Л. Богоявленский	КРЕПОСТЬ НА ИСЕТИ . . . . .	7
Н. Никонов	ОРНИТОПТЕРА РОТШИЛЬДА. Начало . . . . .	9
В. Дагуров	Стихи . . . . .	28

### ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

В. Крапивин	КРИК ПЕТУХА. Повесть. Окончание . . . . .	29
А. Конан Дойл	ВЛАДЫКА ТЕМНОЙ СТОРОНЫ. Повесть . . . . .	41
Заочный КЛФ . . . . .		53

А. Кымытваль	НА КРАЮ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ . . . . .	55
--------------	-------------------------------------	----

Б. Жуланов	МОЙ СУРОВЫЙ, НЕЖНЫЙ КООЛЕНЬ . . . . .	56
------------	---------------------------------------	----

М. Сорокин	СИБИРСКИЕ ТРАВНИКИ . . . . .	60
------------	------------------------------	----

Э. Берроуз	ТАРЗАН — ПРИЕМЫШ ОБЕЗЬЯНЫ. Продолжение . . . . .	61
------------	--	----

И. Павлович	МНОГОЭТАЖНАЯ ВСЕЛЕННАЯ . . . . .	71
-------------	----------------------------------	----

Р. Буруковский	ТАЙНА ЭЛИКСИРА КЛЕОПАТРЫ . . . . .	73
----------------	------------------------------------	----

С. Казанцев	НЕСТИ МИР И РАДОСТЬ . . . . .	77
-------------	-------------------------------	----

Н. Ивлев	КАМЗОЛ, ПАРИК И ПАПИРОСА . . . . .	79
----------	------------------------------------	----

В. Кулемзин	ПО СЛЕДАМ ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ . . . . .	80
-------------	---	----

### Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН  
(главный редактор),  
Евгений АНАНЬЕВ,  
Виктор АСТАФЬЕВ,  
Виталий БУГРОВ,  
Муса ГАЛИ,  
Юний ГОРБУНОВ,  
Герман ИВАНОВ  
[заместитель  
главного редактора],  
Сергей КАЗАНЦЕВ  
[ответственный секретарь],  
Владислав КРАПИВИН,  
Юрий КУРОЧКИН,  
Давид ЛИВШИЦ,  
Николай НИКОНОВ,  
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,  
Анатолий СЕМЕРУН,  
Константин СКВОРЦОВ,  
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,  
Юрий ШИНКАРЕНКО

Художественный редактор  
Евгений ПИНАЕВ  
Технический редактор  
Людмила БУДРИНА  
Корректор  
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакция:  
620219, г. Свердловск,  
ГСП-353, ул. Декабристов, 67  
Телефоны отделов:  
22-36-62 (фантастики),  
22-45-01 (краеведения,  
секретариат),  
22-10-74 (писем,  
науки и техники),  
22-04-81 (прозы и поэзия,  
публицистики,  
молодежных проблем).

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати». Бракованные экземпляры отправлять в типографию издательства «Уральский рабочий»

Сдано в набор 09.07.90.  
Подписано к печати 21.08.90.  
Формат бумаги 84×108<sup>1/16</sup>.  
Бумага типографская № 2.  
Высокая печать.  
Усл. печ. л. 8,82.  
Уч.-изд. л. 14,10.  
Усл. кр.-отг. 11,76.  
Тираж 500 000.  
(2-й завод: 250 001—500 000).  
Заказ 535.  
Цена 40 коп.

Типография издательства  
«Уральский рабочий»  
620219, г. Свердловск,  
пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки фото  
Николая Маркова

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР  
СВЕРДЛОВСКОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
И СВЕРДЛОВСКОГО  
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ  
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК  
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ  
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ижевску — 230 лет



# РАЗМЫШЛЕНИЕ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Игорь  
КОБЗЕВ

Может быть, покажется нескромным, что заметки о городе я начинаю с себя. Но ведь мой город — это и моя судьба.

Случилось так, что знакомиться с историей Ижевска начал лет с четырех, в 60-е годы. Нас, воспитанников детского сада, одетых в одинаковые панамы, водили гулять на зеленую лужайку с еле заметными, заросшими травой холмиками: с 1810 по 1928 годы здесь находилось кладбище (сейчас на этом месте стадион «Зенит»). Крестов там не было, так же, как и надгробий, использованных еще до войны под фундаменты новых зданий. Вдали белела церковь-оригиналка с нарисованными колоколами. Их изображения, трогательные в своем наивном великолепии, были вставлены в проемы колокольни, как картины в рамы. Окруженные березами и соснами зеленые полянки были пустыни. Лишь старушки, согнутые пополам, селили в церковь, да козы, облепленные, как медалями, колючими ресьями, мирно шипали травку.

Мы ловили бабочек, играли в «войну» или рвали ромашки возле памятника. Нам читали «Сказку о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его Твердом Слове» и рассказывали, что здесь похоронен такой же смелый солдат Красной Армии, у которого хотели узнать военную тайну. Но он ничего не рассказывал врагам, и тогда его живьем закопали на этом вот месте, избитого и связанного.

Позднее, когда я узнал, что нам рассказывали об Иване Пастухове, памятника здесь уже не было. Памятник и останки перенесли отсюда во второй половине 60-х годов, когда началось строительство стадиона.

Я помню, как здесь разрушали самое беззащитное, что есть у человека, — могилы. Эскаваторы вырывали кости, какие-то медные пуговицы с орлами. Помню, как жигерасты дурали-мальчишки, не ведая, что творят, играли в футбол желтым человеческим черепом до тех пор, пока студент-биолог пединститута (рядом было общежитие) не отобрал его у них: натуральные

череп ценились у специалистов. Мои родители жили в общежитии, и я видел в комнате будущего педагога на подоконнике рядом с карандашами, конспектами, пепельницей и гитарой эту бывшую человеческую голову. Кто ее носил на своих плечах? Архитектор Дудин? Выдающийся русский крепостной механик Собакин? Основатель рабочего театра полковник Васильев? Или простой мастеровой? Кто теперь это расскажет?

В 8-м классе я прочитал «Москву и москвичей» Гиляровского и с грустью задумался над его словами: «Я — москвич! Сколь счастливы тот, кто может произнести эти слова, вкладывая в них самого себя». А чем мне гордиться? Мой город история вроде бы обошла стороной. Интересного о нем я ничего не слышал. Люди, с которыми я знакомился во время каникул, знали Ижевск только по промышленной продукции, а на вопрос, где он находится, туманно отвечали, ставя в названии города неверное ударение на букву «и»: «Где-то в Сибири», «в Поволжье» или что это столица братской Кара-Калпакии.

Если бы вы знали, как мне хотелось быть тогда москвичом или ленинградцем! Родственников у нас на Урале не было, и каждое лето я приезжал сначала с родителями, потом один в Москву, в набитый толкающимися людьми Казанский вокзал.

Но проходили недели, и дым отечества тянул меня назад: хотелось увидеть друзей, знакомые улицы. Через столичные впечатления Ижевск становился не дальше, а ближе. То, что раньше не замечал в нем, теперь бросалось в глаза.

Я приезжал в Ижевск с его просторием («зачем» вместо «почему», «мороженка», «боретки», «лб-жить»), с разноцветными дымами в его небе, деревянными тротуарами и странной застройкой: геометрический центр его (Восточный поселок) сплошь застроен деревянными домами и даже «садогородами» (ижевское слово), а окраины — высотными зданиями. Ехал домой по деревянным улицам на «однёрке»

(жители других городов не понимают значения этого слова).

Идет по улице трамвай,

в объемных бликах светотени.

Растет на улице трава,

кусты смородины, сирени.

(О. Хлебников)

Народ здесь молчаливый. В общественном транспорте почти никто не разговаривает, и городских новостей, в отличие от Казани или Москвы, здесь не услышишь. Смотрел на родные вывески «Хлеб» (в Москве не увидишь ни одной такой надписи, так же впрочем, как в Ижевске не найдешь традиционной московской вывески «Булочная». Однако недавно они появились и в Ижевске). Разглядывал медного Пастухова, приглашающего прохожих застывшим движением мускулистой руки, по странному замыслу архитекторов, посетить... «Блинную». Надевал весной и осенью сапоги (приезжие удивляются: «Это ваша национальная обувь?»). Но что поделаешь — у нас глинистая почва, поэтому сапоги и «атарские галоши» — необходимые атрибуты ижевской жизни. Мыл обувь в стоящих перед каждым учреждением корытах с плавающими в них мочальными кисточками. Такой экзотики тоже не увидишь, например, в Москве.

И я сделался Плюшкиным, собирающим любовитные факты из прошлого своего города. По привычке делать выписки из книг, документов, разговоров со старожилками, я накопил огромный запас бумажного материала с забавными происшествиями. Решив угостить ими читателей, часть заметок предлагаю журналу и посвящаю их 230-летию Ижевска.

## АЭРОПЛАН

В синем

Небе,

Высоко

Над землей

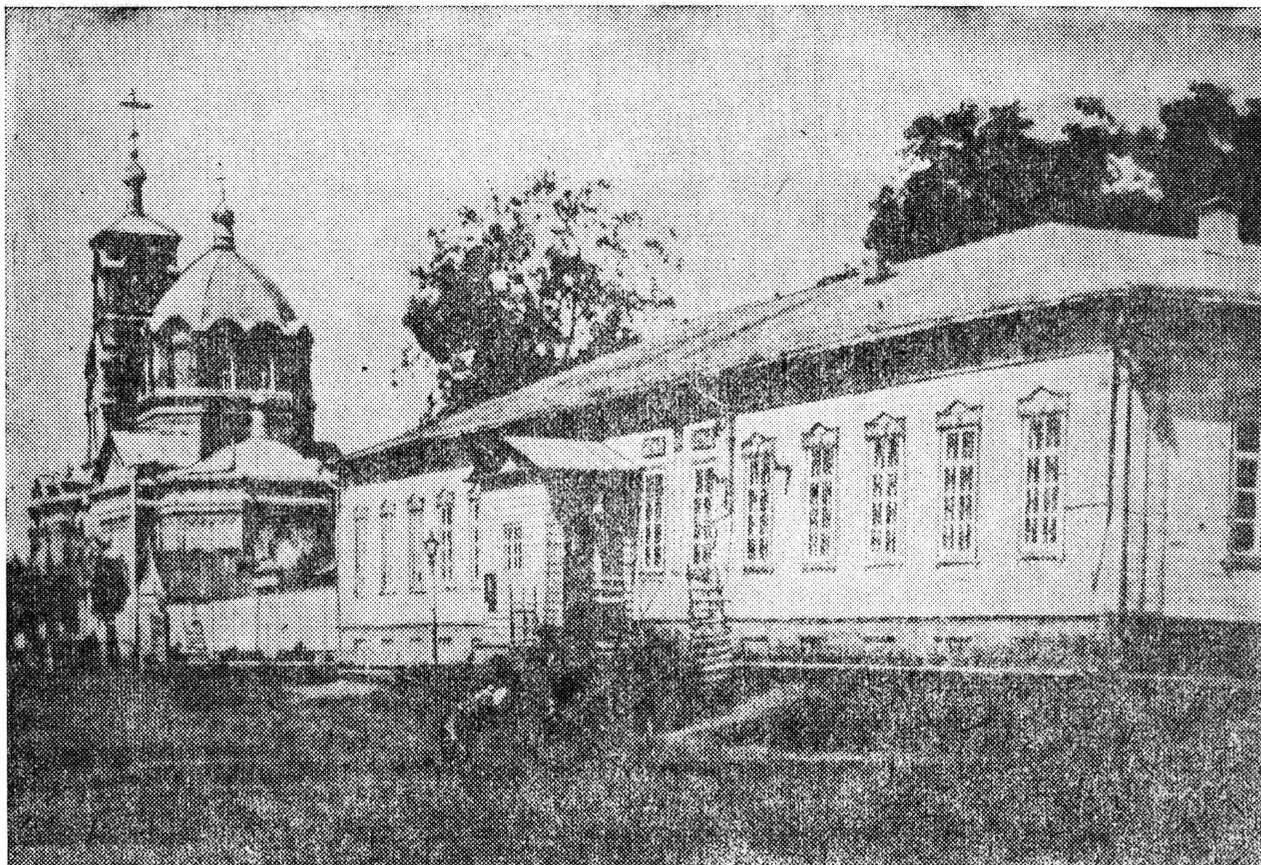
Он гудит, кружась в прозрачной

высоте.

Его корпус весь железно-стальной,  
На крылах его — по красной

звезде...

И звенит его пропеллер слегка —



Александрo-Невский проспект села Ижева, начало XX в.

Гонит прочь  
от СССР

Облака.  
Злобный

Враг

Все беснуется, ждет.  
Потому всегда готов  
Самолет.

Это стихотворение удмуртский поэт Кузубай Герд написал в 1927 году, наверняка под впечатлением следующей любопытной истории. Она произошла в Ижевске в начале этого года после знаменитой воздушной экспедиции Москва—Пекин (в ней участвовали иностранные самолеты «юнкерс», «сальмсон» и четыре советских).

Представьте себе большую комнату Авиахима в Ижевске. С настенного портрета внимательно смотрит товарищ Рыков, всесоюзный председатель Авиахима. На потолке — модели воздушных шаров, дирижаблей, аэропланов. Висит плакат:

Стыдись! Твоего имени еще нет  
в списке акционеров  
ДОБРОЛЕТА.  
Вся страна следит  
за этим списком.

В комнате толпится народ. Идет запись желающих летать на агитсамолете «Все в Авиахим!» Он должен прибыть на днях из Москвы для демонстрации успехов Красной Авиации. «Ижевская правда» сообщила: «Самолет заглянет во многие уголки нашей Вотобласти. Многие крестьяне, еще до сих пор не знающие про существование летающих металлических птиц, увидят самолет и летающих людей. И не только увидят машину-птицу, летящую над облаками, но кое-кто из счастливых испытает удовольствие подняться в воздух и, оторвавшись от земли, любоваться деревней, своими односельчанами.

В Вотской области самолет пробудет восемь дней: пять дней в Ижевске и в течение трех дней будут совершены полеты по области».

Для «воздушных октябрин» выбрали лучших членов Авиахима. Авиахимовцы имели преимущество перед остальными. Они могли вознестись в небо за пять рублей, а все прочие — за десять.

И вот в солнечный мартовский день крылатая машина плавно коснулась снежной глади пруда и замерла. На пруду уже выстроилась очередь желающих летать. С тру-

дом удерживает толпу милиция: лед может проломиться. Давка. Споры.

— Я в первую очередь: мне на рабфак, — говорит парень в красных галифе и модных галошах.

— Батюшка, мне бы полетать, — просит старуха лет семидесяти.

Первые четыре счастливица устраиваются в пружинистых кожаных креслах, достают кисеты и свертывают папироски. Но пилот вежливо предупреждает, что в аэроплане курить нельзя. Пассажиры покоряются. Стальная птица вздрагивает и, разбежавшись, поднимается над Колтомой.

Вот свежее впечатление одного из воздушных путешественников:

«Плавно опускается левое крыло и поднимается правое. Выравниваемся, низко летим над Зареккой. Перед нашими глазами все как на ладони. Останавливаются прохожие. Задрав хвосты, бестолково мечутся по улицам испуганные коровы.

Покружив над окраиной, летим над центром города. Вот и Михайловский собор, вот и конец Береговой улицы. Снижаемся, чуть не задев за крышу крайнего дома... Наша машина плавно садится на поверхность пруда, и мы снова на месте посадки. Выходим из кабины. Бро-



Триумфальная арка «Красные ворота» с портретами Маркса, Ленина, Троцкого, 1919 г.

саем в толпу радостно торжествующе:

— Да здравствует советская авиация!»

Новая четверка занимает места... И снова внизу яичного цвета колокольни Александра Невского и Ильи Пророка, малиново-пряничный Михаил Архангел. Дымит на Тринадцатой улице «Березоль». Костина Мельница похожа на спичечный коробок, а часовня в Русской Карлудке напоминает игрушку.

Совершено десять полетов с 39-ю жителями города. Среди них рабочие, инженеры и один милиционер. На сегодня полеты закончены.

А вечером нарядная публика шагает по мартовскому снегу в клуб металлистов на встречу с красными орлами. Сдав в гардероб галоши и причесавшись, люди рассаживаются на длинных скамейках.

На сцену выходит румяный летчик. Он с увлечением рассказывает об успехах Красной Авиации и заканчивает свое выступление словами:

— Благодарю трудящихся Ижевска за товарищеский прием. Я от имени красных летчиков обещаю, что ни один неприятельский самолет не покажется над советской территорией.

За пять дней агитсамолет совершил 25 полетов над Ижевском. Потом, разбрасывая листовки, пролетел над селами и деревнями автономной области, после чего начался сбор денег для строительства самолета «Горд Удмурт» («Красный Удмурт»).

А когда растаял снег, на пруду совершала «полеты» 26-местная аэролодка «Климент Ворошилов». Ее построили в свободное от работы время пионеры мотопроизводства Можаров, Лутс и другие. Движимое пропеллером судно сооружено областным советом Авиахима. Билет на необычайно быстрый транспорт стоил 30 копеек.

Все это произошло в один год. В числе авиапассажиров вполне могли оказаться Можаров и Кузубай Герд. Не это ли событие натолкнуло одного из них на производство первой в СССР аэролодки, а другого на создание рисунка-стихотворения, по форме напоминающего аэроплан?

## ЦИРК

Зимний Ижевск 1926 года. Разговаривают два милиционера в синих галифе:

— Ты где вчера стоял на посту?

— В цирке. Клоунов слушал.

Давайте и мы с вами посмотрим

на ижевский цирк 20-х годов. Это деревянный, круглый, пахнущий навозом сарай. Он обернут обрывками цветных афиш. На них изображены «человек без нервов», «женщина-паук», «люди без костей». Два семиметровых шеста с флагами воткнуты в середину купола и перед главным входом. Над входом — раус, то есть балкон для зазывал. В цирке нет фойе, буфета. Отсутствие уборной вынуждает зрителей совершать экскурсии на улицу, к ближайшей изгороди. Освещается цирк керосиновыми фонарями и шестью окнами в куполе. Посетители отделены от улицы лишь одной дощатой стеной со щелями, в которые жадно глазет детвора.

Здесь холодно. Стуча зубами, обнялись на манеже борцы — Черная и Желтая Маски. Они греются, ломая и выворачивая друг друга. Над калужскими и рязанскими «чемпионами мира», договорившимися заранее, кто кого победит, струится сиреневое облако пара. Четыре печи тщетно пытаются согреть публику, сидящую в зипунах, валенках, буденовках. Но люди счастливы, потому что более 10 лет Ижевск не имел цирка, и вот он снова появился.

Давным-давно, еще до революции, в Ижевске выступал балаган

Первила. Потом господин Коромыслов, владелец сибирских и уральских цирков, построил на крутом берегу пруда, рядом с генеральским садом, собственное здание. Но, кроме дамских чемпионатов по французской борьбе, его посетители сейчас ничего не помнят.

В период гражданской войны увеселительное заведение сгорело. Потом лишь отдельные цирковые артисты выступали в кинотеатрах перед сеансами и на открытом воздухе.

Запомнилось горожанам выступление атлета Поддубного 2-го (В. Ф. Бабушкина) летом 1920 года. Его увидел почти весь город — 52 тысячи человек. Ижевские организации — Пролеткульт и Красноармейский клуб имени товарища Троцкого — устроили тогда в Летнем саду народное гуляние. Атлет поднимал лошадь и 60 человек, крутил живую карусель, рвал цепи, гнул шест и головой железо, ломал пятикопеечные монеты... В заключение его зарыли в землю на 3 аршина, и он пробыл там 15 минут. Денежный сбор поступил в помощь пострадавшим в боях за «советскую Польшу и красную Варшаву», а также погорельцам деревни Пушкари Якшур-Бодьинской волости.

Только при НЭПе индустрия развлечений оживилась. Владельцы цирка «Коларт» построили в 1926 году на Сенной площади в районе разобранного госпитала здание на 1500 зрителей. Первые представления состоялись осенью — гастроли Соньки Золотой Ручки, от которых пахивало старым временем. После представлений дети катались на пони и осликах.

Прошло несколько месяцев, и «Коларт» обанкротился. Появился новый частный цирк — «Эстрада». Рядом с ним находился Сенной рынок, где особенно многолюдно.

В базарные дни, Новый год и масленицу на улицу выходят размазанные клоуны, ловкие фокусники, мужественные укротители сомнительных хищников без зубов и когтей и зовывают посетителей.

Около них толпятся добродушные крестьяне.

— Сходим, что ли, Ванька?

— Денег жалко.

Нерешительность мужиков раздражает клоуна с красным носом. Он не сдерживается и говорит вовсе не цирковым языком:

— Чо шары вылупили? Заходи-те! — Но, опомнившись, культурно улыбается: — Милости просим, товарищи!

У клоуна на душе кошки скребут. Горожане уже успели разобрататься в жульничестве «Эстрады», а сейчас и деревню сюда калачом не заманишь. Цирк работает с переборами. Жалованье платить нечем.

Артисты очень переживают и выходят на арену нетрезвые.

А недавно произошла неприятность. Дело в том, что на купол цирка забираются беспризорники, курят там махорку, смотрят сверху через окна на артистов и подают неприличные реплики. Поймать ловких оборванцев оказалось нелегко, и на мальчишек махнули рукой.

И вот во время выступления дрессировщика с обезьяной кто-то бросил вниз мешок с чем-то рассыпчато-белым, известью или мукой. Мешок угодил в мартышку. Зверь укусил хозяина и вырвался через приоткрытые двери на волю — на Сенную, переименованную при Советской власти в площадь Свободы.

Когда пыль рассеялась, публика увидела на арене горько плачущего белоснежного мужчину...

А на Сенной обрадовались неожиданной забаве. Бородатые дворники воткнули в сугробы деревянные лопаты. Ассенизаторы бросили свои обозы и черпаки. Все принялись весело ловить тулупами обитательницу жарких стран.

— Окружай ее, мужики! Покажем, как ши лаптем хлебать! Заграница! Акула империализма! Ура-а!!!

Летом 1927 года цирк за халтуру был закрыт и куплен Вотским обкомпромом под кинотеатр для крестьян, приезжающих на базар.

В том же году в Ижевске открыли цирк деткомиссии, из которого деньги поступали на борьбу с беспризорностью, потом госцирк имени А. А. Дурова, названный так в честь потомка кавалерист-девицы Надежды Дуровой, всемирно известного дрессировщика, трагически прошедшего свои последние гастроли в Ижевске.

## ИЖЕВСКИЕ ИЗВОЗЧИКИ

Когда великовозрастного недоросля Митрофанушку упрекнули, что он не знает географии, его заботливая мамаша заявила:

— Ах, мой батюшка! Да извозчики на что же? Это их дело... свезут, куда изволишь.

Свезти вас «куда изволишь» с радостью взялись бы и в старом Ижевске. Для этого требовалось лишь пройти по дощатому тротуару, рискуя оступиться в одну из многочисленных трещин, к извозчицье бирже.

Она находилась в центре селения, у памятника великому князю Михаилу. Утопив в дорожной пыли свои копыта, извозчицы савраски жевали овес из натянутых на морды мешков, а «знатоки географии», крестя зевающие рты, скучно играли в карты.

Имелся в Ижевске и дилижанс. Он выполнял функции современного междугородного автобуса и перево-



«Чемпионесса» по французской борьбе из цирка в Ижевске

зил господ, дам и барчуков с чемоданами, саквояжами, узелками и коробочками. Дилижанс находился на улице Базарной и принадлежал Стринину.

В 1892 году в Ижевске и окрестностях насчитывалось 18 легковых и ломовых извозчиков.

По своему облику извозчики села Ижевска совсем не походили на своих коллег из настоящих городов. Они не носили традиционных «грешневиков» — головных уборов вроде буржуйского цилиндра. И пролетка их имела необычный облик. Это была удобная и легкая повозка, плетеная из вязовых или черемуховых прутьев, с верхом для защиты от непогоды. Несмотря на свои преимущества, плетенки не употреблялись за пределами уезда. Впрочем, в Ижевске имели распространение и тарантасы на металлической и деревянной основе, покрытые кожей. Они изготовлялись в соседнем Воткинске и успешно конкурировали с московскими тарантасами даже в Сибири.

Вот такса легковых извозчиков на 1919 год: часовая езда по городу — 40 руб., с биржи до Казанского вокзала — 30, с биржи в Зареку на Казанские Ключи — 25 руб.

Это была недорогая цена. Стакан холодной воды в жаркий день продавался на рынке за 10—20 рублей, а белый хлеб за несколько миллионов.

## БАЗАР

Перед вами небольшая площадь с лопухами и крапивою у заборов и скорлупой от орехов и семечек. С одной стороны ее — обрыв громадного пруда, с другой — купеческий длинный лабаз из шестнадцати амбаров, напоминающий гостинный двор. С юга площадь замыкает Генеральский сад, с севера — белый дом купца Оглоблина с чугунным балконом и пестрые лебеди, лошадки, львы на каруселях, которые по праздникам крутят наемные мужики. Висит плакат: «Спешите купить дешево, а продать дорого». Под ним находится деревянные лари торговцев. С рекламы смоляного торга на вас смотрит лохматый медведь с бочкой в лапах. Он приглашает купить деготь для смазки дверных петель, тележных осей, чистки сапог и для подлых затей: им можно испачкать ночью ворота своего врага.

Особенно многолюдно на базаре по четвергам, воскресеньям и в Екатеринбургскую ярмарку, на которую в 1860-е годы собиралось до трех тысяч человек. В это время все свободное от ларей место, вплоть до полицейского шлагбаума, занимают конные подводы. Они запруживают весь берег искусственного озера, часть Базарной улицы, Коньшин и Горшечный переулки. Три еженедельных базара, торжки и ярмарка каждый год стягивают до полутора миллиона пудов различных грузов. Торгуют самыми всевозможными товарами. Об этом дает представление тот факт, что в 1892 году в Ижевске и окрестностях проживали: 4 иконописца и художника, 13 часовщиков и ювелиров, 64 ору-

жейника-кустара, 11 скрипичников и гармонщиков, 43 шляпочника и картузника, 57 булочников и калашников, 26 мясников, 3 квасника, 132 рыбака, 298 сапожников, 80 портных. Любопытны цены того времени на товары, продаваемые на Ижевском базаре (1868—1869 годы): медвежья шкура — до 6 рублей, волчья — до 2 руб., беличья — 5 копеек, перья гусиные (100 штук) — 15 коп., стальные перья (коробка) — 90 коп., масло подсолнечное (пуд) — 6 руб., говяжье — 2 руб., маковое — 20 коп., кирпич красный (1000 штук) — 10 руб., капуста квашенная (ведро) — 13 коп., валенки — 2 руб., вареги шерстяные — 15 коп., водка крепкая (ведро) — 60 коп., вино белое (ведро) — 4 руб. 50 коп., бумага писчая (стопа) — до 7 руб.

На базаре русские торговцы с намазанными подсолнечным маслом волосами орут, как ужаленные:

- Семечки каленые!
- Воды на копейку досыта!
- Тазы, ковши починять!
- Самосад с вишневым листом!

Их гомон на минуту прерывает истошный крик:

— Караул! Деньги вытащили!

Но случай с кражей напоминает лишь о том, что надо тщательно смотреть за собственными карманами.

Торгуют русские овощами, ягодами, горячей снедью, дрожжами, игрушками, скобяным товаром. «Сорную» рыбу-уклейку здесь продают корзинками. Эта дешевая рыба является излюбленным блюдом ижевчан. Из нее варят уху, стряпают пироги и пельмени. В пруду уклейки настолько много, что за два часа без

особого труда на удочку ловится до 15—20 килограммов. Продают здесь грибы-валуи, печерицы (шампиньоны), поддубники (сыроежки), отварушки (свинари).

Все жители Ижевска имеют свои огороды. Сдают картошку, лук, капусту, иногда тыкву. Излишки сбывают на рынке. А вот плодовых деревьев (кроме рябины) здесь не имеется, в отличие от Сарапула, где прижились яблони. За это ижевчан зовут «рябинниками». Все фрукты в поселке привозные. Ими торгуют в основном бритоголовые татары в тубетейках и жилетах до колен в пестрых рубахах и шароварах. Излюбленным товаром татар является также душистое мыло и «красный товар» — сукно, шелк.

На базар любят приезжать удмурты из окрестных сел и деревень, причем всегда берут с собой товарищей, иначе не едут. Их транспорт — повозка с мочальной упряжью собственного изготовления. Не редкость видеть и вотскую упряжку, в которой не найдешь ни одной металлической вещи, ни одного гвоздя железного: ход сколочен деревянными гвоздями, на деревянных осях, коробок плетеный из черемуховых или ивовых прутьев... уздечка, вожжи — все очень искусно сплетено из мочала.

## СПИД...

...Это слово было знакомо в 1927 году всем жителям Ижевска. Так назывался знаменитый американский многосерийный фильм, демонстрирующийся в кинотеатрах города. Речь в нем шла не о болезни XX века, а о ловком и сильном человеке по имени Спид. В Спиде играли все мальчишки. Головоломные прыжки с автомобиля на паровоз, прогулки по карнизам небоскребов...

В «Одеоне», наполненном едким махорочным дымом, сидели зрители. Стрекотал аппарат. У красного плюшевого занавеса рыдала скрипка. Немую картину иллюстрировал Фридрих Кениг, бывший пленный солдат-венгр, участник гражданской войны. Старики дымили «козьими ножками». Кавалеры курили папирсы «Осман». Барышни и дети истребляли семечки. Мысли выражали вслух: — Здорово! Ловко кинжалом ему под ребра сунул!

Проходили дни, а фильм не сходил с экрана. Вечером в крошечной тьме на ижевских окраинах Рабочей Слободе, Пойме, Ключах, Русской Карлутке слышались обрывки слов:

— Гришка! Айда севодни в «Одеон» на «мордобоевик»!

— Страшно обратно идти: разденут.

— Ничего! Табуном пойдем, Я уже многих сманил с улицы.

Реклама фильма «Спид» в «Ижевской правде»

# КРЕПОСТЬ НА ИСЕТИ



Леонид  
БОГОЯВЛЕНСКИЙ

*Год 1773-й.*

«Далеко ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — ответил он. — Вон уже видно». — Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни, вал, но ничего не видел, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором».

Эта деревушка, обнесенная тыном, и была, оказывается, крепостью. А. С. Пушкин описал ее в «Капитанской дочке», назвав Белогорской.

В октябре 1773 года немногочисленный конный отряд Пугачева овладел этим укрепленным пунктом в уральской степи с ходу, без каких-либо военных усилий.

Крепость... В нашем воображении рисуется, конечно, не деревушка, окруженная тыном, а неприступная твердыня: высокие каменные стены с бойницами или островерхие башни с амбразурами, глубокий, как пропасть, ров, подъемные мосты на цепях...

Московский кремль, кремли других старинных русских городов, каменные стены и башни древнерусских монастырей — все это примеры крепостных сооружений. Подобное сооружение сохранилось и у нас, в Свердловске. Это каменная ограда и башни бывшего Новотихвинского монастыря в Зеленой роще. Конечно, уже тогда, на рубеже XVIII и XIX веков, они выглядели скорее символическими, полудекоративными, нежели реальными. Но строились-то как укрытия, как защита, по образцу и подобию укреплений древних монастырей.

Однако были на Руси и иные крепости, без каменных стен.

*Год 1723-й.*

«А вначале для безопасности от беспокойного народа была построена крепость Екатеринбургская: земляной вал с 6 бастионами, деревянные палисады, выкопан ров, поставлены рогатки».

Так записал в своем дневнике начальник Уральских и Сибирских горных заводов генерал-майор Виллим Иванович Гепинн. Такое же донесение послал он и царю Петру I.

Но сколь грозны были реально эти крепостные бастионы?

В историко-краеведческих исследованиях города-завода Екатеринбурга всегда упоминается и крепость. Но нигде не найдем мы ее военно-инженерной, фортификационной оценки, описания тактических, боевых возможностей. Между тем, они далеко не безынтересны. Особенно, если рассматривать их на фоне развития русской фортификационной мысли при Петре I.

*Год 1703-й.*

Летом этого года царь Петр отправляется в Воронеж, где продолжается строительство боевых кораблей для российского военно-морского флота. По пути он осматривает обширные лесные угодья, где берут корабельный лес и по воде сплавляют его к воронежской верфи. На берегу озера, образованного слиянием двух сплавных рек Ягодной и Станового Яса, впадающих в реку Воронеж,

накопились огромные запасы ценнейшей древесины. И царь приказывает для охраны этих запасов построить на берегу озера крепостцу. Тут же он набрасывает на листе бумаги ее план и дает название Ораниенбург<sup>1</sup>.

На чертеже, сохранившемся до наших дней, мы видим 5 боевых башен, выступающих за линию крепостных стен. В древней Руси подобные башни именовались раскатами, или быками. Петр назвал их по-современному — бастионами. Две стороны бастиона, выступающие под углом вперед, это фасы, две другие стороны, боковые — фланки. От фланков ведется фланкирующий огонь, прикрывающий подходы к стенам крепости. От фасов стреляли вперёд, фронтально.

Каждому бастиону Петр дал символическое название: 1 — «Видение», 2 — «Слышание», 3 — «Обоняние», 4 — «Вкушение», 5 — «Осязание». Таким оригинальным способом он выразил самую суть крепости, военного укрепления. Крепость — это не мертвые стены и башни, а живой организм со всеми органами чувств. Ее гарнизон не должен пассивно ожидать вражеского приступа, отсиживаясь за прочными стенами, а действовать активно. Знать, что делается впереди, упреждать противника, поражать его еще на подходах к крепости.

Шла Северная война. После поражения под Нарвой русские войска в 1702 году одержали несколько крупных побед над шведами и очистили от захватчиков берега Невы от Ладоги до Финского залива. И тут же Петр приступил к возведению на отвоеванных территориях крепостей как опорных пунктов русской армии. В 1703 году закладываются Петропавловская и Кронштадтская крепости. На реке Луге к востоку от Нарвы строится крепостца Ямбург<sup>2</sup>. Ее план также был предложен Петром.

Он был искусный фортификатор, изучавший военно-инженерное дело в Европе. Но применял его в своей военной деятельности не шаблонно, не копируя чужие образцы, а сообразуясь с конкретными обстоятельствами, с условиями своей страны.

Все петровские крепости, кроме Петропавловской, не имели каменных стен. Не были они и повторением древнерусских рубленых «городков», защищающих лишь от стрел да редких ружейных пуль. Они могли противостоять уже мощному артиллерийскому огню наступающих, и обороняющимся позволяли вести в различных направлениях оружейный огонь. Строились же из земли и дерева. И носили как бы временный характер, предназначаясь не для отдаленного будущего, а на сегодня, для незамедлительного действия. Шла война, и надо было поспешать. Сказывалась также и стесненность казны в денежных средствах.

Всего при Петре было построено 47 новых крепостей. В их числе и Екатеринбургская на Урале.

*Год 1722-й.*

Если мы сравним план Екатеринбургской крепости,

<sup>1</sup> На месте этой крепости возник город Раненбург Тульской обл.

<sup>2</sup> Ныне город Кингисепп Ленинградской области.

чертеж которой генерал Геннин отправил вместе с донесением Петру в столицу, с планом крепости Ораниенбург, то увидим, что они схожи не только внешне, но и по существу. Геннин знал требования Петра к фортификационным сооружениям и выполнял их.

В 1697 году в Амстердаме голландец Вильгельм де Геннин был принят на службу в Россию в качестве артиллериста и военного инженера. Ему шел тогда 21-й год. Он участвует в Северной войне со шведами и по поручению Петра строит укрепления в Новгороде и в Финляндии. Затем достраивает пушечный двор в Петербурге, строит Сестрорецкий оружейный завод, перестраивает, или, как мы говорим ныне, реконструирует Олонецкий. В 1713 году Петр назначает его комендантом Олонца и начальником всех горных заводов Олонецкого края в Карелии. В 1722 году Петр осмотрел Олонецкие заводы и остался доволен деятельностью Геннина. Он тут же принимает решение отправить его на Урал для строительства новых современных железных и медных заводов и крепостей возле них.

В октябре того же года Геннин уже был на Урале. Еще год назад капитан-поручик артиллерии, начальник горных заводов Василий Никитич Татишев уже выбрал место для нового завода на реке Исети, в нескольких верстах выше от действующего Уктусского завода. Геннин согласился с выбором Татишева. В декабре он отправляет в Петербург, в Берг-коллегию доклад о своем решении строить завод и крепость на Исети, где будет находиться также правление всеми горными заводами Урала и Сибири.

Уже в июне следующего года Геннин пишет Петру и Екатерине: «Я зачал при реке Исети строить заводы и около оных заводов зачал крепость и осмелился именовать до указу Катеринбург...»

В августе Петр ответил Геннину: «На помянутое твое письмо о строении крепости для удержания татар и башкирцев, чтобы не разоряли заводы, определение учиним, и указ тебе будет прислан впредь... Здесь же Петр и Екатерина выразили согласие назвать новый завод Екатеринбургом.

Как видим, Петр в своем ответе четко определил назначение крепости: охрана завода от разорения кочевниками-башкирами. Такая угроза существовала тогда реально.

#### *Год 1720-й.*

В марте по личному указу Петра 34-летний капитан-поручик артиллерии В. Н. Татишев направляется Берг-коллегией на Урал временно для управления горными заводами. В июле он прибыл в Кунгур и узнал об ожидающемся нападении башкир. Они уже разрушили заводы в Полевском и Верхнем Уктусе, препятствовали поискам медных руд.

Татишев осматривает укрепления Кунгура — деревянные рубленные стены и башни, построенные еще в прошлом веке, и убеждается в их полной негодности. Об этом он сообщил вятскому воеводе: «город деревянный весьма ветх и обвалился весь, в чем есть страх сугуб: первое, ежели во время нападения люди взберутся, может обвалиться и людей подавить, ежели же коим случаем загорится, то весь город погибнуть может. Чего ради я рассуждаю: хотя бы малое утверждение земляное сделать, подобием траншеянта, фашинами и дерном. Ибо от таких народов не требуется великого укрепления, высоких и толстых стен. А я помогать буду, сколько время допустит».

Из письма видно, что Татишев хорошо представлял, какие укрепления достаточны для охраны уральских заводов.

В конце года Татишев переехал из Кунгура в Уктус и тут же распорядился построить укрепленный пункт в 20 верстах к югу от завода, назвав его Горным Щитом. С предводителями же башкир вступил в переговоры, стремясь наладить с ними мирные отношения. Он дарил им суку и чугунные походные котлы. И теперь башкиры не

только не разоряли заводы, не мешали поискам руд, но и сами показывали русским, где медные руды имеются.

Еще в 1722 году, в Петербурге Геннин получил от Сената указание объявить и разъяснить башкирам, что земли на Урале государевы, и чтобы они не чинили заводам никаких помех. Крепость же при новом заводе строить, но об этом «знать им не давать, дабы тем к злобе и противности не привесть». Политика, дипломатия и военное дело увязывались здесь, на Урале, в один тугой узел.

#### *Год 1734-й.*

Прошло девять лет, как была построена Екатеринбургская крепость. И вновь на Урал, теперь уже на смену Геннину, приезжает В. Н. Татишев. За эти годы Екатеринбург разросся, и его постройки выплеснулись за пределы крепости. Поэтому Татишев принимает решение отдалить западный вал, построив его на новом рубеже.

Каковы же были тактические и боевые возможности крепости?

Геннин писал Петру: «Положение Екатеринбургской крепости на ровном месте: один полигон к зюйду, другой к норду, третий к осту, четвертый к весту в Уральских горах». Равнинным местом, а также рекой Исетью, как осевой линией крепости, и определялась ее прямоугольная форма в плане.

Укрепления состояли из земляного вала, рва и палисада. Высота вала равнялась двум с лишним метрам (одной сажени), ширина по верху полутора метрам, протяженность с севера на юг 750 метрам, с запада на восток — 650-ти. Эти участки прерывались на севере прудом, на юге рекой Исетью. Вал надежно прикрывал завод и жилые дома от ядер противника при настильном огне. Мортир для стрельбы навесным огнем, через укрытие, на Урале тогда еще не было.

Изломом вала образовывались 6 бастионов и 4 полубастиона. На каждом из них стояло по одной пушке с запасом ядер. Для подачи сигнала тревоги висел колокол.

С внешней стороны к валу примыкал ров полутора-метровой глубины и четырех с половиной метров ширины, заполненный водой. Такое препятствие ни пеший, ни конный воин с ходу преодолеть не мог. Препграда серьезная. Кроме того, в двадцати пяти метрах от рва, в поле, по всему периметру крепости были установлены и скреплены между собой рогатки из жердей, опутанные проволокой. Они также задерживали продвижение нападающих.

С восточной стороны палисад стоял на самом валу, вместе с ним поднимаясь на высоту 6 метров. С трех других сторон палисад размещался внутри крепости, в полутора метрах от вала, на два метра возвышаясь над ним. Узкое пространство между валом и палисадом оазывалось для атакующего ловушкой, в которой его поражали ручными гранатами, запас которых также хранился в пороховом погребе крепости.

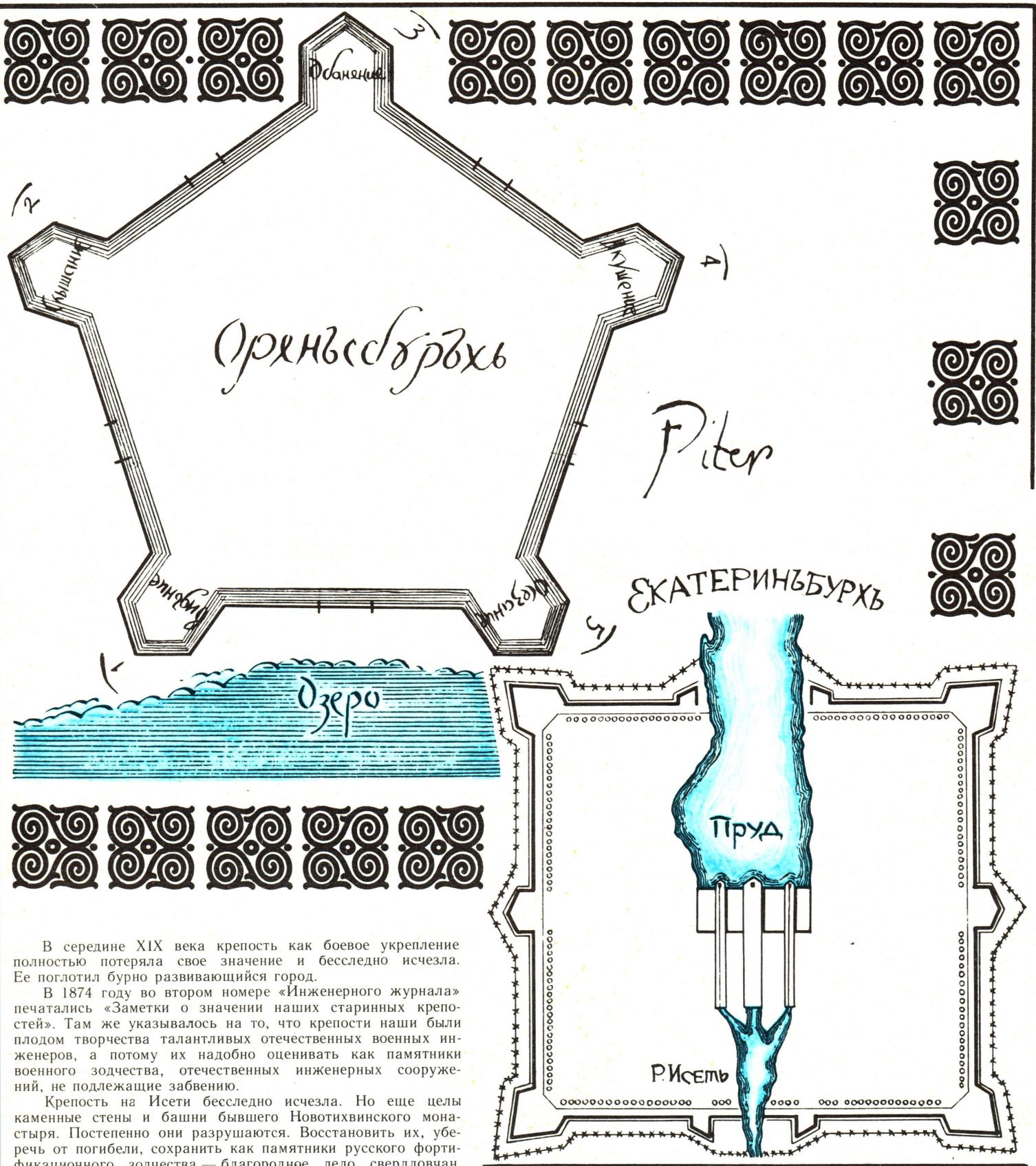
Башкиры ни разу не напали на Екатеринбург. Крепость на Исети никогда не воевала. Впрочем...

#### *Год 1774-й.*

Отряды Белобородова, сподвижника Пугачева, захватили Кыштымский, Каслинский, Полевской, Шайтанский и Красноуфимский заводы и в начале 1774 года со всех сторон обошли Екатеринбург. Но штурмовать крепость не решились. Ее гарнизон состоял в то время из тысячи обученных солдат. На бастионах стояли заряженные картечью орудия.

Пушкин писал так: «Пугачев, отраженный от Кунгура майором Поповым, двинулся было к Екатеринбург, но, узнав о войсках, там находящихся, обратился к Красноуфимску». Как видим, и Пугачев поопасался атаковать крепость.

Мы не будем рассматривать здесь политическую сторону дела. А с точки зрения чисто военной, тактической, Екатеринбургская крепость выполнила свою задачу, хотя ни одна ее пушка не сделала ни единого выстрела: Кровь людская не пролилась возле ее стен.



В середине XIX века крепость как боевое укрепление полностью потеряла свое значение и бесследно исчезла. Ее поглотил бурно развивающийся город.

В 1874 году во втором номере «Инженерного журнала» печатались «Заметки о значении наших старинных крепостей». Там же указывалось на то, что крепости наши были плодом творчества талантливых отечественных военных инженеров, а потому их надобно оценивать как памятники военного зодчества, отечественных инженерных сооружений, не подлежащие забвению.

Крепость на Исети бесследно исчезла. Но еще целы каменные стены и башни бывшего Новотихвинского монастыря. Постепенно они разрушаются. Восстановить их, уберечь от гибели, сохранить как памятники русского фортификационного зодчества — благородное дело свердловчан.



# ОРНИТОПТЕРА РОТШИЛЬДА

Николай Никонов



## ОТ АВТОРА

«Орнитоптера Ротшильда» — новая книга, которую я писал с перерывами в течение пяти лет, а собирал и осмысливал в течение всей моей жизни. Это повесть (или повествование в рассказах, картинах и воспоминаниях) о, быть может, самых прекрасных существах Земли — тропических бабочках, и по сей день еще встречающихся в девственных, дождевых и листопадных лесах и саваннах Амазонии, Западной Африки, Индии, Малайском полуострове, предгорьях Гималаев, на островах Малайского архипелага и на Новой Гвинее. Многие из таких бабочек стали теперь величайшей редкостью, занесены в Красную книгу. Для сохранения их в некоторых странах, например, в Индонезии, созданы резерваты и заповедники. Запрещен вывоз редких бабочек за рубеж, в том числе и «Законом об охране природы» в нашей стране.

Для написания книги я использовал подлинные воспоминания и эпизоды из судеб великих путешественников и натуралистов-искателей прошлого века — Генри Бейтса, Альфреда Рассела Уоллеса и барона Ротшильда, открывших миру многие неизвестные виды дневных и ночных бабочек, в том числе красивейших и крупнейших в мире бабочек «птицекрылов» (орнитоптер), прекрасных представителей семейства парусников, огромных, великолепно-синих и голубых южноамериканских морфо, гималайских тейнопалпусов и аполлонов.

Рассказы о заморских тропических чудесах я дополнил истинами о встречах с редкими бабочками нашей Уральской земли, каких доводилось мне видеть и собрать.

Мир насекомых, и в том числе бабочек и жуков, редеет с непредсказуемой скоростью. Если потери в мире более крупных животных мы быстрее замечаем и начинаем что-то делать для их охраны и размножения, то в мире насекомых, кажущемся беспредельным (и даже вредным! в отсталом, суебно прагматическом смысле. Долой капустницу, долой всех этих короедов, златок, усачей. — Больше всяких там инсектицидов-гербицидов!), потери заметны только знатокам, но потери эти также невосполнимы и необратимы. Исчезновение даже обыкновенной капустной белянки, кстати, бабочки крупной, красивой и уже редко встречающейся (не путать с другими видами белых бабочек, еще довольно распространенными!), было бы столь же тяжким бедствием, как потеря воробья, синицы, скворца, а в мире зверей, допустим, белки, бурундука или крота. Мы до сих пор не научились понимать того великого баланса, который устанавливался миллиарды лет творчества природы и до сих пор немногим ясна истина, что исчезновение полное, хотя бы неназванного кровососа-комара (кому его жаль?), обернется страшным уроном хотя бы рыбного поголовья и численности птиц, особенно таких, как ласточки (их уже много меньше!) и стрижи.

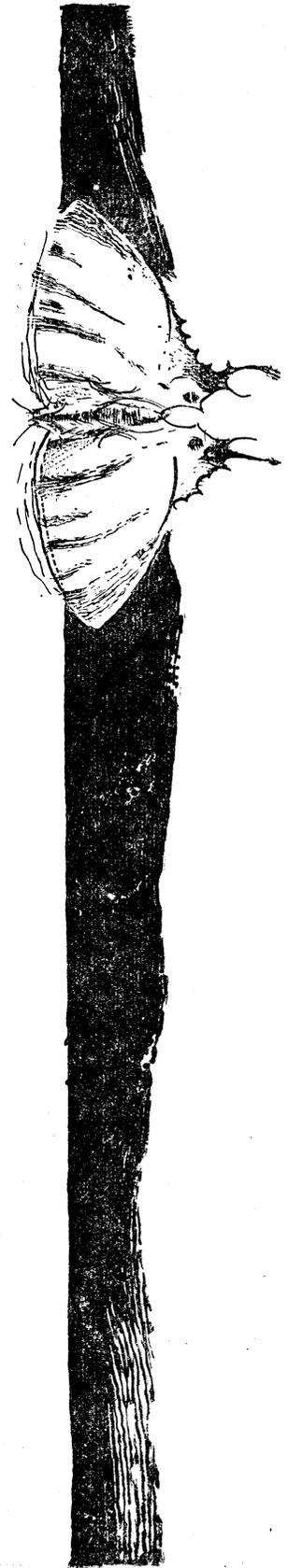
Завершая эту книгу, я набегала дать читателю информацию к размышлению, которую, может быть, дополнит чисто литературная и эстетическая ее стороны.

Николай НИКОНОВ

## ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРСЕ, НАПИСАННОЕ ГЕНРИ БЕЙТСОМ

«Я не знаю, что это. Нет, не повесть. Может быть, рассказы? Или воспоминания? Возможно, но скорее, это воспоминания, которые я рискнул поведать кому-то заинтересованному и близкому, — ведь писать книгу и думать, что она заинтересует всех — абсурд. Как не вспомнить тут наших старых мастеров, теоривших гусиным пером при свете тройного шандала, а то и просто единой восковой в благой уверенности, что все, выходящее из-под пера, под неспешный благоговейный скрип, выходящее как бы из глухой всепоглощающей, всеобнимающей тьмы, достойно великого читателя. Великие заранее знали, что они пишут: трактат, новеллу, роман, а я хочу написать нечто новое, писать сразу в нескольких ипостасях и даже в тех случаях, когда материал моему перу давала не то чтобы голая фантазия, а видения и желания моего прошлого «Я», ибо и в прошлом я вдоволь набродился по белу свету и в прошлых моих «Я» был также путешественником, может быть, даже великим путешественником, наподобие Форстера или Кука. Вместе с моим другом (моим зеркальным отражением и самым большим моим счастьем — где найдешь такого друга, где встретишь, — для этого необходима не одна жизнь, не одно бытие) — он у меня был! Вместе с ним мы оказывались там, где нынешнему путешественнику бывать и не снилось, да если бы он и оказывался там, что случилось с теми местами за полвека? Прошлое истинное останется теперь только в наших воспоминаниях, в наших книгах, да еще в коллекциях, которые можно повидать в Британском музее. Четыре года мы прожили вместе на Амазонке. Мы плавали через Атлантику, мой друг пережил даже кораблекрушение, а потом еще восемь долгих лет я жил на Амазонке, а он на островах Малайского архипелага, на Новой Гвинее и в Австралии. Вернувшись в Англию, мы собирались вместе обойти вокруг Земли на парусном клипере, чтобы еще раз понять, как прекрасно огромна, живописна, полна тайны Земля. Не наша вина, что путешествие не осуществилось. Мы только страстно мечтали о нем.

Теперь мы оба старики, мы немощны, измотаны болезнями, но рады, что прожили такую жизнь и что живем еще вместе. Наши виллы хотя и не расположены поблизости, но мы часто навещаем друг друга и любим эту холмистую землю вдали от Лондона, от ее шума и раздражающей к старости людской суеты. Я люблю свой дом. Комнаты его увешаны чудесами, какие удалось мне собрать и сохранить за



годы странствий. В комнатах у меня растут орхидеи, на окнах цветут кактусы, океанические раковины лежат в стеклянных витринах, напоминая мне о большом барьерном рифе и островах, где вечно гудит пассат и гнутся, шумят жесткими листьями, как бы роговые, стволы пальм, а перистые серебряные облака в головокружжательной небесной синеве кажутся божьими стрелами, нацеленными в вечность.

На вилле моего друга чудес еще больше. Его колоссальная коллекция бабочек! Его тропические жуки невероятных скульптурных форм! Его ботанический сад с многими сотнями диких винок! Бивни слонов, шкуры ягуаров и леопардов и даже окаменелые останки динозавров всегда напоминают ему и мне о былом величии прошлой и вечной жизни. ПРОШЛОЙ И ВЕЧНОЙ... Об этом как-то помнится, когда мы, жалуясь друг другу на недуги, сидим зимними вечерами у камина и вспоминаем, вспоминаем...

Здесь, в гостиной моего друга Альфреда Рассела, висят по стенам ящички с бабочками, и мы чаще, наверное, чем о других животных, говорим о том, как охотились за бабочками,—именно охотились, пробираясь по темному жарко-влажному лесу, заросшему папоротниками, пальмами и сазовниками, проваливаясь в мох и гнилой колодник, путаясь ногами в лианах и все время опасаясь змей. А на опушках и просеках, где бабочек было больше, нас подстерегали стебли ядовитых крапив, коварные колючки ползучих ротангов, запинаясь о которые, мы, бывало, вспугивали бабочку Морфо Циприс—блещущую синию молнию, птицу-мечту—чудесное видение, почти недостижимое для сачка. Я сказал: «почти», потому что в моей коллекции прекрасных южноамериканских морфо есть все ныне известные виды. Есть, следовательно, и Морфо Циприс. Это самая ценная часть моих коллекций, какой нет даже у моего друга Рассела, и о ней еще будет сказано. Зато у Рассела есть такое собрание парусников, какому позавидует любой музей мира.

Мы часто шутим друг с другом, и за мое пристрастие к бабочкам морфо Рассел зовет меня «морфинистом», а я его «фрачником», ибо парусников в Англии еще называют кавалерами, ласточкохвостами и фрачниками за те хвостики, какие есть у многих этих прекраснейших бабочек. Бабочки. Почему столь строгая природа так расточительно раздала им свою красоту, так волшебным расписала их крылья, а по яркости тонов, непредсказуемости сочетаний с бабочками не могут соперничать ни птицы, ни даже цветы? Что за чувство, что за смысл вложен в узоры их крыльев? Что зашифровала там ее творческая мысль? Вот в отдельном полированном ящичке красного дерева, что висит неподалеку от бронзового барометра в кабинете Рассела, помещена пара громадных бабочек. Крылья одной из них, той, что поменьше, переливаются в бликах от камина оттенками зеленого, золотого и черного шелка. Слово «шелк» здесь совсем не точное, грубо-приблизительное, оно было бы верным, если бы окраску сотворила рука человека, но бабочка эта родилась такой, как бы произведенной из шелковистого твида или панбархата, осыпанного к тому же золотой пудрой-пыльцой, озаренной, однако, не солнечным блеском, а гораздо более вкрадчивым лунным сиянием. Близ радиальных жилок это сияние переходит уже в совсем таинственное свечение, вторая бабочка—много крупнее, ничем не похожа на первую и, тем не менее, это самка того же вида, благородно расписанная сложнейшим узором коричневых, черных, белых и слегка лазоревых пятен. Обе бабочки с гигантского, как материк, далекого острова Новая Гвинея, и они словно бы олицетворяют этот остров-материк с его непроходимыми дождевыми тропическими лесами, его синими горными цепями курящихся вулканов, его крикливыми попугаями, фантастическими райскими птицами, орхидеями и заводями голубых огромных кувшинок на еще никем не исследованных реках. Бабочки носят имя великого их собирателя, коллекционера и подвижника, пожертвовавшего свое собрание Британскому королевскому музею, барона Ротшильда—орнитоптера Ротшильда... Когда я собирался писать свою книгу о бабочках, я много думал над тем, какую форму ей придать. И после долгих раздумий я решил, что буду писать так, как мне представляется и хочется, не раздумывая даже о читателе, хоть читателя пишущий никак не должен сбрасывать со счета. Я подумал лишь, что читатель будет, но им станет лишь тот, кто волнуется тем же, чем и я, кто, следовательно, мой потенциальный друг, кто, как и я, жаждет открытий и находок и будет радоваться им вместе со мной. Для него я пишу. С ним мы отправимся бродить по тропическим лесам, с ним поплывем вверх по течению великой Американской реки, наводящей даже ужас и трепет своей бесконечной необъяснимой полноводностью, с ним отправимся на далекие Малайские острова. Мой читатель будет, наверное, только таким, ибо другой читатель, равнодушный к природе и тропикам, вероятно, сочтет книгу скучной. Итак, я буду писать книгу, где главными героями будут я сам, мой друг Рассел, иные известные натуралисты и путешественники и бабочки, да, может быть, еще тот ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, который создал нас всех и все то, что дает нам благоговейную радость прикосновения к ЕГО творчеству. Вот таково откровение, или предисловие. Предисловия, на мой взгляд, вообще вряд ли нужны, особенно длинные. Объяснить книгу умному? Он и сам в ней разберется. Разъяснять равнодушному и, хуже того,—глупцу? Она не станет для него понятней, он—умнее. Я не хочу, чтобы шли за мной, я хочу, чтобы шли со мной вместе. И вместе ели изюм, который я постараюсь извлечь из булки. Больше ничего. Мы обо всем условились. Можно начинать?

Генри БЕЙТС

## ВОСПОМИНАНИЕ ПЕРВОЕ: семейство парусников

В разных странах их называют по-разному: парусники, кавалеры, хвостосцы, ластохвосты, фразники, воздушные змейки, дракончики, — вероятно, имеются и другие названия, — я никогда не мог собрать их все. Наверное, это самые красивые и совершеннейшие бабочки в мире. О том говорит их трудноописуемая красота, одним им принадлежащее благородство форм, величина — почти все парусники крупные или очень крупные. Неожиданность их окрасок, непредсказуемое совершенство рисунка крыльев наводит на мысль о высших творениях **ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА. ВЕЛИЧАЙШЕГО ИЗ ХУДОЖНИКОВ, ВАЯТЕЛЯ МИРА.**

И те, кто открывал новых представителей семейства парусников, бывали особенно поражены надземного вида созданиями, волею случая оказавшимися в их удачливом сачке.

Вот подлинная запись по этому поводу из книги Альфреда Рассела Уоллеса «Малайский архипелаг», пойманного одного из новых представителей семейства на острове Баджан. Уоллес назвал ее Орнитоптера Кроезус (Крез).

«Красоты этой бабочки невозможно выразить словами, и никто, кроме естествоиспытателя, не поймет глубокого волнения, которое я испытал, поймавши ее наконец, когда я раскрыл ее черные с оранжевым и бриллиантовым блеском крылья!»

Парусники во всем мире — бабочки сравнительно редкие, хорошо прячущиеся, летающие быстро, как птицы, недаром самые крупные из них называются птицекрылы, или орнитоптеры, а самые изящные и утонченные не случайно называются графимы (графы!). Есть и в семействе парусников, чаще называемом по-латыни Папилиониды (Papilionidae), или просто Папилио, и еще представители титулованной «дворянской знати». Эта бабочка — барон. Барония, встречающаяся в Центральной Мексике, которую систематики считают самым примитивным простейшим видом парусников. Входят в семейство и странные горные бабочки аполлоны, мало похожие на настоящих парусников. У аполлонов нет «хвостов», как у парусников, летают они куда хуже, чем графимы и орнитоптеры, окрашены с благородной бедностью — преобладает белый цвет, испещренный красными и черными пятнами. Но аполлоны так же редки, как и все виды Папилио, так же приводят в восторг коллекционеров и, как все виды семейства, ждут бережного отношения, внимания и любви. Не вызывает сомнения, что все семейство Папилио, или парусники, — драгоценное украшение природы Земли.

Впервые я познакомился с представителем этого замечательного семейства бабочек очень рано — едва помню себя — мне было, кажется, не более трех-четырёх лет. Но удивительно ясно, яснее, чем вчера, сохранился день от туда. Он «прокручивается» в моем сознании постоянно, как в цветном фильме-отражении, и главное в нем — оранжевый, неизвестно откуда взявшийся сачок из крашеной марли — коллачок Буратино на красной гладкой палочке. Помнится, сачок мне несказанно обрадовался (или я обрадовался ему, когда схватил его красную гладкую ручку и тотчас понял, даже без всякого показа, как им ловить?).

На теплом от солнца крыльце нашего дома, огромном и уютном, с парадной лестницей, где я любил играть и где впервые ощутил себя стоящим на ногах, а далее и ходящим, лазающим по ступенькам, я опробовал сачок. Синяя в голубизну муха. Гневно жужжала. Мой восторг — восторг ловца и охотника. Открытый сачок. И муха, растаявшая в ясности летнего дня. Холодок недоумения и освободительной ясности. Улетела? Но — небо! Но — солнце! Но сладкий запах вечного лета! Все со мной, как

запах вымытого недавно крыльца со вкусом счастливого сохнущего дерева. И оранжевый сачок в своей озадаченной открытости...

В тот или не в тот день — этого я не знаю, но помню твердо: со мной был сачок, мы поехали «в лес». Впервые в лес и, наверное, это был выходной день — так странно именовались тогда дни, замыкающие пятидневку. «В лес» — называлось подобие нынешних семейных или туристских выездов, с той разницей, что теперь едут на машинах, мотоциклах, электричках, а тогда о таком даже не мечталось, и до природы можно было добраться лишь поездом — он назывался «трудовой», или еще проще, как ехали, например, мы, на трамвае. О «трудовом» и всех прелестях поездок в нем, набитом до скотского состояния, я узнал много позднее, а пока величайшей счастливой новостью была и поездка на этом трамвае, далеко, но только что еще проложенной линии на известный всем «Уралмашстрой» — так называлась (и это обозначение долго было в ходу) северная окраина нашего Екатеринбург-Свердловска, казавшаяся невыносимо дальней. Африка, например, была ближе: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» На «Уралмашстрое» в те времена среди сосновых лесов, вырубленных и снесенных целыми площадями, с муравьиным упорством творилась великая стройка. Все это я видел опять много позже, по состарившимся мельтешащим серыми дождевыми штрихами кадрам хроники, где люди, действительно похожие на взворощенных муравьев, одержимо копали, рубили, бежали с тачками, махали знаменами, счастливо тарачили балделые, ликующие, а то и грозно-охранные, беспощадные к кому-то лица. Простите... Мелькнувшее... Но беспощадные, беспощадные...

А в дзенькающем, болтающемся, стучащем на стыках вагоне, я знал только, что мы едем, едем. ЕДЕМ В ЛЕС!

Лес и теперь еще со всех сторон окружает непомерно разросшийся город. В лес упираются микрорайоны. Лес остался площадями, островинами по окраинам и даже входит в них. Но что за лес?! Суховерхий сосняк, благоустроенный и проходной, он соединяется в моем представлении с наглым вороньим карканьем. Тогда же он был и на окраине «Уралмашстроя» еще не окультуренный, не городской.

Мы сошли с трамвая, как будто в районе нынешнего кино «Заря», на остановке, действительно напоминавшей лесной разъезд, потому что отец мой, Григорий Григорьевич, человек удивительно неприхотливый, умел удовлетворяться малой малостью и даже очень радоваться этой малости, считал — дальше ехать не к чему да и незачем. Лес начинался чуть ли не у самой остановки. Пусть не шихинский вековой, но все же сосновый. Все же — бор. Край вырубки. Опушка. Широкие свежие пни. И никто не высадились вместе с нами, потому что трамвай укатил дальше, на тот самый «Машстрой».

И отец уже очень радовался этому безлюдью, уже благодатно вдыхал новый для меня лесной воздух, вкусно закурился любимую папиросу «Ракету» (самую, как узнал я впоследствии, дешевую из всех, какие были тогда. Потому, знать, и помню я до сих пор эти исчезнувшие давным-давно пачки с круглой луной и коричневой как бы бомбой, воткнувшейся в нее). Благодатно пуская по ветру голубой дымок, отец огляделся, а потом взвалил на себя завязанную узлом скатерть с самоваром в ней, поднял бидон с водой (другой несли бабушка) и бодро зашагал к опушке. Он был одет в привычную полувойенную форму, фуражку «сталинку», брюки галифе и хромовые сапоги.

Я знал, что чаепитие в лесу решили устроить отец и бабушка, которая не признавала другого способа пить чай, как только из самовара. И все рассказывала мне, лучась морщинами, как раньше (а значит, до «гражданской») у них была лошадь, в лес ездили на телеге — самовар с собой и сами не пешком! То-то была благодать, и даже я, еще не ездивший никогда в телеге, на лошади, представлял счастливую сладость такой возможности.

Теперь роль телеги досталась трамваю, лошади, наверное, отцу — самовар, рюкзак, бидон — все на нем, бабушка с припасами вслед за ним, я же шел за руку с

матерью, молчаливой, тяжелого склада женщиной, раздумчиво (если не скептически, так сейчас понимаю) смотревшей на всю эту поездку. Самовар, — она и лес-то любила, видимо, ради отца и, возможно, ехала ради меня, с первых шагов младенческого бытия как-то особенно тянувшегося ко всему живому и природному. Не потому ли и появился откуда-то из неизвестности желто-оранжевый сачок на красной гладкой палочке. Не с тем ли затеялась эта поездка «в лес», в ЛЕС! В ЛЕС!

Так отчетливо помню — я обрадовался лесу и прежде всего поразившему меня необъяснимо-вольному, счастливо-сладостному, теплomu, свежему, пахучему (простите за бедность слов, не могу найти тоньше, точнее!) запаху, запаху леса. Господи, как пахло все в этом самом раннем детстве! И еще помню, как добежал до первого поразившего меня лесного явления. Это был просто пен ь, большой, для моего тогдашнего роста огромный, он весь заплыл желтой, уже начавшей темно стекленеть серой (смолой?) — срез дерева, спиленного уже все-таки давно, годы. Пен ь понравился мне, потому что кругом оброс красивой темнолаковой травкой с листочками, наподобие крохотно уменьшенных листьев фикуса с бабушкиной кухни. Фикус рос в угловом уютном простенке между окнами и казался очень довольным своей теплой судьбой. Бабушка мыла его листья к праздникам, к святым дням, и тогда он весь светился, отражал листьями блики огня из широкой русской печи. У брусничника, который так же любовно-уютно окружал пен ь, я тотчас обратил внимание на крохотные круглые жемчужинки, расположенные в вершинках с искусной, ювелирной почти, небрежностью и целесообразностью. Я понял — это цветы, цветики, цветочки, рожденные летом, теплом и солнцем и даже тонко-сенкo-тонко пахнущие, слагающие свой нежнейший аромат в общее счастье воздуха, неба, сосновых стволов и вершин, льющийся в мою так легко дышащую и смеющуюся внутренним ответным счастьем душу.

И вдруг я замер, как говорится, обомлел. Охотничий инстинкт заставил меня вспомнить о сачке! По краю-кромке пня, там, где желтая и фиолетовая плоскость его, словно с кольцами-морщинами и трещинами на чьем-то погруженном в безнадежную думу челе, переходила в красноватую и серо-седую кору, медленно двигался (или сидел?) огромный — так показалось — невиданный прекрасный ямчато-золотой по крыльям и даже словно со светящимися золотыми глазами жук! Он странно подходил к пню, был заодно с ним, словно родился от пня. (А так оно и было — большая бронзовая сосновая з л а т к а — это я знаю сейчас, а узнал годы спустя.) О, какой был прекрасный с малахитовой прозеленью твердый жук! ЖУК!! Желто-оранжевый колпачок уже навис над ним, как вдруг жук исчез. Он улетел, точно спугнутая муха. Жуки умеют летать? Размышление так озаботило мой младенческий рот и лоб, я так всматривался то в пен ь, то в даль, где жук мгновенно пропал, что едва заметил снисходительный до слабой усмешки взгляд матери, молча опекавшей меня. Крупная, плотная, лучше — могуче-полная невозмутимая женщина со странными, из голубых частичек и подобных яркому небу глазами. От матери я получил такие же из лазурных зернышек глаза, где зачем-то одно зернышко было желтое. Я знал, что отшел от матери, будто камень от скалы, — не знаю, почему со мной было такое ощущение. То, что мать была мной и что мы были родственны, никогда не оспаривалось моим сознанием.

Я чувствовал, что она была только первоосновой меня, природой, меня породившей и такой же понятно загадочной в своей монолитности, своих улыбках, своим молчанием-пониманием и даже непониманием моих мыслей и поступков. Она была мной, но уже отделившим меня мной и оттого как бы непонимающим, и подобным, и к тому же включенным в родство всему этому и новому, что я видел: лесу, соснам, пню, небу и даже Земле, на которой я еще нетвердо, хотя и восторженно стоял. Допускаю, что тогда я все это лишь чувствовал и ощущал, без возможности выразить словесно даже самому себе.

Отец очень отличался от матери. Он был другой. Вот он уже, поставив узел с самоваром и бидон, сбросив рюкзаки, действительно хлопочет вместе с бабушкой на поляне-прогалине у края опушки, собирает сучья, ветки, тащит валежник, хрустит им, складывает сучья в костер. Зажег, покашлял от вкусного дыма, полюбовался трескучим огоньком, и вот они, отец и бабушка, уже налаживают самовар, наливают воду, потом отец подошел к пню, явившимся откуда-то небольшим топориком сколол яркую янтарную щепку, понюхал шибящую в нос скипидарную ее плоть, дал нюхнуть мне, улыбнулся: смолье! И уже поджигая это смолье, глядя, как враз берется оно зубасто-веселым голубым и желтым огнем, насладившись, опустил его в самоварную трубу, стал бросать туда сухие и жадно раскрытые от жары и будто от вечной засухи сосновые шишки. Шишки были моей новой находкой и обрадовали, я бросился жадно их собирать. СОБИРАТЬ! Но понял — шишек много, слишком много, и сразу охладил, отставил в себе на дальнейшее расстояние — они лежат там до сих пор, потрескивающие от сухости, знойно раскрытые, в иных есть, проглядывает полево-сухое, стрекозьего тона, как нижнее крылышко жука, застрявшее семечко-крылатка. Я люблю хвойные шишки. Всегда замечаю их, когда они хрупают, прыгают под подошвой, когда висят, будто вклеенные в хвою, еще серные и будто каменные, и те, что висят коричневыми светлыми связками в божественной и туманной высоте еловых венцов, между небом и землей. Все-все пошло оттуда, имеет начало тогда и там, когда нога моя в детском сандалиии, оскальзывающе-гладком, почувствовала их живую упругую хрупкую твердость.

Если бывает первое пьянение без вина, я именно опьянел в этом сосновом, страшно, несказанно высокоом, поднебесном бору, который, клонясь к тихому солнечному полудню и к закату, неостановно-ровно шумел. Вечно, предвещающе? Ветром или облаками? Качал вершинами в валежном с ног неостановимом движении, или это качалась сама Земля? Он млел и мрел запахами цветущей травы, ладанным куревом закипающего самовара, который дополнял более ясный и едко-вкусный дым костра, направляемого умелой отцовской рукой. Костер был небольшой, уже в золоте прогорающих сучков, что, распадаясь в жар, скулили, звенели, потрескивали, покрывались белым плечатым пеплом, и пепел этот душой сучка вдруг взлетал и уносился в никуда, особенно когда отец ворошил костер, подбрасывал новую пищу огню и клал в нагорелую золу картошки. Меж самоваром и костром на траве была уже вольно постелена скатерть, и возле нее надежно сидела моя мама со своей странной полуулыбкой всепонимания и всеведенья. А отец и бабушка все хлопотали. Тоже кровно родственные существа — тоже сын и мать, но — другие, совсем другие. Умозаключение это как-то не приходило мне тогда со всей определенностью, я лишь понимал, что они очень похожи. В хлопотах, в жестах, в лицах, в словах, в том, как раскладывали по скатерти снедь: вчерашние квелые пирожки с капустой (есть хочется!), с мясом, хлеб, крутые яйца, первые огурцы, выстопованные бабушкой в парнике. Хотелось есть, пить, и я уже не раз подбегал, прикладываясь к бидонной крышке с квасом, бабушка и его не забыла, а отпив, по-прежнему был счастливо пьян воздухом леса, голосами птичек, мельканием белых и желтеньких бабочек, которых сперва неумело ловил и тут же отпускал, чтоб понюхать цветок, в котором была общая небу и лесу синь и просинь. Помнится, я даже обнимал сосны и так, обняв, глядел в небо, куда возносили они свою могучую живую суть, может быть, мне хотелось подняться туда, в сущность того вечного, о чем они тихо, одномерно шумели, одномерно клонили и возвращали назад свои думающие, а может, всзнающие вершины. Не ведаю и теперь, понимала ли меня мать, спокойно следившая за мной, но, кажется, только она и понимала.

Пили чай. Из самовара. Здесь он был явно живой. И весело цедил кипятки в эмалированные кружки. Это сейчас я пью из дулёвского расписного, как жар-птица,

бокала. Тогда в лесу была со мной моя вечная сине-зеленая кружка с шербленными краями, где пробовал я свои молодые неровные зубы. Пили чай из самовара, тихо шумевшего, довольно поездкой, — никак и для него редкое развлечение — струившего голубой и тленный чад сторелых шишек. Пили чай. И отец хвалил лес, день, погоду, лето, самовар. На лице отца, схожем с бабушкиным, был блаженно-счастливый пот, который так и холодит и студит лоб после каждого глотка (с сахаром вприкуску) и еще с бабушкиной стряпней, с этими вялыми, но вкусными, когда разжуешь, капустными пирожками. Это было уже чисто земное наслаждение, и в него я ушел, отхлебывая чай, рассасывая сахар, опираясь на толстое материнское бедро, надежно бывшее со мною рядом. Пили чай. Но отец, вдруг и внезапно отставляя кружку, настороженно всмотрелся куда-то в даль опушки уже совсем другими глазами охотника и, поднимаясь с колен, крикнул: «Глядите-ка! Махаон ведь?! Махаон!» Он произнес эти слова так восторженно-жадно, что я тотчас понял, а может быть, и понял-увидел, что МАХАОН — это большая, очень большая, огромная желтая бабочка, светло-желтая, которая, враз отличаясь от мелькавших везде над лесными цветами хлипких мотыльков, летела, приближалась к нам странным, свободным, замирающе-порхающим и как бы планирующим полетом. И вот она оказалась совсем близко, неожиданно яркая, сетчатая, углокрылая и хвостатая. Ее крылья были с хвостиками! Это я видел ясно, восторженно. А отец, вскочив, схватил мой сачок и бросился к ней. Ловить! Ловить!! ЛОВИТЬ! Вот он взмахнул сачком. Раз! Два! Вот почти накрыл метнувшуюся бабочку. Но... Махаон оказался явно ловчее, теперь он испугался и помчался вдоль опушки прочь, а вслед неуклюже, в гимнастерке, в сапогах на крепких кривоватых ногах — он был из мужчин коренастого склада — побежал отец, преследуя увертывающуюся бабочку, и так они удалились, родив усмешку в глазах седой и морщинистой бабушки и спокойное улыбочное понимание-сожаление в вздетой брови на лице матери.

Я тоже хотел бежать за отцом, за бабочкой. Но мать не пустила своей властной рукой. К тому же отец — было видно — уже возвращался, мелькал среди сосен, а подойдя, встряхивая черной, курчавой, грузинского типа головой, смеясь глазами, сказал: «Не мог догнать! Здорово летает! И откуда он здесь? Ведь — ма-ха-он! Редкость! Благодарный! Да и сачком этим... Разве поймаете...» Он бросил его пренебрежительно в траву и опять было принялся за чай. Но махаон, видимо, растрогал отца. Родил какие-то воспоминания и, оставив кружку, отец вдруг начал рассказывать, как жил два лета подряд на даче у купцов Чуваковых на берегу Исети и как научился собирать коллекции. Учили его тоже жившие там братья-погодки — гимназисты Самойловы. Николай, Алексей, Андрей, Петр. «Четверо было, — сказал отец, — Из дворян. Умные были. Начитанные... Ну, — воспитание... Они и научили бабочек собирать... Жуков... Хорошие ребята были». Отец помолчал. Потом неожиданно, наливая чай и как-то глядя в сторону, добавил: «В гражданскую все погибли. С Колчаком были... Последнего... Петю... Петра... Здесь расстреляли... Губчека. Белье они. Юнкера».

Отец мой служил в Красной Армии. Пошел добровольцем и часто об этом рассказывал. С махаона отец опять перешел на эту гражданскую, как посылали их, курсантов командирской школы, на подавление кулацкого востания под Тобольск, Ялуторовск, как комиссар школы одноглазый большевик Ретнев на перроне тряс кулаком: «Попов, ребята! Попов не щадите!» и как плакал, провожая сына, мой дед. «Никогда сроду не видел, чтоб протерзался, а тут...» Бабушка слушала, сморкалась, вытирала глаза белым в мелкую крапинку платком.

Махаон исчез. Но и весь этот лес, которого давным-давно нет, разве несколько полувисоких вершин за оградой чудища-завода, все напоминает мне, едущему мимо, тот июльский день, земляничный туманный воздух и еще молодую (молодую тогда и впрямь!) чистую Землю. Она осталась во мне такой, останется навсегда, до конца.

леса. Нет матери. Нет и отца. Давным-давно нет бабушки. Нет, конечно, и даже в потомках той быстрой бабочки, свободной и словно отстоявшей свою свободу. О, как она уворачивалась от сачка! Как испуганно торжествовала, уносясь от посрамленного человека, вздумавшего ее поймать. Бабочка. Ма-ха-он! Еду асфальтовым проспектом. Слева до горизонта завод, справа — кирпичное, бетонное многоэтажье. Кинотеатр «Заря». Катится вдоль линии поток машин — легковушки, грузовики, краны, тракторы-тягачи. Все они текут туда, словно к видениям прошлого, где еще чудятся-вспоминаются мне, присоединяясь к вечному речущему свободному махаону, вырубки, пни, баракы, землянки, лошади и телеги, сваи, люди в лаптях и ватниках оголето, самозабвенно копающие, строящие тоже, наверное, с постоянным миражным видением перед собой новых цехов, новых труб, от которых ждали и жаждали нового невиданного счастья и блага. Ждали. Но уже брезжил тогда страшный год, обозначенный в истории двумя цифрами: тройкой и семеркой. И другие годы за ним, не менее тяжелые военные, послевоенные... Жаждали чуда и блага. Чуда и блага. Братья Самойловы: Коля, Алешка, Андрияша, Петя. Собирали бабочек и жуков по лугам у чистой рыбной тогда Исети, где летал махаон, пойманный моим юношей-отцом. «Попов! Попов не щадите, ребята!»

Как странно все это присоединяется к вольно реявшему и улетевшему от нас махаону.

## Орнитоптеры (авторская справка)

Бабочки рода Орнитоптера (птицекрылы) принадлежат к крупнейшим и красивейшим видам семейства парусников, а теперь еще и к исчезающим редчайшим бабочкам мира. Все они принадлежат к подсемейству собственно парусниковые, в которое объединяется большинство видов папилио и составляют трибу (объединение близких родов) тройдесовые (Troidini) с родами Эвриадес, Крессида, Паридес, Атрфанеура, Пахилопа, Тройдес, Трогоноптера, Орнитоптера и Баттус. Все роды, за исключением Баттусов и Эвриадесов, индо-австралийского происхождения. Роды Баттус и Эвриадес принадлежат к южноамериканским бабочкам. Остальные составляют самую ценную часть фауны чешуекрылых юго-восточной Азии, Малайского архипелага и особенно острова Новая Гвинея и Сев. Австралии. Прежние классификаторы объединяли этих бабочек в один род с Папилио, и красивейший вид, допустим, Трогоноптера броокиана именовался как Папилио броокиан, или Орнитоптера броокиана, как подрод. Видов собственно Орнитоптер теперь по систематике немного. Они к тому же еще и спорны, ибо похожи друг на друга. Даже в пределах одного четко установленного вида имеется множество вариантов и подвидов, связанных главным образом с островной изоляцией, которая приводила к видообразованию.

## Орнитоптера Ротшильда

— Альфред, расскажи, пожалуйста, как ты добыл самку орнитоптеры Александры? — спросил я у Рассела, когда мы вернулись поздним осенним вечером с дальней прогулки за девонширскими окаменелостями. Целый день под промозглым западным дождем, то сеющимся, как легкая немецкая дробь «дунст», то переходящим в липкий туман, мы бродили вдоль обрывов по осыпям и скальным обнажениям вдоль русла реки, кололи сланцы молотками, ворошили ломиками, вглядывались в изломы, в слои пород, прихотливо изогнутых, смятых и нагроможденных земными силами, а теперь открытых взору рекой. Здесь были слои древней и древнейшей жизни, и, честное слово, я всегда чувствовал какой-то священный восторг и как бы трепет во время этих разглядываний. Отпечаток растения, контур раковины, нечто вроде отгиска медузы или какой-то древнейшей морской диковины. Следы жизни! И какой жизни! Столь давней, что все проповеди о творении

казались наивной сказкой. И в то же время лицо божественного величия было здесь слишком очевидным, чтоб предполагать, что работало одно лишь творчество природы, пусть миллионы лет, пусть миллиарды, громоздя друг на друга пласты давно прошедшего времени. Тайна рождения жизни... Она явно уходила куда-то вглубь. Или жизнь вечно продолжается и принеслась к нам откуда-то из космоса, чтобы развиться в земные формы? Здесь были строки этой жизни, и мы с Альфредом так любили искать их, вглядываясь в пласты до ряби в глазах. Мы наслаждались поиском. Дело в том, что в мокрый день искать окаменелости гораздо лучше. Влага дождя проявляет и как бы оживляет поверхность камня, и тогда становятся виднее включенные в сланец раковины моллюсков, отгиски растений, следы древних костей и иные останки, на сухом камне едва заметные. Найдя такой след жизни, мы бережно добывали его, стараясь не повредить и обработать с величайшим усердием. Наши поиски сегодня были удачны. Я добыл несколько экземпляров некрупных трилобитов, одну затертую раковину неопisanного вида и какое-то подобие отпечатка пальмового листа, хотя палм в истинном смысле в девоне не могло расти, и это был, вероятно, гигантский хвощ, саговник или даже просто кусок стебля болотного растения. Альфреду же повезло, как всегда, больше. Он был необычайно везучий человек, в этом я не раз мог убедиться, когда мы коллекционировали на Амазонке и ее притоках. Мы уходили на экскурсию вместе или порознь, и он всегда возвращался с такими уловами насекомых, найденных моллюсков, пойманных ящериц и лягушек, подстреленных птиц, собранных где-то орхидей, что я только бледнел от зависти. Только Альфред мог раздобыть где-то редчайших и красивейших жуков, вроде усача-арлекина или жука-геркулеса, мог спокойно показать мне новый вид прекрасного парусника, он добывал чудовищной величины жуков-златок, блестящих, как червонное золото, или наземных улиток с изумрудными расписными раковинами. У него был нюх на поиск редкостей. И, повторю, он был страшно везучий. Лишь один раз судьба испытала его, когда он заболел жесточайшей лихорадкой и вынужден был покинуть Амазонку после четырехлетнего странствования. Корабль, на котором он плыл в Англию, попал в шторм, на судне произошел пожар, и оно затонуло. Альфред с несколькими товарищами десять дней скитался по океану, пропали коллекции и дневники, но и здесь он оказался везучим, лодку заметили, и Альфред спасся. Корабль доставил его на родину. А уже через два года мой друг отправился на Малайский архипелаг. Везучий? Даже чересчур! Подумайте сами: прожить восемь лет в лесах Малайского архипелага, исколесить его вдоль и поперек, жить на Новой Гвинее, населенной каннибалами, болеть лихорадками, попадать во время переездов с острова на остров в тайфуны, встречаться с пиратами — и остаться целым, вернуться в Англию, привезя с собой целый гигантский музей<sup>1</sup> и, более того, сохранив завидное здоровье, духовное и физическое, — согласитесь, это необычное везение!

Вот и сегодня он обставил меня, как мальчишку. Его зоркие глаза обнаружили в отложениях древнего моря две чудные раковины, похожие точь-в-точь на очень редкий и ныне еще встречающийся в Индийском океане моллюск Наутилус помпилиус<sup>2</sup> — гигантскую тигровую катушку. Как было тепло тогда, в девоне, здесь, какой океан плескался на месте Британских островов! Иногда меня посещает дерзкая мысль — не вся ли суша в те времена была покрыта водой, и планета наша казалась огромным вод-

<sup>1</sup> Альфред Рассел Уоллес за время своего восьмилетнего странствования по островам Малайского архипелага и Новой Гвинее собрал 310 экземпляров млекопитающих, 3050 птиц, 100 пресмыкающихся и земноводных, 7500 моллюсков, 75100 бабочек, 83000 жуков, 13400 других видов насекомых — всего 125000 музейных экспонатов из области биологии. Здесь не перечислены растения. (Здесь и далее прим. авт.)

<sup>2</sup> Представители действительно редкого и древнего рода моллюсков наутилусы встречаются не только в Индийском океане, но по всей океанической зоне тропиков. Этих моллюсков насчитывается 6 видов. Наутилус помпилиус — наиболее известный из них. Раковины наутилусов высоко ценятся коллекционерами.

ным шаром? Представьте это зрелище? Безбрежный сплошной океан!

Нагрузив нашими тяжелыми находками взятые с собой корзины, мы едва выбрались на дорогу, где уже ждал нас слуга с повозкой, и покатали на виллу Альфреда, скорее похожую на филиал Британского музея. Альфред построил себе в Годальминге новый дом и создал здесь своего рода палеонтологический, зоологический и этнографический заповедник, а в дополнение к нему ботанический сад, где содержалось свыше тысячи видов растений: орхидей, суккуленты, кактусы, собрание палм и прекрасных пестролистных растений. Я забыл сказать, что он необычайно трудолюбив, трудолюбив до самозабвения. Его день начинается до рассвета, а спать он ложится подчас далеко за полночь. 4—5 часов сна, и он снова на ногах, снова бодр, жив и весел. Я никогда не видел Рассела унывающим или праздным.

Теперь мы сидим в гостинице у каминя в ожидании ужина. Сейчас подадут грог, который будет как нельзя кстати после нашего целодневного скитания под дождем. Моя брезентовая накидка все-таки насквозь промокла, и теперь меня познабливает — здоровье мое не из лучших, с тех пор, как за одиннадцать лет жизни на Амазонке я переболел тропическими лихорадками, и по временам, особенно осенью, они дают о себе знать. Альфред же весел и оживлен, ему словно нет его шестидесяти пяти, и я по виду его знаю, сегодня он преподнесет мне какой-нибудь сюрприз.

— Дружище! — говорит он, принимая с подноса слуги стакан с грогом и прихлебывая из него с видом оголтелого гурмана. — Дружище! Пей грог, согрейся... Грог — лучшее средство от всех простуд. А я расскажу, как добыл орнитоптеру Ротшильда, потому что Викторю и Александру я покупал у туземцев и не знаю, как они их ловили. А Ротшильдиану я добыл сам, как в свое время и Креза, и Посейдона<sup>3</sup>. Ты, конечно, в курсе, что Ротшильдиана водится лишь на Новой Гвинее и что хотя она и не самая крупная из птицерялок, но очень трудная находка, летает она быстро, держится высоко, и особенно трудна для добычи самка. Ведь у орнитоптер на одну самку приходится, может быть, сотня самцов, и самки значительно крупнее. Черт побери, не хотел бы я оказаться на их месте в борьбе за красавицу! Орнитоптеры Ротшильда, по моим сведениям, чаще встречались не на побережье, где их как бы замещает тоже прекрасная и некрупная райская орнитоптера<sup>4</sup>, а в болотистых лесах между вулканическими хребтами. На побережье, где я коллекционировал, ее нигде не было. Но — забираться вглубь... — он снова отпил из стакана и шутиливо возвел глаза к потолку, — прекрасный грог, согревает, как живая вода. — Забираться вглубь... Это же Новая Гвинее! Это черт знает какой неисследованный мир, вторая Амазонка, хоть там и нет такой громадной реки. Реки есть, их много, и они широкие, быстрые, но, конечно, ни в какое сравнение не идут с Амазонкой, однако если на Амазонке в общем-то вполне безобидные кайманы, на Новой Гвинее водится гребнистый крокодил, а это страшлище достигает до сорока футов (10 метров) длины и может опрокидывать даже лодки. Это, впрочем, единственный опасный хищник на Новой Гвинее. О, Генри, как я жалею, что ты не побывал на этом острове-материке! Бабочки его просто потрясающи! Причем не обязательно парусники, здесь столько прекрасных нифалид, белянок, сатиров, расписанных всеми цветами радуги. Какие здесь жуки-рогачи! А птицы! Особенно райские! Попугай. Лори, какаду! А орхидеи, особенно ванды, целогины и дендробиумы, последние просто великолепны, ибо есть громадные, как тростник, и крохотные, но с прелестными голубыми цветками. А на каком еще острове такое множество эндемиков, не встречающихся больше нигде? В сущности Новая

<sup>3</sup> Название *O. kroesus walli* u. *O. priamus* s. sp. *poseidon* Dbldy.

<sup>4</sup> *O. paradisea* Stgr — один из прекрасных видов орнитоптеры, задние крылья которой имеют загнутые в стороны «хвостики». Достаточно редка.



Гвинея, так же как Борнео и Суматра,— это материки девственного леса. И к тому же она совершенно не исследована. Я знаю о путешествии русского Маклая, но что может сделать там один человек?! Живи на острове хоть всю жизнь — все бесполезно. Это чувство не покидало меня, Генри, во все дни скитаний по Малайскому архипелагу. Бог мой! Какие леса, какие животные, насекомые, растения, которые я так бы хотел привезти сюда, в Англию. А океан? Помнишь, на Амазонке мы были потрясены этим сумасшедшим буйством жизни? Высотой и многоярусностью леса? Но на Новой Гвинее! Святые Губерт и Патрик! Какие там стоят дебри, какой нетронутый лес! Бывало, я часами торчал перед каким-нибудь гигантом, уходящим невероятно высоко, в самое небо, еще обвитом снизу плющами, асплениумами и неизвестными мне пестролистниками, и видел, как высоко-высоко вверху гнездятся новые прекрасные папоротнички, бромелии, свисают орхидеи с гроздьями цветов и кружатся великолепные бабочки, совершенно недосягаемые — мне думается, что там есть виды, никогда не спускающиеся на землю. Я думал, как прав был Гумбольдт, когда писал, что для исследования всего только одного дерева из дождевого тропического леса нужна целая жизнь нескольких натуралистов. А какие там болота! Растительность в болотах достигает максимума разнообразия и красоты. Десятки видов болотных пальм, ползучие каттли, ароидные с драгоценными серебряными узорами на листьях, опять папоротники, орхидеи, саговники. А в реках заводи гигантских голубых кувшинок! Как-то не верится, что в таких лесах нет крупных четвероногих, кроме вездесущих диких свиней, и нет крупных птиц, кроме таких редких и скрытных казуаров. Но бабочки перекрывают все. Уверен, что там еще есть неизвестные парусники и даже из числа самых крупных. Орнитоптер папуасы знают и даже ценят. Их переливчатозеленые крылья модницы-папуаски втыкают в прически. И ты не поверишь, Генри, я видел в шерстистой шевелюре

одной такой дамы крыло бабочки едва ли не в полфута! Одно верхнее крыло! Значит, даже Александра, самая большая из орнитоптер, меньше ее. А каких размеров должна быть сама? Такой гигантской бабочки я даже представить не берусь. Помнишь, на Амазонке я выпалил дробью по бабочке, приняв ее за куропатку? Это оказалась действительно крупнейшая бабочка в мире, совка Физания Агриппина. Она известна всем энтомологам и не только энтомологам, но крыло в прическе женщины подтверждает, что в дебрях Новой Гвинеи водится действительно гигантская орнитоптера<sup>5</sup>. Но вернусь и расскажу, прости, дружище, я вечно увлекаюсь и меня заносит, как пьяницу... К тому же отличный грог! Так вот, орнитоптеру Ротшильда я добыл также из ружья. Я увидел ее кружащейся на большой высоте, в кроне дерева, усеянного какими-то желтовато-белыми и розовыми цветами. Там все кипело от летающих насекомых. Там были и бабочки, но орнитоптеру я сразу узнал, она планировала, как бумажный дракончик. Ружье было заряжено бекасиной дробью, которой я всегда стрелял мелких птиц, и я, не раздумывая, выпалил наудачу. Ты можешь представить мой восторг! Орнитоптера, кружась волчком, спустилась, как сияющий китайский веер. Она упала поблизости и, когда я ее нашел, самое удивительное — на крыльях было всего две крохотных пробоинки, которые я незаметно подклеил при препарировке. Почти идеально целый экземпляр орнитоптеры Ротшильда! Самец. Ты знаешь, что и самцов этой красавицы в коллекциях знатоков не густо. Что же говорить про самок! С самками орнитоптеры Ротшильда было посложнее. Они вообще казались несуществующими, если б я не знал точно, что они есть. Вот точно так, как сам Ротшильд рассказывал о добыче самки парусника Папилио Антимахус в Западной Африке. На Новой Гвинее я жил в течение нескольких месяцев. Я уже со-

<sup>5</sup> Возможно, Рассел имел в виду позднее открытые виды *O. Голаиф* или *O. Титан*.

брал огромную коллекцию прекрасных жуков: златок, бронзовок, навозников, рогачей,—рогачей особенно,—ты знаешь, с какой неохотой я расстался даже с коллекцией дублей, которую продал господину Саундерсу. Там было почти 100 жуков, из них более половины, вероятно, новые виды.

Мой друг встал и заходил по гостиной. Он казался взволнованным. Я знал, что Рассел крайне болезненно переживал продажу своих коллекций.

— Так вот, Генри, подходило время моего отъезда с западного берега Новой Гвинеи. Климат был очень тяжелый. Силы мои уже на исходе, ведь шел восьмой год моего проживания в тропиках. Здесь я к тому же опять заболел, и меня вечерами порядочно потряхивало, а хинин, сам знаешь, палка о двух концах. Он бьет по лихорадке и по тебе. Я чуть было совсем не оглох от этого снадобья и был весь желтый, как малаец. И вот когда я уже возился с упаковкой моих коллекций, тщательно заделывая ящики от термитов и муравьев,— мне вовсе не хотелось привезти в Англию хитиновую труху,— господи, сколько они у меня съели, а больше того испортили собранных с таким трудом экспонатов! А термиты грызут и хитин! ко мне явился папуас из селения в глубине леса, где жили двое отважных немецких миссионеров. Папуас принес мне экземпляр чернохохлого какаду. Такого попугая в моей коллекции не было, и я принял его с восторгом. Я хорошо вознаграждал охотника, покормил его, и когда он, наевшись, достал свой бетель, смешал его с известью и принял жевать эту странную жвачку, я спросил, где водятся такие попугаи. Он ответил, что попугаев таких «много-много». И он знает это место. Оно «близко-близко». Что для коллекционера один экземпляр? Генри! Я загорелся, как порох, и решил добыть чернохохлых какаду. Папуас сказал, что в те места есть дорога. Представляешь? Дорога в тропическом лесу?! Мы договорились, что туземец проводит нас, меня и Аллена, до подножия вулканов, где обитают какаду. На другой день мы отправились в путь. Как всегда получилось, что «близко-близко» для папуаса, то «далеко-далеко» для нас. Мы выступили на рассвете и шли без перерыва до полудня. Зной становился просто невыносимым. В лесу было, как в оранжее, духота и влажность так изнурили нас, что я уже подумывал вернуться. Лес, которым мы пробирались, несмотря на тропу, был низинный, топкий, растительность выше всякой меры, тучи москитов, сырость, пиявки! Ручьи, которые мы то и дело переходили вброд. И хотя я без усталости работал сачком, бабочки были более-менее обычные. Припоминаю, однако, что я добыл несколько новых ярко-пестрых нимфалид, крупных голубянок и сатиров. На тропе постоянно попадались голубовато-красные и расписные лягушки, красивые ящерцы из породы сцинков, один раз дорогу пересек крупный варан и перебежало несколько диких свиней. Никаких какаду не было в помине. Впрочем, попугаи редко держатся поодиночке. Это стайная птица. И тут в без того сумрачном лесу совсем затемнело, точно во время затмения. Мы и заметить не успели, как накатилась тропическая гроза. Вверху прокатился вихрь. И я понял, что сейчас грянет ливень или уже идет, ибо в таком лесу он сначала льет на кроны и, лишь насытив их, начинает водопадами сливать воду с деревьев вниз. Да тебе ли, Генри, столько лет прожившему на Амазонке, не знать, что такое тропическая гроза? И действительно, в течение нескольких минут, пока мы пытались поставить палатку и расчищали для нее место, вода хлынула с небес, а точнее, с деревьев водопадами. Я в жизни не видел столь ужасного ливня, казалось, лес поливали из чудовищного ведра, и спустя десяток минут все было кругом в воде. Какая палатка, когда земля словно пришла в движение, а тропа превратилась в русло потока, набирающего силу. Мы брели уже по колено в воде, а она лилась на нас с яростью. В таком случае думается, что мы прогневили каких-нибудь туземных богов или дьяволов. У этих тотемов такие страшные лики! И, конечно, у папуасов должны быть боги дождя или грома. Все это лезло в голову, пока мы топтались в воде, я и мой по-

мощник, а папуас побежал куда-то в сторону и исчез, как провалился. Они, Генри, самые ненадежные проводники, потому что никогда не идут с вами, они шныряют где-то в стороне, уходят далеко вперед, если находят что-то съедобное, останавливаются и могут даже просто вернуться в деревню, не предупредив и полагая, что вы сами разберетесь по следам, куда вы зашли, и сможете вернуться. Ты же знаешь, Генри, как ориентироваться в тропическом лесу, хорошо, если есть просека и затески, а этого мы не делали, ибо шли по тропе, которая была очень старой, заросшей и все время терялась в этом полуболоте. Когда папуас шел впереди, я не очень следил за местностью. К тому же гроза, и все залито водой. Вода прибывает. Палатку набросили на себя, но что толку, были мокры, как пловцы, а гром глушил нас, как рыбу. Господи-боже! Какие раскаты отдавались в этом лесу! Наша английская гроза, самая сильная, жалкий треск по сравнению с новогвинейской. А молнии можно было видеть сквозь сомкнутые веки. Выручил нас все-таки проводник. Что-то крича, он появился и буквально потащил меня и Аллена в сторону от тропы, уже похожей на речное русло. Продираясь в лесу по колена в воде, волоча палатку, совершенно мокрые, облипшие, мы достигли какого-то полусклоненного дерева со множеством корней-подпорок, как у мангры, и влезли на эти контрфорсы. Может быть, это был баньян или панданус. Мы втащили тяжелый брезент, укрылись и сидели, как куры на насесте. Я был рад, что папуас не потерялся, но дальше было что-то невообразимое. Вихри с дождем сотрясали лес. Электричество бушевало. Мокрых, нас буквально прокалывало от близких разрядов. Гром ходил какой-то сплошной, черный, как обвал. Он даже не стихал— это было сплошное, катящееся громыханье, которому я не найду сравнения, разве как в начале светопреставления. Я надеялся только на то, что столь сильная гроза не может быть долгой. Но знал также, что начинается период дождей (потому я и уезжал с Новой Гвинеи, в дождь тут делать нечего, он идет неделями) и такие грозы как раз открывают сезон. Но все обошлось. Ливень внезапно почти оборвался. Тотчас засияло в прогалинах солнце. Закричали птицы! Запели цикады и лягушки. Послышалось совсем близко допотопное кудахтанье казуаров, и лес, до того угрюмый, как предпоздняя, вдруг заулыбался невинной и даже шутовской улыбкой. О, природа, Генри! Как она непредсказуемо прекрасна. Она точно женщина, и притом красивая, и вздорная женщина! Даже на Новой Гвинеи. Ну, так... Мы переждали, пока схлынут потоки воды, несущие всякий сор, листья и ветки, слезли с корней дерева, стянули ненужную палатку. И вот когда мы ее свертывали, я увидел совсем неподалеку, в кустарнике с жестко-блестящими глянцевыми листьями, какое-то коричнево-черное и пятнистое живое диво. Оно свевелилось, явно пытаясь взлететь. Я всмотрелся, приблизился и понял— передо мной огромная кофейного цвета бабочка с белыми перевязями на крыльях. Орнитоптера Ротшильда! Самка орнитоптеры Ротшильда! Вытаращив глаза, забыв про сачок, я кинулся к кусту и шляпой, Генри, шляпой накрыл. Руки мои тряслись, как в пароксизме, когда я взял ее. Ты не можешь себе представить, как я торжествовал! Бабочка была целая! Только влажная. Очевидно, ее снесло откуда-то с вершины теми вихрями, что сотрясали лес, или сблю ливнем. А в силу своего гигантского размера самки орнитоптеры летают вообще плохо. Ты понимаешь, Генри, что я немедленно решил прекратить экспедицию к вулканам к великой радости моего Аллена и к недоумению папуаса-проводника, которого я тут же вознаграждал. Но больше всех был вознагражден я сам. Ведь мне досталась самка орнитоптеры Ротшильда! Туземец тоже посмотрел на бабочку и сказал, что видел такую «один-один раз». Вот она, Генри. Я поместил ее в отдельный ящик красного дерева, и хотя впоследствии у меня было еще два-три экземпляра, этот я оставил себе. Смотрю и люблюсь! Вроде бы что уж такого? Бабочка и бабочка! Ну, пусть очень крупная, очень редкая. Для кого как... Но для меня...— тут Альфред грустно усмехнулся в седую бороду, поправил очки,—

для меня, Генри, это весь остров Новая Гвинея, его дикие прекрасные леса, его синие вулканы, заливы с белым коралловым песком. Там и сейчас накачивают волны, бегают крабы, шумят пальмы. А в прозрачной воде видны прекрасные раковины. Кому что, Генри. Кому что... Картина эта всегда передо мной.

Слуга принес нам ужин. Зажег свечи. В камин добавили угля. И запивая пахтет хорошим английским элем, я думал, припоминал и собственные гутешества, казавшиеся теперь далекими и легкими. Как удивительна человеческая судьба! Можно ли, с точки зрения здравомыслящего, ради каких-то пусть очень редких и красивых существ: жуков, бабочек, птиц, орхидей ехать на край света, рисковать жизнью, всем, что у тебя есть, забираться в такие дебри, что жутко вспомнить, годами жить там, томясь тоской по близким, по Англии, по ее милым сердцу пейзажам, дорогам, дубам, лугам и фермам под черепичными крышами, даже по прохладным ее дождям и ветрам, но все-таки терпеливо изучая тот чуждый и роскошный мир всеильного Творца, который дарит нам наслаждение в его открытии. И еще я думал, что, живя теперь дома, в Англии, я так же, как мой друг, подчас с тоской вспоминаю те далекие страны, моря, леса и острова. Как странно устроен человек, и особенно натуралист. Его стремления к познанию безграничны.

## ВОСПОМИНАНИЕ ВТОРОЕ:

### ШИПОВНИК

Шиповник. Его нежно-розовые простые цветы с пятью лепестками, представившиеся мне голубыми (объясню почему) я узнал в самом раннем детстве. Как-то в воскресенье утром, а правильнее сказать, опять в «выходной», к нам явились гости: тетка, сестра отца, яркая мажнерная женщина-брюнетка с бровями в ниточку, считавшая себя художницей (тетя Зоя) и ее муж, следовательно, мой дядя, лысый весельчак с яйцевидной головой и ухватками неистребимого жизнелюба (дядя Вася). Там, где появлялся этот мой дядя, тотчас воцарялась атмосфера праздника, т. е. веселья, смеха, шуток, женского визга — дядя Вася словно носил с собой эту атмосферу, и все немедленно включалось в нее, любил его, подчинялись ему, — все без исключения, а я, наверное, особенно, потому что не сводил с него зачарованных глаз, хоть дядя по моей младости и не уделял мне большого внимания, просто был веселый человек и даже смотреть на него было как-то весело.

Речь дяди Васи пересыпалась обычно какими-нибудь прибаутками, поговорками, присказками, какой-нибудь не слишком грубой «похабщиной», как называла его словоизлияние моя щепетильная мама, и даже незлобивой руганью. Дядя служил раньше, как говорила бабушка, в «гепеу», потом в «энкаведе» и в милиции, потому являлся к нам часто в военном, а перед войной в синей милицейской форме и в каске с двумя козырьками — «здрасте-прощайте», так он с хохотом называл ее сам, водружая каску на лысую голову. Впрочем, в этой каске, в гимнастерке с голубыми «шпалами» в петлицах, в ремне с портупеей он мог выглядеть и весьма внушительно, вся эта военная и как бы опасная по тем временам форма очень шла к нему, но как-то не считалась ни строгой, ни грозной. Просто без нее дядя Вася не был бы дядей Васей. Особенностью этого человека была еще привычка употреблять какую-нибудь смешную или малопонятную фразу — она была будто рефреном к его речи, вставлялась кстати и некстати, к месту и не к месту, и не она ли — фраза — настраивала всех на этот веселый смешливый лад.

Вот и тогда ясным июньским утром, отворив ворота, озадачивая трех наших собак (собаки на него не лаiali!), улыбаясь всем (и им тоже) своей дурашковой и сердечной улыбкой, дядя уже кричал отцу, занятому тщательной укладкой свежесколотых дров:

— Григорей! (так он звал моего отца чаще всего) Гриша?! Кончай ты эту (тут далее непечатное и притом

с особым дядиным «перевертом»). Нашел куда время дедать... А? Григорей, я знаешь какую фамилию тут вчера в кино слышал? А? — Туненетти! Ххо-хо-хо! Туненетти, Григорей, а? Ххоо-хо-хо! Где Лена? (это моя мать), Лена где? Туненетти... Григорей? Мы сейчас знаешь куда? Нет? Мы сейчас все за шиповником. Шиповник, понимаешь ты, цветет, туненетти! Вот Зоя мне сегодня говорит: Ты, говорит, Василий, давай, собирайся. Едрена корень... Кончай все. Поедем за город. Шиповнику надо набрать, из его чай — туненетти! Зоя говорит. От печени, и от всего! Сейчас же все кончай! У меня машина. Легковушка. Ну, зас... я, конечно, но — бегаю. В своей, в легавке взял. (Дядя, повторю, не стеснялся ни в деяниях, ни в выражениях. Приходя к нам, чаще всего слегка «под турахом», то кричал, что он... самый свежий мужчина в Советском Союзе, то пел бластную, тогда распространенную «Мурку» (А ты под-шухари-ла, Высю на-шу ма-ли-ну!), то фокстрот «У самовара я и моя Маша», то хватал старую нашу кошку — звали Муська — и прямо из пузырька мазал ее вадерьянкой, приговаривал: «Чтоб была ты неотразима а я»). Григорей? Поехали немедленно... Лена? Чтоб сейчас же соберась! Туненетти! Х-хо-хо! Туненетти!

И действительно, спустя полчаса мы — отец, мать, я и тетя, уже сидели в машине на мягких кожаных подушках. Машина кажется мне роскошной, невиданной. Я счастлив так, что не могу этого выразить. Ведь я впервые, первый раз в жизни, еду на легковом автомобиле, на «газике» — так называли тогда этих предшественников еще более роскошных «Эмок» и «ЗиСов». Я, кажется, и сейчас помню тот счастливый запах новой машины — этого «газика», его сидений, его странных приборов, руля, который дядя назвал «баранкой», и даже легкого бензинового чада. Дядя уверенно правил, попутно рассказывал анекдоты, случаи из своей богатой милицейской жизни, приправляя своим «Туненетти!», произносившимся с вариациями, так что было совершенно ясно и мне, когда слово это обозначало удивление, когда восторг, когда заменяло ругательство или служило проходным междометием, а когда завершающей точкой. Ттуненетти!

Город тогда (до войны) был еще не велик. Еще не пристроилось к нему никаких Эльмашей, Химмашей — и вот мы уже за окраиной, за какими-то домиками, где держат во дворах коз и коров, а на кухнях обязательно живут-тикают часы-«ходики» (почему у меня такое сопоставление и сейчас, когда «ходики» найдешь разве в музее, да какой музей будет хранить?). Мы за окраиной, в березовой перелесках и полях, вдоль по течению Исети, и вот наконец остановка у подножья невысокой каменной горы, близ берега, где когда-то был, видимо, карьер, ломаны добывали камень-плитняк, которым мостили тротуары (где теперь такие из квадратных, метр на метр, отшлифованных ногами прохожих плиты, где видны, особенно после долгих летних дождей и после коротких майских ливней желтые полосы и прожилки кварцита, а то и неясный след какой-то давным-давно миновавшей жизни? Где теперь такие плиты?). Карьер был забыт, давно заброшен, осыпь гранитных глыб заросла малинником, мелким березнячком, осинками, где-где даже ярко зеленел молодой сосняк, что может быть лучше молодых крепеньких сосенок и елочек, так жи во зеленеющих среди обломков камня? Но больше всего здесь было шиповника. Гора, а лучше сказать горка, сопка? Нет, сопка выше, скалистее, в общем, это каменное возвышение цвело шиповником от подножья до вершины и казалось оттого нежно-голубым (это мне, а на самом деле, конечно, бледно-розовым, потому что я дальтоник, цвета вижу не так, как все, и розовый холодный кажется мне почти голубым, а розовый теплый — почти зеленым. Тогда, конечно, я еще не знал об этом своем врожденном недостатке зрения, и холм, покрытый шиповником, остался во мне по-прежнему нежного голубого женского цвета). Это цветение целой горы для меня, малыша, было поразительным еще и тем, что от нее, словно струями, шел крепкий розово-пьяный, пьянящий ли, дурманящий ли, аромат-запах, сравнимый только с запахом роз, но гораздо более сильный, крепкий и летний. Он

соединялся во мне с тоном ясного солнечного неба, его безмятежности в ощущении какого-то вечного и непреходящего цветения. Цветения жизни?! — просится манерная фраза, но все было именно так. В детстве жизнь всегда и во всем кажется цветущей. И тогда я был лишь ошеломлен, пронизан, одурачен запахом этого цветения и одной лишь не сходящей с лица улыбкой отражал его для себя и в себе.

С детства я болезненно неравнодушен к запахам. Люблю их разные, от запаха пахотной земли, навоза и скотного двора до запаха, скажем, солнечных клейких березнячков в начале июня, который дала мне понять мама. (Мы пасли с ней трех наших коз в березнячке на пустоши за пригородом, и когда я спросил, чем так хорошо пахнет, мать без объяснений сломала мне веточку березы и поднесла к лицу, дала мне даже пожевать горько-клейких листьев-листочков, из которых источалось это сладостное дыхание лета, и я еще запомнил красного лакового жучка, что полз по сорванной веточке, упал мне на колени, а потом, пожевав немного, оправился, пополз, блестя, и вдруг будто взорвался, растроился, подняв эти крылышки, — улетел). С тех пор, наверное, я так вещественно люблю запахи жизни: нежно пьянящий изысканный аромат чайных роз, молодой холодный запах сирени, ванильную сладость орхидей, но еще, быть может, более ценю простые запахи полевых цветов, дикой конопля, полыни, ромашки, скошенного сена — запах срединной России, ее косоголов, суглинков, хлебов и просторов. Он сливается в моем представлении с запахами платьев, таких же простых, незавидных, как бы деревенских и сельских девочек, их сарафанов, платочков, горячих подмышек, теплых, нагретых лучами спин, ветровых волос и сухих, целованных только ветрами, губ. Все это было и не было позднее... Прости меня, читатель, но только с цветами, ветрами, растениями, природой вообще, воспринимаю я и часто отождествляю женщину и женскую красоту. И, может быть, даже тогда очень смутно, неясно-невоспринимаемо разумом я понял внезапно хлынувшую на меня женственность этой горы и внял ей так от ее невысокой вершины до голубой (розовой) каймы ее сарафана (внизу шиповник цвел сплошь и гуще). И еще запомнил я мелкого долгохвостого ястребка, что отсвечивал серебром, трепыхаясь, качался и кругами парил над горкой в мреющем, синем, растворяющемся, июньски веселом и солнечном небе. Всегда, что ли, так — ястребок над красотой? И где он теперь, серебристый и чеканный? Где ты, мое несчетное младенчество? Голубые мои глаза, что так ясно смотрели, радостно вбирали весь этот цветущий мир. Теперь глаза у меня серые, едва голубые.

— Григорей?! Лена? Зоя! — Вот сколько шиповнику! Бери-собирай! «Взять у природы — наша задача!» А? Тту-нетти!! Х-хо-хо!

Дядя, блестя яйцевидной лысиной, вытирал ее всегда сильно наодеколоненным платком (любил духи и от него всегда ими пахло), уже шагал к горе, прорывая сапогами дорогу в густой поросли нетронутых цветущих горошков. Он был в парусиновой гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, так же, как мой отец, в синих галифе, только у дяди на ремне, в кобуре были наган. С наганом дядя не расставался! Было время тридцать седьмого года. Везде враги, враги народа, шпионы, диверсанты, вредители. И я с восхищением (я ли только) смотрел на дядю. Им гордились, похоже, и тетя Зоя, и мой отец, и только моя большая, всегда величаво-раздумчивая мама, держа улыбку на невозмутимом лице, была, как всегда, неподвержена никаким массовым страстям. Мама у меня была из никому и ни в чем не поддающихся...

Все занялись сбором этого благоухающего шиповника, которого тут было действительно видимо-невидимо. Отец мой, человек донельзя предусмотрительный и осторожный, советовал мне и матери не лезть в гущу, смотреть под ноги, а на камни ступать осторожно. В камнях могут быть змеи. И хоть он не напугал таким заявлением не слишком робкую дородную маму, меня озадачил, и сперва я, даже с ознобом в спине и в руках, все поглядывал в расселины

валунов, ожидая, вот выглянет оттуда гибкая и черная змея, шея с пронзительными ключущими глазами. Не знаю даже, куда я больше смотрел, на цветы или на камень. Но постепенно испуг мой пропал, как бы растаял, никаких змей тут не было, и я принялся, может быть, даже с жадностью, обрывать розовые (они все-таки розовые!) нежно благоухающие теплом, летом, зноем и ярким небом лепестки и клал их в свою маленькую корзиночку.

Время от времени я посматривал, где ходят отец и мать, да слышал голос дяди:

— Зоя? Григорей? Вот место я нашел! А? Тту-не-нетти!

Но чем больше я собирал цветочные лепестки, тем меньше хотелось мне их обрывать. Они были такие нежные, хлипкие, беззащитные, хотя сам шиповник был дико колюч, серел и топорщился словно несбритой щетиной. Цветочки же без ропота подчинялись моим пальцам, и на месте только что доверчивого розово-голубого венчика оставалась как бы обгрызенная чашечка — сердцевина, а куст, только что сиявший над серым камнем ярко-праздничной россыпью цветов, становился (или оставался?) ободранно-жалким, пусто скучным и будто безглазым. Моя детская жадность утихомирилась. Все меньше обрывал я цветки, все больше смотрел на них.

И тут только я понял, что гора просто кипела жизнью, никогда не виданным мною многообразием природного бытия: бабочек, вообще всяких летающих, кружащих, жужжащих и роящихся насекомых — мух, цветочных ос, пчел, стрекозок, жуков, но больше всего бабочек, бабочек, бабочек! Я впервые увидел такое их богатство — коричневых, пестреных, белых, желтых и желтоватых, малиновых, красных, голубых. Иные бабочки были, как новый шелк, идущий на пионерские галстуки, другие казались кусочками бархата, третьи были, как оранжевые огоньки. И все это кружилось, порхало, перелетало, носилось над цветущими кустарниками, кружилось и вращалось, гонялось друг за другом, совсем как мы, дети, и даже, притихнув, соединялось, сдвигалось, а в этом было что-то странно неразрывное. Я никогда и представить даже себе не мог такого количества живых существ на сравнительно небольшой площади. Теперь, полвека спустя, я могу лишь горестно сказать: жизнь природы истощилась, померкла уже в сотни раз — и это всего за полвека!

Но тогда еще шли тридцатые годы истекающего ныне века и тысячелетия. И Земля еще была безмерной, жизнь — безграничной. И не это ли мнимое безграничие родило все эти войны, походы, захваты, пятилетки, нахрапистое наступление человека. Лучшим примером которого казался и был, наверное, тот дядя Вася, время от времени все еще издававший свое радостно-торжествующее «Туненетти!»

Жизнь кипела. Кроме бабочек я обнаружил на цветах шиповника еще больших золотых или бронзовых коренастых жуков и жуков полосатых, похожих на шмелей, опасных с виду. (Восковик перевязанный и бронзовка медная, или бронзовка золотая, или бронзовка мраморная, она же «мрачная» — из моих более поздних и капитальных энтомологических познаний!) Цветок шиповника с такой бронзовкой сверкал, как дивное ювелирное украшение. Жук, словно кованный или отлитый из золота! Помню, как я схватил его, зажал в кулак, его колючую ворочающую твердость. Наверное, с такой жадностью я никогда бы не схватил подлинное золото, какой-нибудь там самородок. Жук отчаянно колот мне ладонь своими лапами, и когда я раскрыл ее, он стремительно улетел, озадачив такой быстротой. Но что жук, — их на цветах было много — а на широкой гранитной плите я вдруг увидел зеленую, удивительно стройности ящерку. Она грелась, дышала горлышком и боками, смотрела на меня и временами коротко-стремительно перемещалась почти неувидимым движением хвостатого тела. И когда я с неуклюжестью ребенка шагнул к ней, ее сдуло точно ветром, мелькнул хвост — она исчезла под камнем.

Почти тотчас послышался вопль тетки. Крики: «Змея! Змея!» Я помчался туда в ожидании, предвкушении нового события и существа еще не виданного. Однако тетка

лишь божилась, что вот телько что едва не наступила на «громадную! Вот такую! Ах,—какой ужас! Я вся дрожу...» Ее манерные брови-ниточки казались воздетыми выше лба, а навывкате глаза излучали томную тревогу только что миновавшей ужасной опасности. А опасности. Тетя моя старалась говорить на «а», как говорят москвички. Ей казалось, что это очень культурно. Тетка моя умела хорошо делать бумажные цветы, незабудки из фетра (она носила их на шляпе). Шляпки у ней были всегда самодельные и изобретательные. А сейчас она была, как полагалось в те времена летом, в чесучовой белой панамке.

Все приостановились. Дядя, взяв какую-то палку, обследовал валун, на котором змея была (или почудилась мнительной тете). Отец мой, насуровив морщины, готов был тут же затоптать откуда-нибудь появившуюся змею. Тетя, отбежав, все еще стояла, держа руки ладонями перед собой, как бы обороняясь или готовясь обороняться от привидения-невидимки. И на всю эту полунемую сцену с улыбкой спокойного всезнания смотрела мать, к которой я прислонился, как к самой надежной защите. Я не испугался, просто смотрел.

Дядя с палкой, вначале даже расстегнувший свою грозную коричневую кобуру,— вдруг понадобился наган! — в конце концов махнул рукой, бросил палку и, оборачиваясь к нам, как к зрителям, развел руками: Туненетти! (что означало — никого он не увидел). Он застегнул кобуру и начал слезать с валуна. Но тетка, стоя все еще в этой же позе перепуганного зайца с руками у груди, крикнула: «Нет-нет! Вася! Она там!» — при этом тетя Зоя, не отнимая рук, подрыгала кончиками пальцев в сторону еще какой-то щели сбоку от валуна. И послушный дядя, снова взяв палку и на этот раз уже не собираясь тревожить свой наган, сунул палку в щель под плиту и, шуруя ею взад-вперед, начал приговаривать: «А, ту-не-нет-тии, а ту-не-нет-ти!» — наконец, бросив это занятие вместе с палкой, снова развел руки: «Никого там, Зоя. Никого нет. Туненетти!» И все решили, что пора прекратить сбор, спуститься к реке, попить чаю, заваренного этим шиповником, и ехать домой.

Надо ли писать, что был костер на берегу под горкой. Пахучий дым, золотые угольки, летящий пепел в глаза. И чай, который, вопреки ожиданиям, оказался совсем невкусный, пахнувший вовсе не розой и не шиповником, а чем-то приторным, вроде помады и кольд-крема, каким мажут подвальные женщины. Рядом со мной сидела тетка. А дядя пил чай. Кричал «Туненетти!» Хватал за бока то тетку, то мать, вытирал лысину платком. Вдвоем с отцом они выпили бутылку черного вина «Кагор». И были наверху блаженства. На обратном пути лихач-дядя так гнал «газик», что мать, женщина неробкая, белела лицом. Тетка кричала: «Василий!! Не дури!»

— Туненетти! — отвечал дядя, не сбавляя скорость (никакой инспекции, никакого ГАИ тогда не было, да он ведь и сам был милиция, «гепеу», «энкведе» и, следовательно, никого не боялся).

Отец мой, сидя рядом с дядей Васей, все говорил, что вот лето началось, шиповник цветет дружно, по всем приметам должна быть хорошая рыбалка. Раз «шиповник цветет — значит, окунь клюет». До сих пор не могу я соединить в одно два этих разных явления. Шиповник и окунь. Разве что оба — колючие. Отец был большим знатоком и ценителем всяких примет, пытался наставлять и дядю. Совершенно впустую, потому что дядя Вася ни рыбаком, ни охотником никогда не был. Я знал, что завтра дядя Вася уже будет на работе в огромном угловом здании с решетками на нижних окнах и суровыми красноармейцами в шлемах, с винтовками, прогуливающимися вдоль этих окон по тротуару. Дядя Вася никогда и ничего не говорил об этой своей работе. Лишь тетя иногда жаловалась матери: «Василий даже ночевать неделями не приходит».

Кругом тогда были «враги народа». Вот почему, глядя на дядю сбоку, я видел в каком-то совсем неожиданном ракурсе его светло-голубые глаза, они казались мне с этой стороны совершенно холодными и стеклянными.

А на все отцовы рассуждения дядя сквозь зубы, невнятно-растерянно цедил:

— Туненетти...

«Газик» бежал уже по улицам города.

Тот шиповник и по сей день цветет в моей душе. Жив в ней жук, колюче ворочавшийся в кулаке. Бабочки. Лето. Ящерка. Гора... А самой горки давно нет. Проезжая как-то мимо тех мест пыльным, забитым ревущим потоком машин трактором, я ничего не мог узнать. В огромной выемке-чаше, как в лунном кратере, скрипели и лязгали экскаваторы, стояли и ехали груженные камнем самосвалы. Жилой район стенами высился на ближнем берегу, на дальнем парил небо трубами цементный и бетонный завод. Ни кустика не было вблизи, ни деревца, лишь камни, разбросанные у дороги, вросшие в промазученный пыльно-серый бурьян.

И почему мне вспомнился тот цветущий день и мой веселый дядя, которого давным-давно нет, и это его неунывающее: «Туненетти!»?

## Папилио Антимахус

Барон сэр Вальтер Ротшильд, несомненно, был самым крупным профессиональным коллекционером бабочек, и вряд ли в мире хоть кто-нибудь мог соперничать с ним по масштабам коллекционирования. Лорд отправлялся в экспедиции сам, снаряжал коллекционеров, покупал бабочек у натуралистов и сборщиков. Он платил щедро, хотя в его положении — отпрыска знаменитой банкирской династии, владевшей колоссальными состояниями плюс рудники золота и алмазов в Южной Африке, это было вряд ли особенно сложно. Но разве мы не знаем богачей, которые не желали тратить даже пени на какие-то сомнительные дела, вроде ловли бабочек или собирания жуков? Наверное, даже Рокфеллер, собиравший жуков во всем мире, испытывал моменты снисходительных усмешек со стороны собратьев по бизнесу. Но человечество, наверное, с времен творения неровно делилось на трезвых прагматиков и непринимаемых им чудачков, к которым оно всегда относилось фанатиков-коллекционеров.

Одним из таких был барон Ротшильд. Он часто бывал в гостях у моего друга Рассела, и в этот вечер мы принимали его вместе.

Лорд Ротшильд был высокий рыжеватый и худощавый мужчина с несколько резким и, я бы добавил, надменным профилем. У него были холодные голубоватые глаза оценщика-аукциониста и типичный облик делового банкира, в то время как мы прекрасно знали, что этот человек страстный любитель бабочек, и не просто любитель — знаток высшей категории, ученый, готовый ради поимки нового вида оставить все дела и ехать за бабочками хоть на край света.

— Господа,— сказал он, когда вечером после очередного похода за этими несносными окаменелостями мы сидели за столом и угощались элем, произведением великолепной кухни Альфреда.— Мы, наверное, последние из тех чудачков, кому доводилось рисковать всем и в первую очередь головой из-за каких-то насекомых, из-за бабочек (это слово он произнес выразительно и раздельно).— Когда я вспоминаю, какие расстояния пришлось преодолеть, какие мучения испытать, прежде чем в систематике появлялось очередное пойманное, изученное и описанное крылатое сокровище, мне становится просто страшно. Ехать на Амазонку, в джунгли Индии, в Конго, на Малайские острова — все это экзотично звучит, пока не хлебнул этой экзотики по уши, но все-таки если бы мне предложили спокойную жизнь богатого бездельника или занятия своими развлечениями рантье, я бы никогда на это не согласился. Хочу признаться, что самые счастливые мои часы были связаны с лесами Западной Африки, где я провел несколько экспедиций и открыл новые виды.

— Может быть, сэр, вы расскажете нам о них? — спросил Рассел с той степенью учтивости, какая выражалась им к людям, которых он чтит глубоко и неподдельно.

— Господа, чем могу удивить я вас? — усмехнулся

Ротшильд. — Вы пробывали в тропиках десятилетия, вы испытали столько трудностей и приключений, испытаний судьбы, в то время как я путешествовал с определенным комфортом, а открытий сделал гораздо меньше, чем вы?

— Наверное, вы преувеличиваете наши заслуги, сэр, — усмехнулся Рассел.

Лорд Ротшильд на секунду задумался.

— Я в самом деле заинтересую вас своим рассказом, господа?

Мы согласно кивнули, потому что послушать барона было в самом деле интересно, к тому же повествовать сами о чем-то мы оба вряд ли могли, — так устали сегодня после целого дня утомительных блужданий по карьерам. Так уж получается, что окаменелости иногда находишь буквально кучами, а иногда можно долбить сланцы хоть целыми днями — ничего путного не попадается, работаешь, как рудокоп, пальцы натружены, плечи ноют, лицо иссечено осколками камня, и ничего нет. Однажды я даже повредил себе глаз, когда ударом молотка по известняку наткнулся на обсидиановую прослойку.

— Может быть, рассказать вам, господа, как я добывал в Западной Африке Папилио Антимахус и Папилио Залмоксис?

— Пожалуйста, барон. Нам с Генри так хочется побывать вместе с вами в Африке. Ведь мы столько мечтали об экспедиции туда, но что поделаешь, уже поздно. Годы! — он лукаво поглядел на меня и барона из-под очков. «Годы». Я знал, что Рассел умеет притворяться. Он сохранил могучее здоровье, не чета мне, и оставалось только ему завидовать.

— Может быть, это случайность, господа, — продолжал барон Ротшильд, — но так уж получилось, что господин Бейтс исследовал Амазонку, вы, господин Рассел, Малайский архипелаг, а я — Индию и Африку. Не правда ли, удивительно? Встроим мы охватили наиболее интересные регионы, где встречаются самые редкие и удивительные представители чешуекрылых. Вы знаете, господа, что фауна дневных бабочек Африки странным образом значительно уступает фауне Южной Америки, а тем более юго-восточной Азии и Новой Гвинеи. Свойство ли это гигантского сухого материка (на мой взгляд, вся Африка со временем обратится в сплошную Сахару. Это ужасно, однако факты налицо!), или мы имеем дело с неопознанными обстоятельствами, но ведь и дождевые тропические леса этого континента значительно уступают Амазонии и Зондским островам. Может быть, именно потому крупнейших дневных бабочек Африки можно пересчитать по пальцам, и все они принадлежат к семейству парусников<sup>6</sup>. Это Папилио Лейкотения из Уганды, Папилио Хорнимана из Кении, Папилио мнестреус и Папилио гесперус из Камеруна. Вот, пожалуй, и все крупнейшие парусники из восьмидесяти с лишним видов, какие мы знаем оттуда, не считая, разумеется, резко отличного от всех огромного и голубого Папилио залмоксис<sup>7</sup>. Он напоминает мне американских морфо. И уж, конечно, гиганта среди парусников и вообще всех дневных бабочек мира Папилио антимахуса<sup>8</sup>, несравненного и не похожего на других африканских папилионид. Ведь, согласитесь, господа, у бабочки этой нет хвостиков, формой тела она напоминает чудовищную американскую геликониду (к счастью, не пахучую, ведь от геликонид их клопинная вонь слышна до десятка метров, представляете, если бы так благоухал антимахус, его невозможно было бы иметь в коллекции. Впрочем, запахи бабочек — темное дело, еще никем не распутанное. Ведь есть, и вы знаете, бабочки необычайно приятно благоухающие, как, например, бабочки бутаниитис! Вернусь, однако, к антимахусу. Может быть, вам известно, что я первый нашел, если не открыл его самку, ибо она была неизвестна в коллекциях.

<sup>6</sup> Papilionidae (Папилио).

<sup>7</sup> Папилио залмоксис — в настоящее время выделен систематиками в особый род итерус и носит название Итерус Залмоксис. *Iterus salmoxis* Hew.

<sup>8</sup> Папилио антимахус — теперь выделен также в самостоятельный род Друрия и называется Друрия Антимахус. *Druyeia antimachus* Drg.

Еще в первой экспедиции в Африку мне доставил ее один из туземцев, и с тех пор самку антимахуса никто не мог найти. Скажу, что и антимахус-самец далеко не такая простая находка, а тем более — поймка. Он держится в таких высоких труднодоступных лесах, что обнаружить его часто не удается, и если видишь где-то в разреженных местах, на опушках, он и тут летает вдоль и возле вершин, присаживается там да иногда, как птица, мелькает высоко над лесной дорогой. И это все. Поймать его внизу, да еще на лету — абсурд. Он летает стремительнее любого бражника, но гораздо красивее, ибо бражники порхают, а он реет и планирует, будто ласточка. Один раз во время дождевого периода в Конго я видел антимахуса совершенно потрясающей величины — не менее фута<sup>9</sup>, и поднялся он (честное слово, господа, я вздрогнул, как если бы вылетел бекас!) из травяной заросли, хорошо помню, что там торчали из травы бородавчатые листья гастерий с длинными колокольчатыми цветоносами. Антимахус вылетел, как птица, а я успел лишь открыть рот от изумления. Повадки этой бабочки сбивают меня с толку. Не правда ли, что окраской он отчасти похож на наших английских перламутровок или шашечниц? Но это, конечно, ни в какое сравнение по величине. Шашечница, увеличенная в десять раз! А вообще, господа, вы не думали, что антимахус, да и залмоксис, родственники зондских орнитоптер? Или, может быть, их древние прародители?

— Такая мысль, барон, приходила мне, — сказал Рассел, — но только по поводу голубого Папилио Залмоксис. Телом он очень похож на орнитоптер, окраской несколько напоминает замечательного Улисса<sup>10</sup> из Северной Австралии, а также напоминает и американских морфо. Впрочем, по моему, морфо напоминают и желтые африканские Папилио Нобилис? Вы этого не находите? А ты, Генри?

Я сказал, что разделяю мнение барона о том, что Папилио Антимахус действительно исключительная и совсем не похожая на других африканских парусников бабочка. Громадная величина, крылья, особенно верхние, узкие и округло вытянутые, ржаво-рыжая окраска, в то время как большинство папилионид Африки окрашены в черные с белым, черные с голубым, коричневые с белым или белокрапчатые тона. А форма, действительно, как у амазонских геликонид. А что, если этот парусник с его могучими крыльями перемахнул Атлантику и здесь, в условиях Западной Африки, изменился в сторону еще большего увеличения?

— Или обратный вариант, перелетел из Африки в Амазонию и дал начало бесчисленным амазонским геликонидам? — засмеялся Ротшильд.

— А я все-таки думаю, господа, что антимахус остаток древних фаун, более богатых, — сказал Ротшильд. — Ах, господа, почему так коротка даже самая долгая жизнь, если она — какой-то миг в сравнении с геологическими периодами. Что там жизнь, история — тоже миг. Я с трепетом представляю, какие великие леса одевали Землю до оледенения, какие виды животных, растений были! А бабочки?

— Но многие считают, что бабочки как раз новейшая в эволюционном отношении ветвь насекомых. Может быть, это «люди» из мира энтомологии, — возразил Ротшильд.

— Я бы охотно согласился с Вами, господин барон, если бы не считал, что «люди» в этом мире насекомых скорее всего термиты, пчелы, муравьи. А бабочки и жуки — эквивалент зверей и птиц, — не принял довод Рассел.

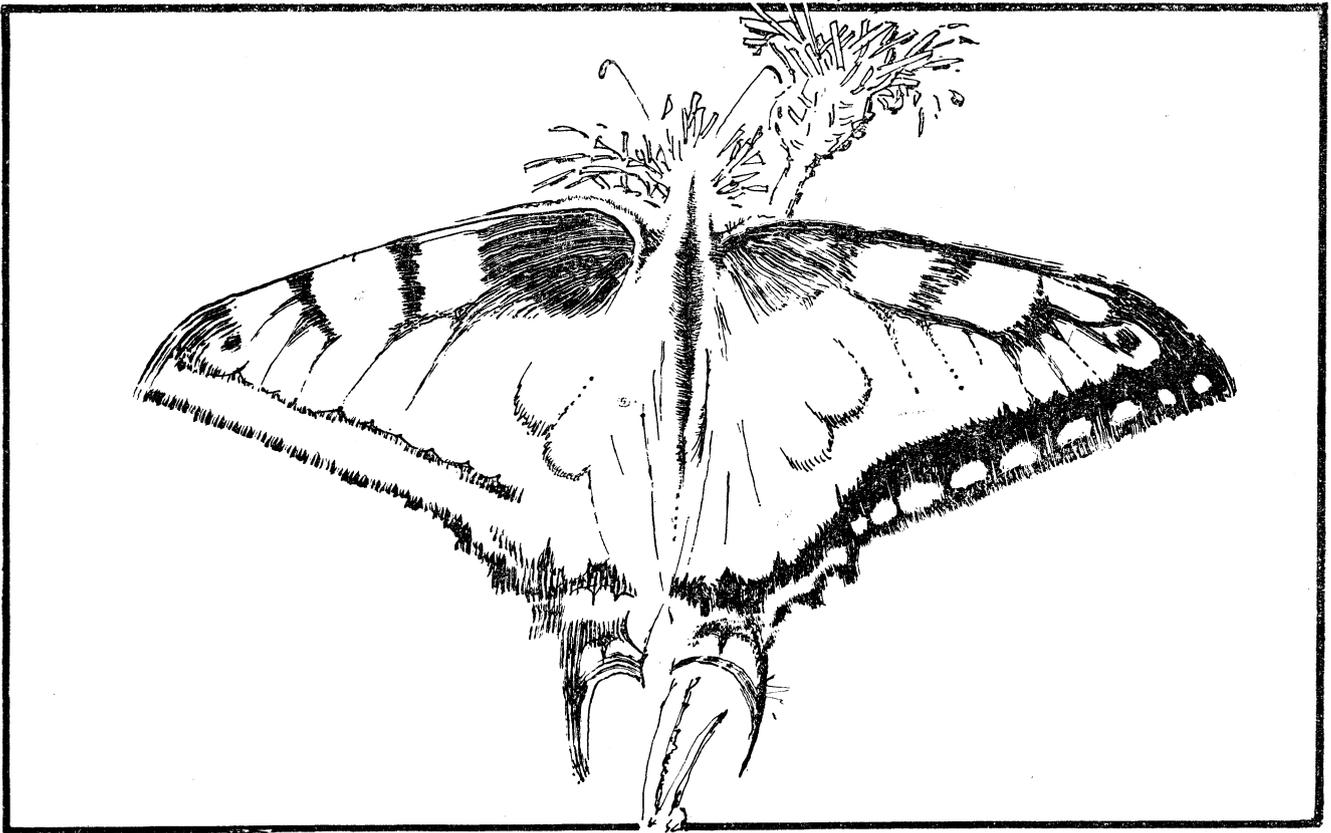
— Возможно, возможно, господин Рассел, тем более, что бабочки напоминают мне еще более прекрасный мир женщин, — усмехнулся Ротшильд.

— Вот здесь я соглашусь с бароном! — воскликнул я.

— Да. Да, конечно. Ты, Генри, просто старый гревоводник. — сказал Рассел. — И к тому же на своей Амазонке слишком много насмотрелся на индейских «ню». Сре-

<sup>9</sup> Около тридцати сантиметров.

<sup>10</sup> Папилио Улисс — один из красивейших видов парусников Океании и Австралии, ярко-синего цвета с черной каймой.



ди них, особенно девочек, встречаются прехорошенькие. Иные — чудо сексуальности.

— Наверное, господа, мы выпили слишком много этого превосходного эля,— все так же улыбаясь, продолжал барон,— раз нас потянуло на сравнения с прекрасным полом. Но, если позволите, я продолжу об антимакхусе и самке этого великана среди бабочек. Антимакхус, после его открытия португальцами в единственном экземпляре, лет семьдесят не попадал к европейским коллекционерам. Он исчез, но затем был заново открыт и даже с несколькими подвидами. Бабочка изменчива по окраске, тону, точно так же, как перламутровки или шашечницы, ведь они бывают окрашены от желтой охры до густо-серой! Может быть, это связано с сезонным диморфизмом? Не утверждаю, но знаю точно, что в засушливый период самцы антимакхусов мельче, тогда как в дождевой несравненно крупнее. И это как будто свойство всех парусников. Того громадного антимакхуса я спугнул в конце периода дождей... Ах, господа! — воскликнул Ротшильд.— Да ведь я только сейчас догадался в чем дело! Парусник спускался в траву — пить! Там же росли гастерии, а у них в пазухах листьев была вода! Ах я болван! Тогда я ломал голову, зачем такая бабочка сидела в бурьяне? Как все просто и гениально! Антимакхус лучше нас с вами знал, где найти воду. Для всех африканских животных, кажется, это проблема. Но когда же я доберусь до рассказа о самках антимакхуса! Так вот, если самца раздобыть сложно, однако все-таки надежда есть, когда он опускается в полдень к берегам ручья, и к тому же бабочка, видимо, не любит сильный зной, его можно подстеречь и накрыть. Но самки в этих местах не встречаются — одни самцы. Самка антимакхуса много мельче самца, почти вполвину,— опять загадка — ведь у парусников обычно все наоборот: самцы мельче, самки крупнее и часто иначе окрашены. Самка антимакхуса точно копирует рисунок крыльев самца, лишь несколько тусклее — это я знал по единственному ее экземпляру. Она тоже, и

еще более, напоминает невзрачную американскую геликониду. Словом, я всюду искал эту из редкостей редкость — и ничего не находил. Впрочем, кому я это докажываю? Вы, господа, не хуже меня знаете, что значит ловля редких булавоусых. Даже у нас, в Англии. Годы и годы проходят впустую, хотя, бывало, я обнаруживал редкость в самом неподходящем месте, где-нибудь на окне вокзала, возле грязной лужи, у водопоя коров, в дилижансе или в спальне.

— Вы абсолютно правы, барон,— заметил Рассел.— В последний момент нашего отъезда с Новой Гвинеи на остров Серам мы грузились на голландский парусник, и великолепнейшая орнитофтера Александра, вся сияющая зеленым шелком и переливающаяся, как фея, села на корзину с фруктами, а у меня не было не только рампетки, но даже шляпы, чтоб попытаться ее накрыть. Подразнив меня, остолбенело стоявшего, своими нарядами, она вспорхнула, сделала плавный круг и улетела на берег в лес так же неторопливо и величаво, как подобает принцессе. Вам никогда не приходило в голову, господа, что у собирателя насекомых сачок должен быть всегда при себе и наготове, даже если идешь в паб<sup>11</sup> или на свидание?

Я хмыкнул, потому что Ротшильд высказал мою сокровенную мысль, о которой я всегда помалкивал, чтоб не считаться круглым идиотом.

— Да, господин Рассел,— продолжал барон,— сколько раз я ловил себя на этом досадном промахе! Редкость — вот она! Перед тобой, а ты безоружен! В таких случаях у меня никогда не было сачка. Впоследствии я заказал складную рампетку, которую годами таскал с собой, но — вот диво! Ни разу не воспользовался ею. Редкости хранит или Бог, или Дьявол. Но доскажу о самках антимакхуса... Я все-таки добыл их четыре штуки... Я искал самок антимакхуса в тех же местах, где ловил

<sup>11</sup> Английская пивная.

самцов и где встречал их летающими. Я уже сказал, что ловил антахусов у ручьев, у рек. Для этого надо было вставать затемно. Светает в Африке удивительно быстро. И вот, пока я шел со слугами на свою охоту, рассвет настигал нас. Мы двигались вдоль речных зарослей, очень внимательно вглядываясь в стволы и ветви. Антахусы летают только тогда, когда отойдет роса, и предпочитают в ясную погоду. Влага отяжеляет их огромные крылья. В пасмурную погоду они сидят неподвижно, крылья держат сложенными, и заметить их почти невозможно. Как только появляется солнце, антахус расширяет их, он как бы сушит крылья, вбирая солнечное тепло. Эту особенность я заметил впервые, когда обнаружил антахуса, сидящего на голом стволе винной пальмы. Он торчал, как странный сучок, и потому привлек мое внимание. Откуда на гладком, а точнее, рогово-кольчатом стволе (у этой пальмы ствол словно состоит из костяных колец), мог взяться сучок? Я понял, что передо мной гигантская бабочка. Может быть, он еще напоминал темный косяк парус. А когда всходит солнце, бабочки еще виднее, ибо полураскрытые крылья с рыжими и коричневыми разводами бросаются в глаза. Тут дай бог не промахнуться! Улетает этот бесхвостиковый фрачник, как молния. В сетке бьется, как зверь. Антахус очень силен. Это удивительно могучая бабочка. Но вот так добывая самца за самцом, я уже склонен был думать, что бабочки эти размножаются каким-то таинственным способом или они гермафродиты? Во всяком случае в Конго я самок антахуса не обнаружил, но зато собрал великолепную коллекцию африканских парусников. Из 80 африканских папилио в Конго представлено свыше половины<sup>12</sup>. Правда, и область эта огромна, никаких сил не хватит исследовать ее даже громадными экспедициями: леса, и притом непроходимые, особенно близ Конго, чудовищные болота, где чуть ли не до сих пор водятся динозавры и летающие ящеры, жуткие пространства топей между притоками, куда доступ лишь некоторым видам болотных антилоп, бегемотам, голенастым птицам и хищникам, и помимо всего этого в восточной части Конго великолепные саванны, горы, вулканы. Невероятное изобилие копытных, зебры, носороги, слоны. Господи, это земля обетованная для всех охотников! Но больше всего здесь поживы для энтомолога. Я поймал здесь много экземпляров великолепного желтого Папилио Нобилис, самка которого и крупнее, и прекраснее самца, и Папилио Фюллеборни с двумя желтыми молниями на крыльях, и черных с белыми перевязями Папилио Джексона, Папилио Зенобия, Папилио Хорнимана, Папилио Лейкотения — третью по величине дневную бабочку Африки. Мои экскурсии были исключительно удачны, я пережил глубокое наслаждение от всех этих находок, но самок антахуса не нашел. Случай помог мне. В конце дождевого сезона я перебрался из леса в саванну. Кстати, в Африке дождевой период вовсе не сплошные ливни. Дождь идет через два-три дня. В остальное время стоит дикая влажная жара, и все живое, кроме человека, радуется ей, поет, стрекочет, размножается. Лягушки и жабы благоденствуют, рыбы в реке, по-моему, тоже. Плеск, шум, кваканье, какие-то невнятные бормотанья и стоны. Иногда над поверхностью высыпает целая стая сверкающих голубых или серебряных рыбешек и за ней выпрыгивает этакое страшилище — рыба, метра в два, с оскаленной пастью! Я уехал из дождевого леса в саванну, но это была не настоящая саванна, та, что с баобабам, зонтичными акациями и слоистой травой, а как бы изрезанный лес, перемеженный пустошами, острова леса среди равнины, где паслись стада жвачных и негритянский большерогий скот. Здесь была пропасть термитников, подчас огромных, как одинокие скалы, и крепких, как обожженная глина. Они торчали всюду, как замки гномов, а в их прочной поверхности были пещерки, где жили забавные земляные совы. Иногда

<sup>12</sup> По последним данным, в Африке (Эфиопская область к югу от Сахары) встречается 86 видов парусников, из них 69 — в Центральной Африке.

да эти совы атаковывали меня, когда я подходил слишком близко. Термитники я находил и разрушенные, развороченные, как ломом. Работа слонов?

— Это, несомненно, трубокозубы<sup>13</sup>, — заметил Рассел.

— Или, скорее, работа панголинов<sup>14</sup>. Они бродят по ночам и своими огромными когтями могут разрыть любой термитник.

— А я думал, что это носороги, — сказал Ротшильд. — Но как бы там ни было, господа, носорогов в этой области водилось много. Я видел их издали, потому что близко они не подпускают, носорог удивительно чуткая животино. Подобраться к нему просто невозможно. Он великолепно чувствует, еще лучше слышит и к тому же по хребту у него всегда бегают волоклоки, подобие скворцов, и тотчас предупреждают эту махину об опасности. Носорог, по-моему, и видит неплохо. Мы просто считаем его глаза маленькими по сравнению с его гигантской тушей. В чем угодно он престранная животино, например, ходит опрavlяться в одно и то же место. И не скоро его меняет. В саванне стоят конусы сухого помета, который, кстати, кишит навозниками, афодиями, хрущами и даже рогачами. Именно жуки привлекали мое внимание к этим кладовым органики. Ибо здесь были крупные и даже очень красивые и редкие экземпляры. Жесткокрылых в саванне, на мой взгляд, больше, чем в лесу, и легче искать. Я находил тут таких великолепных скарабеев, копров, златок, что моим сборам позавидовал бы самый взыскательный коллекционер. Но самое поразительное — на одном из таких конусов, довольно свежих, — я обнаружил сидящих бабочек и среди них драгоценного антахуса-самку. Она была непотертая, свежая, будто только что вышедшая из куколки! Вы можете представить, господа, с каким трепетом я начал к ней подкрадываться! Я был уже близко, но осторожная бабочка вспорхнула и улетела. Господи! Я думал, что лишь чувств. Но, памятуя, что многие бабочки оседло держатся на одном месте, я на другое же утро не преминул вернуться сюда. И на этой носорожьей куче я поймал сначала одну, а затем и вторую самку Папилио Антахус! — барон обвел нас улыбочиво-торжествующим взглядом. Вся спесь словно слетела с него, а выступил натуралист, такой же, как мы, готовый переносить любые опасности, лишь бы найти желанное.

— Но как же эти бабочки спариваются, если вы, сэр, встречали их только раздельно, — спросил Рассел.

— Это загадка, — ответил Ротшильд. — Возможно, у них есть какие-то сезоны размножения. Перелеты. Иначе зачем у самца такие длинные могучие крылья? Возможно, самки в определенный период выделяют пахучие вещества, которые самцы воспринимают за сотни и даже тысячи миль! Это невероятно, однако каких чудес нет в природе. В общем, загадка остается. А то, что я ловил бабочек на носорожьей помете, скорее правило, чем исключение. Я замечал, что даже самые прекрасные парусники... Да вот, например, чтоб синий громадный Залмоксис, Папилио Залмоксис, вторая по величине дневная бабочка Африки, не раз попадался мне на навозе, оставленном самыми разными обитателями джунглей. Но Папилио Залмоксис не редкость, и поймать его гораздо проще, чем антахуса.

— Да. Все-таки это чудесные бабочки, — восхищенно проговорил Рассел. — Диво Африки.

— Бабочки чудесные, — подтвердил барон. — И музей Конго в Тервиорене буквально выпросил у меня экземпляр самки антахуса и двух самцов. Я вынужден был уступить — все-таки бельгийский музей не частное собрание. Бабочек этих должны видеть все любители природы.

<sup>13</sup> Трубокозубы — довольно крупные млекопитающие своеобразного вида до полутора метров длиной. Питаются муравьями и термитами.

<sup>14</sup> Панголины, или ящеры, млекопитающие, покрытые роговыми чешуями. Питаются исключительно муравьями и термитами.

## ВОСПОМИНАНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДПОСЛЕДНИМ, НО ПО СВЯЗИ С ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВОЙ ПЕРЕДВИНУЛОСЬ НА ЭТО МЕСТО

### Музей Конго

Я был в этом музее — теперь он носит название: «Музей Африки». В 1978 году осенью мы с женой путешествовали по Бенилюксу<sup>15</sup>. И после поездки в музей Ватерлоо оказались на пути в Брюссель. Тервюрен же едва ли не предместье Брюсселя, но по бельгийским расстояниям считается самостоятельным городом. Музей Африки, может быть, не единственная достопримечательность, какой славен зеленый парковый уютно-тихий городок. Здесь обитель состоятельных чиновников, богатых рантье и тех счастливых буржуа, что живут на покое с молодыми, сытыми и свежими экономками и служанками. Здесь, кажется, сама природа настроилась на размеренную беспечность. Многовековые дубы, платаны, каштаны не ведают здесь счета времени. Мелкие ручьи и речки текут под их хранящей сенью. В речках водится пятнистая форель. Ее удят рыболовы в спортивных кепках с длинным козырьком, сидящие к тому же на удобном пластиковом складном стуле, с телескопическим удильцем из дакрона и неспешно выбирающие изощренные приманки — блёсны из словно бы коллекций сокровищ, серебром и золотом отсвечивающих из пластиковых наборов. И может быть, во всей маленькой Бельгии не найдется еще столь спокойного ухоженного угла, разве что в лесистых Арденнах — «Бельгийской Сибири», где сейчас начали строить целые районы исключительно красивых разнообразных вилл.

Тервюрен встретил нас спокойным предосенним солнцем, матово отраженным листвою вековых лип и лосным глянец резной дубовой зелени, где всегда как бы чуждыся, присутствуют и лавры римских цезарей и античных поэтов. Ухоженное шоссе обступали зеленые стены парка, на словно бы специально выбранной для этого поляне, с левой стороны от шоссе и оказался длинный «Музей Африки», напротив его, у входа в парк, высился колоссальный бетонный слон, на спине которого как-то ненужно и мелко сидели фигурки негров с копыями. Монумент показался мне памятником даже не нынешней, а какой-то еще третичной Африке, когда эти и другие гиганты, ничего не ведая о грядущем, спокойно паслись стадами в лесах и саваннах, лишь презрительно помахивая хоботом в сторону, казалось, ничем не опасных юрких существ рода Хомо, еще не посягавших на эту могучую, безбрежно-полную, счастливо текущую под солнцем жизнь.

Сам «Музей Африки» вещал нам о многом. Он ведь был именно музеем. Именно АФРИКИ. Той! Уже исчезающей, исчезнувшей и ИСЧЕЗШЕЙ. Господи? Исчезнувшей? Мысль медноклювой горлицей долбила меня в голову, пока мы вошли в прохладные недра музея и миновали пусто-сумрачный вестибюль, где сидела на полу, поджав ноги по-турецки, совсем как живая, девушка-манекен с отрешенно сияющими лазурными глазами. Если б на ее месте сидела действительно ЖИВАЯ девушка, она вряд ли бы так выразила суть музейной идеи.

Всякий музей — памятник. Но этот был памятником не столько эпохи, сколько памятник материку, его дикой жизни, его прекрасному невозобновимому прошлому. Африка была а глядела из его витрин и панорам, глядела богато, восхитая и как бы обогащая и вас своим призрачным исчезающим богатством. О, все эти антилопы: большие и малые куду с витыми рогами, ориксы с рогами-стрелами, конгоны, импалы, газели, где стройность была доведена до совершенства, и гну, похожие на потомков минотавра, гигантские канны, во взгляде которых, пусть даже стеклянном, мне чудилось величие женщин-матрон... О, разлинованные в немислимую полосу зебры, идеали-

сты-жирафы, глядящие на мир со своей тонкошейной высоты глазами в ресницах ночных женщин. О, носороги, чья будто бы каменная скульптурность лишь подчеркивала их прошлое. Все они стояли и смотрели, как живые... Мастерство таксидермистов (чучельщиков) было безупречным. Восхищало — и удручало. Не знаю кто как, но я не восприимлю чучела. Я охотнее смотрю даже на рисунки, на фотографии животных — здесь для меня они более живые, чем общение с бывшими животными, отягченное мыслью, что их уже нет и, самое страшное (не дай-то Бог, а молиться-то надо бы, возможно, человеку?), может не быть совсем. Когда в музее смотришь на череп допотопного носорога, скелет МАМОНТА или даже ДИНОЗАВРА, такого тягостного ощущения нет. Здесь знаешь, что гиганты выжили свой срок, биологически исчерпав родовой предел жизни, они ушли естественно, передав жизнь другим формам. Здесь же ходишь свидетелем стремительной гибели фауны целого материка, фауны древнейшей, разностно изобильной и прекрасной — сколько одних лишь видов копытных! Ходишь, понимая, что повинен в этом только человек — ХОМО НЕРАЗУМНЫЙ, погубивший в своем жадном стремлении к овладению миром едва ли уже не всю планету.

Отягощенный этими раздумьями, и посылая проклятия своему донельзя капризному фотоаппарату «Зенит-снайпер», вдруг отказавшемуся снимать витрины и стенды, я прошел (прошли мы, так как я был с супругой) в залы, где фауна африканских четверногих гигантов уже менялась, разбиваясь на более мелкие ручейки, какие мудрая наука биология наделила другими отраслевыми названиями: орнитология (птицы), герпетология (пресмыкающиеся и земноводные), ихтиология (рыбы), энтомология (насекомые). Здесь были собраны и прекрасной — сколько видов от страусов, громадных и словно доисторических, до птиц-секретарей, птиц-носорогов, рогатых воронов, аистов-марабу, орлов и грифов, поугаев, медоуказчиков, волоклювов, ярких ткачиков, райских «вдовушек», амадин и крохотных, сходных с американскими колибри, нектарниц. Были жуткой величины крокодилы, желтозубо ухмыляющиеся даже и тут, были змеи с глазами Клеопатр, человеконенавистниц и свирепых немезид. Были рыбы, своей клыкастостью и красотой доказывающие, что и подводный мир природы так же хищен и прекрасен, и были бабочки, бабочки, бабочки в застекленных ящиках по стенам. Бабочки и жуки. Они были самыми яркими клетками в экспозиции музея. И тут мой «Снайпер» вдруг прекратил забастовку, включился и, видимо, потрясенный цветной мозаикой, начал исправно снимать коробку за коробкой, все подряд, особенно благоговей перед бабочками семейства Папилио. Они же кавалеры, парусники, фрэнчики и ласточкохвосты. Я с наслаждением, иначе и не скажешь, заснял на цветную пленку «Орво» всех этих африканских фрэнчиков и графиумов. Среди прочих многочисленных бабочек, довольно пестрых и крупных, они все равно гляделись рыцарями и кавалерами ордена «Золотого руна». Их цветные перевязи, голубые, красные и белые ленты наводили на такую мысль. Крупнее всех, конечно, был развернутый в размахе крыльев на четверть метра (где это еще бабочки измеряются в метрах!) рыжий Папилио Антимахус, дополненный менее прозрачной, однако по-своему и по-женски, быть может, более нежной самкой. Разглядывая диковинных бабочек, было горько сознавать, что теперь антимахус исчез из многих африканских стран. Он сделался редкостью и там, где был более-менее обыкновенным.

Дома я тщательно проявил пленку и обнаружил — бабочки получились! Пусть не столь ярко, как могли бы стать, снятые профессионалом. Да и снимал ведь без вспышки. Пользоваться ею в музее запрещено. Но все-таки несмотря на несколько блеклую красоту, у меня было полное собрание африканских парусников. Вы поняли меня, ценители, любители, коллекционеры? Вы поняли меня, милые, чуткие люди, чуذاки? Среди этого собрания дневных булавоусых Африки, в общем, уступающего по причудливости окрасок, величинам, формам и тому,

<sup>15</sup> Описано мной в книге «Северный Запад».

что не хотелось бы обозначать избитым словом «волшебство», другим бабочкам других континентов и островов, были все-таки создания удивительные. Например, вот этот, второй по величине африканский парусник Папилио Залмоксис. Размах крыльев почти в две ладони! Крылья светятся голубым ледянистым мерцанием, наподобие бразильских морфо. Формой тела же Залмоксис похож на азиатских ориптопер. И, возможно, бабочка эта, очень древняя, вела еще о том времени, когда гигантский материк ПАНГЕЯ еще не делился на ГОНДВАНУ и ЛАВРАЗИЮ и громадные клинья материковых плит Южной Америки, Африки и Индии еще не начали свое кочевье, расходясь по глобусу Земного шара, рождая меж собой пространства нынешних океанов. Что за удивительное было время? До человека? Без человека? Или он незримо присутствовал и готовился к своему появлению еще в разнообразных ликах бесчисленных живых существ? Генетическая память, восходя к родству с ними, говорит мне, что Земля и тогда кипела жизнью. Может быть, бабочки были ее вершинами — ведь миром тогда владели насекомые: стрекозы с крыльями в полтора метра и многоножки длиной с корову! Не остаток ли тех времен этот голубой Папилио Залмоксис, как бы объединяющий бабочек Америки и Азии? А Папилио Антимахус? Теперь я знаю, премудрые систематики выделили обоих парусников в особые роды: Итерус и Друрия. Наверное, ученые правы, бабочки эти не вписываются в закономерность.

Но вот еще в моей фотоколлекции черно-кофейный с белым парусник Папилио Андрогееус, или змеек, как называют его в Африке. Он парит над вершинами высокого леса, как действительно бумажный китайский змей-дракончик, он качается, как некое странное видение. На его темных крыльях белыми пятнами — иероглифами природа запечатлела письмена, похожие на древнейшую арабскую вязь. Возможно, она сказала и больше, но кто прочтет ее письмена? Глядя на странный узор крыльев бабочки, я думал, что письменность изобрели не мы, и мы все еще не знаем точно, какие знаки рассказывают о прошлом, будущем и настоящем. Мы, премудрые, не знаем языков живущих с нами рядом существ, пусть это будут даже обычные всеми травяные тараканы. Мы не знаем ни знакописи, ни звукописи, ни жестописи, позописи (от слова «поза»), ни даже запахописи этих существ. Мы знаем только, что мы ВЫШЕ ИХ. А нам не ведомы ни языки ультразвуков, ни языки инфразвуков, ни языки излучений, какими, возможно, переговариваются эти существа.

Мы до сих пор почти ГЛУБИННО ничего не знаем о природе и так напоминаем дикарей, что найдя на берегу океана, допустим, целехонький цветной телевизор, вытаскиваем из него кнопки, проводочки и лампы, чтобы сделать себе ожерелье.

Что сказала-зашифровала природа на крыльях антимахуса, залмоксиса, адрогееуса, многих других? Или вот еще этого пестрого глазчатого парусника, вся окраска которого и даже «глазки» на крыльях в тон и цвет сухости выгоревшей от зноя саванны, ее трав и чертополохов, мужественно сопротивляющихся африканскому ветру и африканскому зною?

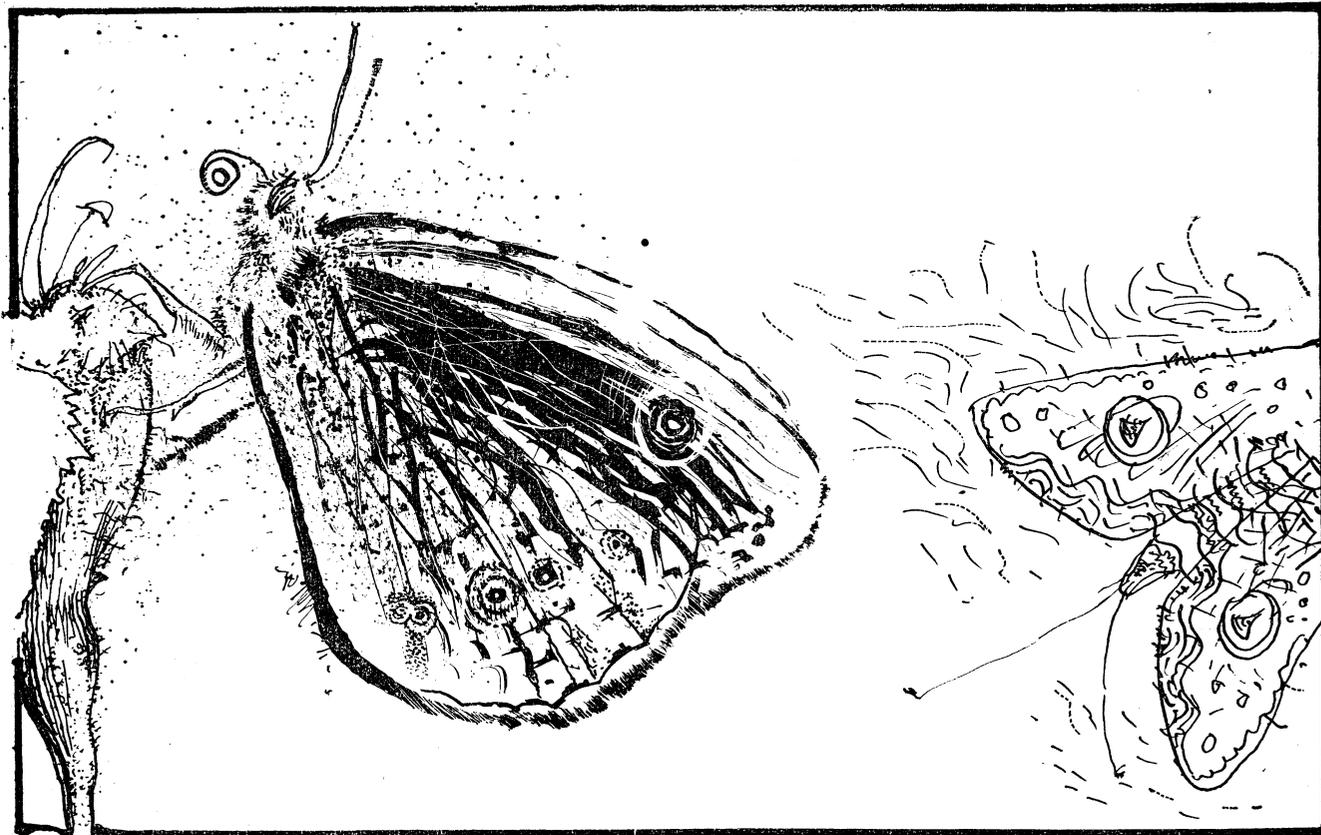
Музей в Тервиорене и теперь наводит на многое. Он и сам-то еще как следует «не открыт». Среди его экспонатов и фондов, изучая их, с изумлением находят неизвестные науке виды. Как нашли, например, по его сборам неизвестную крупную птицу африканского павлина. Музей открыт, но он стал уже и археологией, и историей. Ведь даже Конго, «бельгийского Конго», как знал я его в детстве, давно нет, а есть республика Заир. Нет «колоний», нет захватчиков-завоевателей. И нет цветущей дикой природы. Все это на протяжении одной человеческой жизни. Не столетней. Вот ловлю себя опять на детских воспоминаниях. В Африке еще полно «белых пятен», где-то там в ней живет потерявшийся Ливингстон. И туда с целью найти и спасти Ливингстона одержимо шагает упрямый американец Стенли. Как давно это было! И как близко.

## ВОСПОМИНАНИЕ ТРЕТЬЕ:

### первая коллекция

Я вспомнил еще один из ранних моментов моей жизни, когда бабочки снова появились в ней, может быть, еще не так притягивая и маня, как было это позднее, но достаточно явственно. Тот волшебный, легко и быстро порхающий махаон уже родил у меня острое и жадное стремление к познанию мира. Мир, окружающий меня, еще ничем не огорчил мое детское сознание, и восприятие его рождало лишь новые радости и предвкушения. Тридцатые годы, кажется, не у одного меня были переполнены иллюзиями или даже повальным гипнозом ожидания близкого и абсолютного счастья. Впрочем, что такое — счастье? Не вся ли это наша жизнь в стремлении к познанию и обладанию? Как бы там ни было, мои иллюзии были и слышком велики, и слышком малы одновременно. С одной стороны, меня словно ждал весь огромный непознанный мир, весь земной шар, а помимо него еще и Солнце, и Луна, и Звезды, а значит, Вселенная — слово, которого я тогда еще не слышал, а узнав, все пытался выяснить, кем и когда она населена и насколько вдаль и вглубь (зримый образ теперь — микрорайон ночью), с другой — меня погружал в состояние счастья какой-нибудь особо приятный первый апрельский дождик, сосулька, слезающаяся в теплый полдень, щегленок в желтой клетке, которого подарила мне мама, и мало ли что еще...

Стремление к познанию живого мира я утолял, расширяя свои поиски. Сначала это было крыльцо, за ним двор, казавшийся (в сравнении с крыльцом!) таким огромным, как мореплавателю не кажется, наверное, новый материк. В иные места этого двора я даже опасался забираться. Хорошо помню, что в центре двор был устлан сизым неровным камнем, о который не один раз я спотыкался и расшибал колени. Спотыкались и взрослые о торчащие неровные камни, но почему-то никому не приходило в голову их выровнять или убрать. Ближе к сараю, занимавшему двор с востока, росла оранжевая пупырчатая ромашка без лепестков, такая плотная, что, когда я валялся на ее прохладной упругой поверхности, она почти не мялась и тотчас возвращала себе свой довольный цветущий вид. Во всех остальных частях двор был гладко плотен и по нему хорошо бегалось и славно каталось на синем трехколесном велосипеде. Сарай в конце двора был долгое время заповедным местом. Туда не пускали. Он был огромен, угрюм, стар. Его строили в то доброе время, когда совсем небогатые горожане держали корову, а то и двух, пару лошадей, овец, кур, и потому сарай состоял из каретника, ну, видимо, для пролетки, телеги, называемого теперь исчезнувшим словом «завозня», бревенчатой конюшни и бревенчатого же помещения для коров, над всеми этими строениями возвышался сеновал на несколько возов зимнего сена, от сеновала отходил широкий навес на деревянных столбах, упертых в тесаный гранитный камень (чтобы не сгнили). Под крышей навеса примыкала к сеновалу еще галерея («отлом»), куда вела лестница с точеными перилами. Сарай стоял на фундаменте из дикого камня. Я что-то не помню, чтобы строили так сарай теперь. И, конечно, я начал осваивать это огромное строение вопреки всем наказам бабушки: «Не лазай на сеновал! Не ползай по «отлому». Не ходи в конюшню, домовой там», — осваивал под снисходительное молчание матери и мудрое невмешательство отца, который умел жить как-то особенно для себя — вроде бы и весь в заботах, а в то же время свободный и всем довольный. Довольство жизнью составляло главную черту его характера, и лишь частицу этого качества, наверное, усвоил или унаследовал я. Все сарайные помещения, что были открыты, я обследовал без труда, — забыл сказать еще, что под каретником — «завозней» находился глубокий подвал-погреб, куда вела каменная лестница. Спускаться в погреб запрещалось настрою, именно потому я и побывал там, с великим опасением спустившись по холодным сырым ступеням, заглянул в комнату-подземелье,



когда-то, верно, сухую, выложенную камнем, а к моменту моего боязливого появления уже залитую, полузатопленную почвенной водой, с нависшими с потолка гранитными плитами, иные были уже обрушены, лежали в воде. И только во всегда запертую часть амбара — прежний коровник, а впоследствии кладовку — никак не удавалось попасть. Ключи были у бабушки. Я знал, что в кладовке, по-бабушкиному «амбарушке», хранился разный хлам, вещи, вышедшие из употребления, но такие, что выбросить было жаль, и все ждал возможности побывать там. Наконец бабушке понадобилось что-то вроде керосиновой лампы, и тогда от меня уже не было возможности отвязаться. Дверь открылась. Я увидел темное пыльное помещение самого мрачного вида, все забитое хламом и ветошью, ящиками, бидонами, банками. Там стояла огромная, плетенная в виде сундука бельевая корзина, доверху заполненная старыми журналами и книгами (до нее я еще добрался позднее!). Самовары. Подсвечники. Лубенные скорченные сапоги. Пудовые гири. Безмен. Весы с цинковыми чашками. Деревянная долбленная из целого дерева «сельница», фонарь «летучая мышь» на стене, с каким, наверное, ищут сокровища. И будто охраняя этот мир былых и спящих вещей, жутко возвышалась безголовым туловищем женская «фигура» — манекен на винтовой палке-подставке, на каких портные шьют и меряют дамское платье. Все это впоследствии были картины Сальвадора Дали.

Бабушка уже собиралась закрыть «амбарушку», когда я заметил стопу не то коротких толстых досок, не то книг или коробок и, вскарабкавшись на бельевую корзину, добрался до них. Приподняв верхнюю, я обнаружил — это коробка, притом необычно легкая. Кулаком сдвинул фланелевую пыль. Открылся кусок стекла, под ним желтое узорное крыло бабочки. Коллекция?

— Коллекция!! — закричал я, жадно стирая, размазывая жирный серо-коричневый слой.

Бабочка! Огромная, соломенно-палевая, с черным зубчатым рисунком, с голубовато-красными глазками — пятнами на хвостатых нижних крыльях была передо мной под освобожденной от пыли поверхностью стекла. МА-ХАОН! Я узнал его. Показалось даже — тот самый, что улетел когда-то от моего детского оранжевого сачка. Зачем же он томился здесь? Никому не нужный, забытый? Ведь даже отец никогда не вспоминал о судьбе этой его коллекции? И не удел ли это всех (хочу подчеркнуть — ВСЕХ!) собраний, коллекций, музейных сокровищ — заканчивать жизнь в плесневых подвалах, запасниках, кладовых, закрытых шкафах, когда уже не тешат они душу владельца и собирателей? Собирали все: короли, императоры, князья, художники (Рубенс собирал), купцы, мещане-фанатики. Пещера разбойников, открытая Али-бабой, — тоже была собранием. Но там были — золото, жемчуга, алмазы, серебро, оружие — вещи, долговременные и нетленные. А вот творения природы — оправданно ли собирание их? Надо ли? Сейчас рассуждаю так. Тогда думал иначе. Тогда схватив коробки (две были с бабочками, одна с жуками!), я помчался в дом, едва не приплясывая, весь во власти счастливой находки и в предвкушении полного владения ею. Коллекция бабочек! Моя!

Я опять вспомнил рассказы отца о том далеком дачном лете и купцах Чуваковых, братьях Самойловых, учивших его собирать коллекции и собиравших, как он узнал, еще цветы, камни, жуков. Четыре гимназиста. У них, у каждого, была своя комната в красивом двухэтажном каменном доме с зеркальными венецианскими стеклами, всегда задумчиво отражавшими словно невеселое небо. Отец показывал мне этот дом не один раз. У него была привычка повторять сказанное. Дом «инженера Самойлова» был недалеко от угла Главного проспекта и улицы со странным названием «Саккованцетти» — откуда мне было тогда знать, что это за название? Теперь и тогда уже этот дом, даже, помнится, с фигурными кирпич-

ными полупортиками над окнами, с железными прочными ставнями-створами на нижних окнах, с парадным крыльцом на кованых узорчатых подхватах, с резными дверями и медной замысловатой скобой на них, гляделся запущенным сиротой. В нем жили вселенные и вселившиеся когда-то сами. Половина его бемских стекол в венецианских окнах была уже изломана, заменена составными, а где-то фанерками, на подоконниках в консервных банках и зеленых худых кастрюлях росла пошлая красная герань, ремневидный лук, искусственные будто «бархатцы» и нищенский розовый сырой цветок «Ванька-мокрый», который презирала даже моя невзыскательная бабушка, любившая оконные цветы. На парадных дверях было написано мелом. Веранда над крыльцом, состоявшая из веселых прежде цветных квадратиков, была перекошена и разбита.

Когда отец показывал мне дом «инженера Самойлова», он всегда повторял с некоторой долей чего-то похожего на неприятную мне зависть, что братья жили вверху, в отдельных комнатах. Там и висели у них по стенам их коллекции. А внизу была столовая и комнаты прислуги. **КОМНАТЫ ПРИСЛУГИ.**

Почему найденная в амбаре коллекция так сразу напомнила мне об этом бывшем доме, бывшего инженера и его бывших детей-гимназистов — братьев Самойловых?

Бабушка помогла промыть и очистить стекла коробок, и я обнаружил внезапное удручившее меня обстоятельство. Красота бабочек оказалась уже линялой, траченной временем, жуками-точильщиками и, может быть, неумелым собирательством. Отец рассказывал, что расправлял бабочек простейшим способом, накалявая их в паз между бревнами этой веранды, где он жил и спал. Многие бабочки оказались полуразрушенными. Наколотые на толстые швейные булавки, одни сохранили всего лишь верхнюю пару крыльев, другие из четырех крылышек — три, от иных же остался лишь торчащая булавка с остатками иссохшего туловища, а остальное цветным хламом лежало на дне коробки. Может быть, так, обгоревшая коробка, я в первый раз понял, как хрупка и тленна красота. Любая красота! Замечу, что всякая она при этом подробном пристрастном обследовании являет нам подобие разочарования.

Только две бабочки пострадали меньше, может быть, за счет своей величины или опять же своей исключительности: желтый махаон и другая, еще крупнее его. Она размещалась в самом центре коробки. Бабочка была белого, почти прозрачного и просвечивавшего с перламутровым блеском тона, по которому были разбросаны черные и красные пятна, иные даже с ободками. Я чувствовал, что белая бабочка была вроде бы родственна махаону, но кроме величины, она ничем не походила на него. Она была в четыре раза больше любой бабочки-белянки. Такой летающей громадины я даже представить себе не мог. Но на вопрос: «Кто это?» не ответили ни бабушка, ни мать, ни отец. Вернувшись с работы, он обрадовался коллекциям (был ведь еще и ящик с жуками и примерно в том же плачевном состоянии). Но, посмотрев их вместе со мной и также отметив невосполнимые разрушения, отец лишь на секунду затуманился, а потом махнул, не исправимое жизнелюбие всегда брало в нем верх: «Что делаешь? Время... Пойдем-ка обедать. Есть хочется». Про белую бабочку пояснил: «Я ее на дороге увидел. Гляжу — большая бабочка! И воробей ее уже клюет. Может, он и сбил. Я к ней! Никогда таких не видывал. Не знаю, как называется. Редкая. Очень редкая... Обедать пойдем...»

Коллекцию я повесил на стену и первое время любился ею. Бабочки были все-таки разные и красивые. Они напоминали цветы и превосходили их. Может быть, глядя на коллекцию, я невольно улавливал и впитывал эстетику природы, до которой мог пока подняться лишь интуитивно. Я понимал, быть может, что бабочки созданы для цветов, а цветы, видимо, для бабочек. Это единство разных живых существ было мне понятно. Однако я чувствовал, глядя на эти пестро разрисованные кусочки ма-

тери, и еще какую-то высшую их предназначенность. Какую? На вопрос этот младенческий разум не мог дать ответа. Впоследствии я узнал широко известное изречение одного из философов-модернистов, что искусство, как и красота, в своих высших формах должны обладать качеством бесполезности. Но и это чересчур спорное и смелое утверждение не принесло мне облегчения, пока я не нашел свое и на нем остановился: красота в природе, в чем бы она ни выражалась, есть как раз наивысшая польза, может быть, даже еще не осознаваемая и, тем не менее, — это образец, который рождает (и тоже мучительно, миллионами лет! творящая природа). Красота есть высшая польза. И чем исключительнее она, чем совершеннее, тем сильнее отвергается и бледнеет на ее фоне все полукрасивое, малосовершенное, подправленное косметикой. «Лучшее — враг хорошего» — эту половицу я словно нашел, разглядывая коллекцию, собранную отцом. Две бабочки в середине ящика подтверждали мой интуитивный вывод. И опять впоследствии, изучая уже философию и пытаясь стать умным (вот чего горестно не хватало всю жизнь), я встретился с изречениями: «Лучшее — мера». «Истина посредине». Я опять не соглашался, утверждая внутренне и для себя: «Лучшее должно быть выше меры. А истина — вершина в всякой сущности. В детстве же, тем более раннем, я лишь острее, восторженнее ЧУВСТВОВАЛ совершенство красоты. Бабочки были для меня ее вещественной конкретностью. И теперь я мечтал о них, в мечтах охотился за ними. В моем детском сознании бабочки соединялись в одно с обозначением моего бытийного состояния, как непрерывного счастья, радости жизни, ее ежедневных открытий, что возникали с каждым пробуждением, блеском зари в окно, птичьим голосом, стуком дождевых капель, запахами летнего утра, весны или осени и даже с нежным личиком девочки, вдруг замеченным мной и поразившим то ли кроткой и тянущей просветленностью ее косо поставленного глаза, ее туго заплетенных волос, из которых всегда выбивается одна мягкая и особо трогательная прядка, то ли девственностью уже устремленного к своим глубоким тайнам недопроявленного женского профиля. Бабочки! Вас недаром называли именами женщин, нимф, дриад, найд и богинь! Значит кто-то еще очень, очень, очень далеко от меня родил слово это: ба-боч-ка, сугубо женского рода — ваше первое сознательное имя.

Но любоваться коллекцией на стене одновременно мешала и достаточная ободранность, и разрушенность ее экспонатов. Не долго думая, я снял ящики со стен, открыл, то есть отклеил стекло, и принялся удалять остатки развалившихся бабочек. Наверное, этого не стоило делать, действовал я неумело, слишком грубо, а бабочки слишком пересохли, были так хрупки, что разваливались при одном прикосновении к булавкам. Не избежали такой участи ни махаон, ни неизвестная редкая бабочка, а все попытки склеить хрупкие крылышки конторским клеем — «гуммиарабиком», не привели ни к чему. Крылья крошились, туловища разваливались, усики отпадывали сами собой. В результате моих трудов от коллекции остались кучки цветной трухи и ржавых булавок. Отец снова, видя мои старания, почему-то не огорчился. Лишь велел бабушке снести ящики в амбар. Коллекция прекратила свое существование и, пожалуй, закономерно и с пользой. Не найди я ее среди пыли и хлама — она все равно погибла бы, доточенная жуками-точильщиками и каким-то подобием мелкой моли, какую с отвращением и содроганием я обнаружил во всех коробках. Коллекция дала мне первое ясно-наглядное представление о разнообразном мире живых существ. Позволила прикоснуться (в прямом смысле) к его редкостям и тайнам. Коллекция проявила (или выявила?) во мне столь нужную (или грешную?) страсть к собирательству и, значит, к познанию. А хрупко исчезнувшие бабочки оставили горестное сожаление исчезнувшей красоты. Красота же сама собой словно требует и ждет возрождения.

Я решил собирать свою собственную коллекцию!

Все такие решения в детстве исполняются немедленно. И первых же бабочек я поймал на другой день шапкой на одуванчиках — видимо-невидимо, ярко-желто цвели их вдоль нашей ветхозаветной улицы, на пустыре за речкой и даже просто во дворе. Бабочки оказались, конечно же, обыкновенными крапивницами, но принесли все-таки начинающему коллекционеру достаточную радость. В том же амбаре я раздобыл застекленный ящик от иконы, куда и поместил свои первые находки. Не сомневаюсь, что божественное происхождение ящика не способствовало моим успехам коллекционера. Ловить бабочек шапкой-матроской было не лучшим делом, и я попросил маму шить мне сачок, а отца изготовить обруч на палке. Родители с пониманием отнеслись к просьбе сына. Обруч был сделан, и палка нашлась, зато сачок за неимением марли (попробуйте, купите ее хоть где-нибудь и сейчас!) мать сшила мне из широких бинтов, и это изобретение я дарю всем желающим. Я очень сильно надеялся на сачок. С его помощью я рассчитывал основательно пополнить мою крапивницевою коллекцию новыми видами. Ловить сачком не в пример удобнее и даже радостнее, но результат был все тот же самый: к крапивницам добавились только белые капустницы. Я выходил на свою охоту за бабочками всякий погожий день и всякий день испытывал разочарование. Опять крапивницы, опять капустницы. Опять, опять, опять! Но помню и по сей день, как радовался, даже приплясывал, кричал, поймав уже более редкую, красно-малиновую с голубовато-синими крупными пятнами на крыльях. Отец, все-таки бывший для меня знатоком, определил ее как «павлиново перо». Еще одну пестренькую, скорее всего репейницу, знаток назвал «лесная бабочка». А дальше заколодило. Ничего нового в огороде и на пустыре не попадалось до самой осени, и постепенно я забросил сачок, к тому же приближалась осень, а с ней мое самое главное увлечение — певчие птицы — «птички». Коллекция в ящике от иконы куда-то девалась. Но испытав разочарование, я как-то и не вспоминал о ней. Откуда мне было знать, что в средней полосе России и на Урале, начиная с его полярных областей и до самого юга, водится всего-навсего около трехсот видов дневных бабочек, причем в эту цифру включают и редчайшие, встречающиеся в таких удаленных местах, куда не сможешь добраться, кроме как с экспедицией, и уже никогда не увидишь ни в лесу, ни в поле, где-нибудь за городом. Бабочек ночных было (тогда «было», ибо фауна их, говоря языком научным, исчезает еще стремительней, пропорционально той массе огня и фонарей, которые теперь светят везде и на которых, повинувшись неясно еще инстинкту, летят эти насекомые, чтобы, обжигаясь, погибать. Исчезновение ночных бабочек никого не волнует и, как знать, не приведет ли оно также к полному оскудению природы Земли) гораздо больше, но их я почему-то боялся. Они и сейчас вызывают у меня рефлексное, что ли, отвращение своим дрожащим трепетаньем, и я их никогда не собирал, а поймав случайно в сачок, тотчас выпускал со всеми предосторожностями, вплоть до того, что бросал сачок открытым и, отбежав в сторону, смотрел, как мохнатое маленькое чудовище возмущенно выбирается из марли и неловко улетает. Ночные бабочки днем летают плохо. Дневных же бабочек, ярких, тоненьких и не страшных, нигде больше не было.

Отец на все справки-расспросы отвечал, что бабочек «много в лесу» (а я держал в памяти ту цветущую шиповником и кипящую жизнью гору, на какую возил нас когда-то веселый дядя Вася), но выбраться в лес в те довоенные времена было нелегко. Не было электрочек, не было загородных автобусов, вечно не было времени у отца, занятого даже по воскресеньям своими отчетами и балансами. Он был бухгалтером в большой конторе и на воскресенье, забрав портфель, постоянно уходил куда-то «работать», работал и вечерами, возвращаясь, когда я уже спал. Теперь я иногда думаю, что работа его была одной из форм обретения им той свободы, к какой стремился каждый настоящий мужчина. Как бы там ни было, отец иногда брал меня в лес по воскресеньям, мы ехали

на трамвае на ближнюю окраину города в Пионерский поселок, где и теперь еще сохранился клочок суховерхого сосняка — обиталище ворон и где под горкой текла мелкая светлая речонка. Местность эта называлась «Освинские прудки», потому что тут некогда мыли золото. Шурфы и отвалы давно заросли, лес был еще зеленый, хотя и прохажив, и здесь я носился со своим бинтовомарлевым сачком за редкими пролетающими бабочками. К сожалению, «энтомофауна булавоусых чешуекрылых этого региона», — почему не сказать языком современным и наукообразным?! Хо-хо!, — была предельно бедна и тут. Те же крапивницы, павлиново перо, оказавшиеся не такими уж редкими, да еще поймал я желтую бабочку лимонницу и одну-две рыжих лесных. Забегая вперед, скажу, что и эти редкие поездки «в лес» через год прекратила грянувшая война. Недостаток бабочек и сведений о них побудил меня искать сведения в книгах. Я читал скучные книги Брема (их было у нас всего две, из них о насекомых только одна, где бабочкам отводилось десятка три страниц и были две цветные вклейки, которые я испортил, переводя изображенных там тропических бабочек через копирку в свой альбом, хоть так пытаюсь накормить желание голодного коллекционера). Читал еще более тоскливую книгу Фабра, про его пчел, муравьев и ос-феллоксер. Жизнь этих ос была мне совершенно не интересна, а Фабр показался просто сдвинутым чудачком.

Бабочек не было. Мечта заглохла. Мечту надо хоть изредка кормить находками, хотя бы частичным исполнением желаний. Мечте, как костру, для горения нужно топливо. Один раз так и случилось. Во двор — помнится было это в августе — привезли и свалили воз сырых осиновых дров. Дрова для нашей семьи всегда были такой же мучительной проблемой, как, допустим, марля для сачка. То их нельзя было купить. «Нет на складе». То нельзя вывезти. Дрова есть, а нет машин, лошадей. То было некому их грузить. То разгружать. Подлая российская жизнь, мне кажется, в этих дровяных проблемах отражалась, как в увеличивающем зеркале. И все-таки отец как-то умудрялся «достать» эти самые дрова. Как-то «выписать», как-то «оформить вывозку», а дальше уж он всецело полагался на себя, и дровяной процесс из почти трагедии и драмы превращался в почти радостное и счастливо-комедийное действо. Дрова при моей помощи радостно пилили, благодушно, с покуриванием и рассказами о лесных походах и удачах (отец был завзятым охотником, и к тому же добычливым охотником) раскалывали, аккуратно складывали в длинную ровную поленницу.

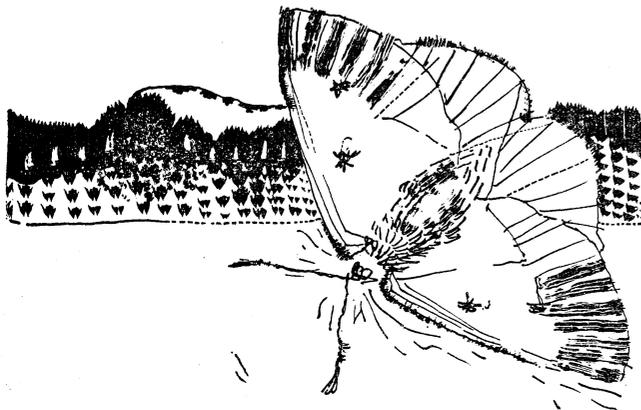
На этот раз осины оказались очень сырыми — прямо с корня. На распилах сочились белым пахучим молочком, и вот что произошло на следующий день. Большие черные бабочки, бархатно блестящие, с белой и желтоватой каймой по краям стали прилетать в наш двор словно бы из ниоткуда. Таких бабочек (отец называл их траурницами) я видел за все детство одну-две, а тут были буквально десятки. Одни улетали, другие являлись снова. Вспомнив про заброшенный сачок, я тут же поймал их несколько штук. Но изобилие бабочек не прекращалось, и я понял, что их привлекает осинный сок. Как проголодавшиеся или одержимые жаждой, они садились на распиленные чурбаки и пили его тонкими хоботками. Какое же надо было иметь чутье, чтобы примчаться сюда, в город, буквально за тридевять земель? Бабочки пили сок, словно бы хмелея, иных из них я мог взять руками за сложенные уголки крылья. Траурницы прилетали до тех пор, пока чурбаки не высохли под жарким августовским солнцем. И хотя они пополнили мою коллекцию, других видов бабочек на осиновые чурбаки не прилетало.

Я уже снова пригласил свой охотничий инстинкт, хотя, может быть, и ждал иногда явления новой бабочки. Но никого не было, и, помнится, в тот знойный полдень я не то чтобы загорал, а просто грелся на солнышке, раздумывал о близкой уже школе, осени, птичках, о чем-то таком думал всегда, как вдруг из-за нашего высокого забора с улицы спланировала громадная и великолепная белая бабочка. Увидев ее, я вскочил с бревен, вспоми-

ная, где же сачок, и уже предвкушая: сейчас бабочка съедет на еще не расколотые чурбаки, я ее накрою, как ловил черных траурниц, очень просто. Поймаю и вечером покажу отцу! Она же была точно такая, как «редкая» белая из его коллекции. Но... как часто в жизни это «но»! Бабочка даже не присела на чурбаки. Сделав круг над двором, она мощным порхающим полетом облетела огород, не делая даже никаких попыток сесть, взнеслась в высоту и скрылась. Мой рассказ про гигантскую бабочку отец посчитал, кажется, обычным моим враньем, выдумываньем — не скрою, я был на него горазд, и то отец, то мать часто с сомнением, с улыбками глядели, когда я нес, так мне казалось, всегда правдивую сладкую безудержную чепуху. «Сочинял», — говорила бабушка.

Осенью я пошел в школу и возненавидел ее с первого тягостно-долгого и словно навсегда поработившего дня. Детство кончается, едва ты перешагнул школьный порог, а у детей ясельных, садиковых, по-моему, вовсе нет детства. Каждого Первого сентября и по сей день я испытываю, по-видимому, остаточные, рудиментарные, муки той поработченности. Школа поглотила мое детство, мое главное счастье быть самим собой, мою свободу. Ее скучная обязательная тень заслонила мою самостоятельность. Как часто я, изгнанный из класса за непоседливость или посланный «за матерью» не помню за какие уж грехи, кукуясь сидел на сентябрьском школьном крыльце, все же успевая проследить взглядом полет пролетающих мимо крапивниц и думая, какие счастливые! Ни тебе уроков, ни домашних заданий, ни дисциплины никакой, ни парт, доски, мела, таблицы умножения, — всего, с чем я так неожиданно и горько столкнулся. На третьем году моего школьного искусства грянула война. И если школа поглотила мое оставшееся детство, война лишила и отрочества и, наверное, даже нормальной радостной юности. Нищета. Плачущая голодная мать. Пасмурные тягучие противоестественные суровые времена. Какие? Какие там ба-боч-ки! Было даже не до размышлений о них. Мелкая борьба за существование, за «только бы выжить», и бесконечный, на годы, изнуряющий голод заслонили все. Лишь в летние, свободные от школы дни, исполнив свои обязанности домашней кухарки, то есть сварив суп из густо-зеленой крапивы и свекольной тошнотворной ботвы — в мае в меню бывала и лебеда — жидкую кашу из перемолотого на мясорубке пареного овса, заправив эту болтушку льняным, пахнущим красочной олифой маслом, я шел на пустырь нарвать травы поросенку — кормили до зимы чем придется — и там, на пустыре, в бурьянах и репях иногда каменел, глядя опять на привольную жизнь весело, игриво летающих бабочек. Не было для них никакой войны, не было, видно, и голода. Жили своей далекой от людского несовершенства жизнью, и, помнится, опять мысль о их свободе не раз отягощала мою подростковую, беспризорно стриженную под машинку (чтоб не было вшей), но все-таки постоянно и напряженно думающую голову.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



Сергей НОХРИН

\* \* \*

На старых, ступившихся гагах,  
Упрямо толкаясь ногами,  
Я еду все прямо и прямо  
По гладкому льду к моей маме.  
Январскою дымкой подернут,  
Отбелен, отмыт, заморожен,  
Бинтом город врзался в горло,  
Царапая жаркую кожу.  
Глотая звенящую скорость,  
Я мимо, смеясь, проезжаю.  
А мама так хочет рукою  
Поправить мой сбившийся шарфик.  
Но я, проскользнув в полуметре  
По гладкому синему свету,  
Забыв про мороз и про ветер,  
Все еду, все еду, все еду.

\* \* \*

Без радости, без горечи, без слов,  
ночную темень пополам разрезав,  
втекают рельсы  
то — в смолу лесов,  
то — в гулкую усталость переездов.  
Бесстрастные поводиры любви,  
немые слуги всевозможных судеб,  
вы для одних течете из дали  
и на глазах расходитесь, как люди.  
Иной расклад, другой волшебный дар:  
обратно перевернута картина,  
вы для кого-то, убегая вдали,  
сливается навечно воедино.  
Несчастен и блажен, кому беда  
понять, обьяв доступного границы,  
что рельсы не способны ни когда  
ни разбежаться, ни соединиться.

#### МОЙ ЗМЕЙ

На солнце блестя акварельною краской,  
Мочало хвоста распушивши по ветру,  
Мой змей улетел. Он не мог. Он сорвался  
В просторное, чистое, легкое лето.  
Прощальный свой блюз на струне черной нитки  
Мой змей отыграл, попадая в затакты.  
Теперь он увит голубиною свитой,  
Пришит к облакам ярко-красной заплаткой.  
Я долго его и старательно клеил.  
И дело не в том, что сейчас улетел он.  
Мой гадкий утенок, мой сказочный лебедь  
Ушел от меня в свои князьки уделы.  
Под ними поля ослепительно влажны,  
Их ливень грибной основательно вымыл.  
Мой змей, напрягая свой разум бумажный,  
В свободной стране сделал правильный выбор.  
Как сладко бежать мне за ним, спотыкаясь  
О мелкие комья земли и канавки,  
Пытаясь схватить над собою руками  
Хоть малые крохи свободы и правды.  
Упасть, когда горло мое перехватит  
Вконец, разметавшись в траве, разрезаться.  
И вытри-ка слезы мои лопухами,  
От змея отставшее взрослое детство.



## Повесть

Владислав  
КРАПИВИН

Рисунки  
Евгении Стерлиговой

## Маятник

I

Когда все вышли из Башни, поблизости никого уже не было. И вдаль не было. Только шелестели стрекозы, да над озером носились небольшие темные птицы, которых называют «озерные голуби». Было жарко, солнце сияло так, что в граните Башни искрились черные зеркальца слюды.

У всех осталась печаль от странного расставания. Цезарь крутил на шнурке пуговицу. Что-то шептал и покачивал ершистым своим шаром. На солнце, однако, печали и тревоги тают быстрее, чем в тени. Особенно, если нет для них понятных причин. И Филипп сказал то, что чувствовал каждый:

— Кушать-то все равно хочется...

Оказалось, что лишь Витька и Цезарь появились здесь без провизии. Ежики и Ярик сказали, что у них два каравая и большая банка мясных консервов. Лис и Рэм прихватили из дома огурцы и картошку. И котелок. Даже у Филиппа отыскались в кармане замусоленные леденцы и ни разу не надкушенное яблоко...

— Проведем здесь еще ночку, и тогда уж по домам,— предложил Рэм.— Не так уж часто собираемся... Идет?

Окончание. Начало в № 8—9

[203]

Все зашумели, что «идет», пряча за гвалтом остатки печали...

Витька сделал свою долю работы: натаскал сушняка из ближних зарослей. Затем отошел, сел на солнышке у фундамента Башни. Спinoй и затылком привалился к бугристой граниту.

Рэм и Филипп чистили у погасшего костра картошку, Лис лопухом протирали котелок. Цезарь, видать, забыл на время свои сомнения и гонял с Ежиком и Яриком по траве пустую банку из-под говядины. Витька следил за ними ласково и успокоенно: «Со всем оклемался Цезаренок. Хорошо...» Но Цезарь перехватил его взгляд и тут же подошел.

— Ты чего... такой?

— Я не «такой»,— бодро сказал Витька.— Тоже банку погонял бы, да пятка болит.

— Почему?— тут же заволновался Цезарь.

— Отбил недавно. Разве я не говорил?

«Я ничего ему не говорил. Ни про «пчелу», ни... про дыру в стене... Опять это лезет в голову...»

— Разве не можешь вылечить?— подозрительно спросил Цезарь.

— Лень. Сама пройдет.

Цезарь сел рядом на корточки.

— Раз ты такой задумчивый... можно, я спрошу? По-моему, это очень важный вопрос. Я ночью думал, думал...

— О чем ты?

— Я думал: вот здесь, у Башни, и в Реттерберге, и где ты живешь, и где Ежики, и в Луговом— одно Солнце? Или разное? Ведь пространства-то разные...

— Я... даже не знаю,— растерялся Витька.— Не приходило как-то в голову... Наверно, это разные варианты одного Солнца. Мы ведь на одной горизонтале... Это только Филипп с Кригером шастают вверх-вниз.

— Я не совсем понимаю про горизонталь.

— Это «ерстка»,— усмехнулся Витька.— Толком, по-моему, никто не понимает.

— С одной стороны, хорошо, если Солнце одно. Уютнее как-то... А с другой, лучше, если разные.

— Почему?

— Если одно когда-нибудь погаснет, люди смогут уйти к другому.

— Зачем ему гаснуть,— недовольно сказал Витька.— Выдумашь тоже.

— Когда-нибудь придется думать и об этом,— негромко и упрямо возразил Цезарь.— По-моему, это не так уж страшно. Не боятся же люди думать о смерти.

Витька угрюмо сказал:

— Я боюсь... То есть не люблю.

— Так это сейчас. А потом... Командор Находкин вот не боится

— Откуда ты взял?

— Разве ты не понял? Зачем он ушел с князем...

— Он пошел, чтобы побывать в той церкви, в Дикой долине...— Ох, не нравился Витьке этот разговор.

— Ну да, сначала побывать. А потом...

— Потом— суп с котом,— совсем уже по-дурацки брякнул Витька. Цезарь придвинулся, заглянул ему в лицо:

— Не понимаю, почему ты сердисься.

— Да не на тебя я! На себя...— Надо было усадить Чека рядом и рассказать про все, что грызет душу. Но тут закричали Ежики и Ярик:

— Цезарь! Твоя очередь по воротам бить!

— Иди вляпай им пару банок,— сказал Витька.

— Что-то мне уже не хочется...

— Ну, зовут же люди.

Цезарь медленно поднялся. Встряхнулся, отбежал к ивравшим.

Витька подумал о Находкине.

«Почему Командор считает, что мы полезем куда не надо? Почему он боится, что будет большой риск? Разве мы кидаемся куда-то очертя голову? Мы не так



[204]

уж и рвемся в непонятные пространства, мы просто не знаем туда дороги. Наша дорога — всегда друг к другу. В этом закон прямого перехода... Вот только Филипп этот закон нарушает. Да и то... Он же чаще всего гоняется за петухом! Тоже за другом... А куда устремляется Кригер? Кто поймет петуха... Может, он тоже не просто так летает, а кого-то ищет?... Или хочет отыскать дорогу обратно в «Сферу», да не может найти — что-то сдвинулось после того эксперимента...»

Витька посмотрел на петуха. Тот бродил неподалеку, рылся в траве, поглядывал из-под гребня на Витьку. Словно понимал его мысли.

— Ко-о... — тихонько сказал ему Витька. Кригер замер, поднял голову, прислушался. Но не к Витьке, а к чему-то далекому...

«Почему Командор думает, что ребята станут все переворачивать вверх дном? Конечно, иногда бывало, что перевортывали часы или зря теребили Меридиан, но это же случайно, это где угодно и с кем угодно может быть. А нарочно мы никогда... Мы просто собираемся вместе, потому что друг с другом нам хорошо. У нас будто общий дом... с желтым окошком... Мы никогда не станем ломать свой дом. А вот если полезут взрослые, начнется кавардак: примутся все подряд изучать, торговать начнут, делить что-нибудь... а может, и воевать. Вот тогда в самом деле трещины пойдут по всему Кристаллу. Что тут поделаешь? Между странами взрослые пограничники охраняют границы, их целая армия, а что можно сделать здесь? Что можем мы? Если даже нас будет много... Кто знает? Даже Цезарю это невдомек, хотя он и Командор... Юр-Танка, пожалуй, знает, он молодец. Может, так и надо — построить храмы на всех рубежах? Кто вспомнит о матери, наверное, уже не захочет воевать...»

«Это те, кому повезло с матерями...»

А ну, перестань! — одернул он себя.

«А я что? Просто подумалось... Конечно, она любит меня. И я ее... А если один раз пожаловался отцу, так это просто вырвалось. Кому пожаловаться, если не отцу... А можно ведь построить на границе и храм Отца... А согласятся ли люди? Многие считают, что отцы хуже относятся к детям, чем матери. Бросают детей... А матери разве не бросают? Отцы, говорят, чаще... Кто считал? А надо ли считать, если у тебя у самого... А он не виноват! Его просто выжили из «Сферы»! Не из-за меня же ушел! И все равно он обо мне заботится!.. Не ври, он и о себе-то позаботиться толком не может...»

Витька отчетливо увидел отца — как недавно, при последней встрече. Будто отец сидит на фоне темной шторы, покачивает головой, а из отверстия в шторе то и дело выскакивает колючий лучик... «А собственно, откуда отверстие в н о в о й шторе?... На том же уровне, что в стекле!»

Витька бухнулся в траву животом, охватил затылок. «Только спокойно, без нервов! Не дергайся... Если вспомнить как следует, то... дырка в стекле чуть выше... Отец сказал: «Снизу палили...» Нет, не снизу! Скорее всего, с дома напротив, с чердака! И не на прошлой неделе, а совсем недавно, когда штора уже была! Отец кричал: «Я ее только сегодня повесил, временно, не закрепил еще...»

Это случилось вчера. Но тогда... Тогда, значит, и защитное поле было снято вчера! Отец снимает его, чтобы экономить энергию во время эксперимента... Выходит, импульс он посылал лишь незадолго до прихода Витьки... А сказал «на той неделе», чтобы зря его не тревожить...

Как все цепляется одно за другое! Или не цепляется? Нет, цепляется! Снятое поле, импульс, выстрел с чердака... Выходит, они знали, следили, гады!.. Слава Хранителям, не попали сквозь штору... Пуля шарахнула, оборвала опыт. Импульс не дошел, иначе отец оказался бы в «Сфере». Небось, прямо в центральной лаборатории, как с потолка! Вот был бы пе-

«Аэлита»-90

реполох-то! «Витька, беги, твой папа откуда-то свалился!» А Витьки нет, Витька в это время уже слинял из дома, скользит на кожаном задку по пятьдесят девятому желобу РМП...

По пятьдесят девятому? Откуда там «пчела»? Нечетса навстречу со скоростью пули... Пуля — в энерго-сборник, эксперимент — стоп!.. А недотянутый опыт с импульсом дает зеркальный эффект. Это что? Нос Миши Скищина — слева направо... И только? Нет, это вообще, левое — на правое, стрелки часов — в обратную сторону, все задом наперед. Может, и мысли наоборот... Это у меня мысли наоборот... Нет, подожди... Значит, и нечетное меняется на четное! Пятьдесят девять на шестьдесят! Или на пятьдесят восемь, все равно... «Пчела» на четном радиусе...

«Спасибо, палочка, за подарок. Еще бы чуть-чуть, и...»

«Перестань, дурак! — мысленно гаркнул Витька. Словно дал себе оплеуху. — Он же не знал! Он ничего не знал... Он бы сам этого не пережил...»

«А и без того мог не пережить. Пуля-то прошла совсем рядом, он сидел у пульта спиной к окну...»

«Кто стрелял? Охрана правопорядка? Узнали, кто был связан с подпольем? Нет, они постарались бы арестовать. Может, те, с кем он отказался работать? Из Института службы безопасности?.. Но ведь могут и опять! Он сядет за пульт, снова отключит поле, их индикаторы-шпионы тут же отметят это... А он, чего доброго, и шторы-то забудет повесить...»

«Почему я не подумал про это вчера?.. Потому что поверил: пуля — дело давнее, случайное...»

«А сейчас? Что делать сейчас?»

Витька уже стоял. Весь, как в холодной воде, — в тоскливом предчувствии беды. Подбежал Кригер, встал напротив. И вдруг взъерошился, взлетел до Витькиного лица и заорал коротко и хрипло.

Впервые Витька видел, чтобы петух кричал в прыжке, в полете.

Сбегались Пограничники.

— Ребята... Цезарь, — сказал Витька. — Мне надо в Реттерберг, честное слово. Мне кажется, что-то случилось с отцом. Я не знаю, но мне кажется... Если все хорошо, я тут же вернусь. Если нет... Рэм, тогда проводите Цезаря сами, обычным путем... Чек, не обижайся...

Он вскопчил на выступ фундамента, шагнул... Мелькнул перед ребятами черный силуэт, хлестнуло ветром. Филипп резко нагнулся, ухватил за лапы Петьку, тот замахал крыльями.

— Витька! — заорал в пространство Филипп. — Я с тобой, подожди! Я буду связным!

— Не смей! — кинулась к нему Лис. Не успела. Все пригнулись от нового удара ветра. Словно это взлетевший Кригер смешал и поднял вихрем воздух разных пространств.

2

Только две-три секунды Витька приходил в себя. Он даже не упал — стоял, привалившись спиной к стволу старого тополя. У дома напротив — отцовского дома — приткнулся красный низкий автомобиль Рибалтера. Из дверей выносили отца — Рибалтер, Корнелий и незнакомый мужчина в вишневой сутане священника. Витька толкнулся лопатками от ствола и побежал.

Ноги и руки отца висели, как перебитые, но лицо было живое. Он сказал Витьке с нелепо-бодрой улыбкой:

— Да чепуха, бред. Это не пуля, а паралитическая ампула. Живым нужен им Мохов. Тепленького хотели взять, сволочи.

— Кто? — всхлипнул Витька.

— Наверно, те, из Лебена. Решили, что я хороший специалист по стабилизации индексов, кретины... — Речь отца была отрывистой и нервной. — Промахнулись,

1905  
господа. Пардон, не в то место попали. Конечности — брык, а голова варит...

— Все в машину, — быстро сказал Корнелий. Из воздуха шумно спланировал на Кригере Филипп. — Это кто еще?

Витька не удивился и не разозлился — не до того.

— Со мной, — сказал он.

— В машину!

Отец лежал теперь на заднем сиденье. Мужчина в сутане задрал вишневый подол, вынул из кармана брюк вороненый «дум-дум», сел у отца в ноги.

— Да не будут они гнаться среди белого дня, — пренебрежительно сказал отец. — Понимают, что себе дороже... Хорошо, ребята, что я успел нажать сигнал и вы примчались. Спасибо...

— Помолчи, Алексеич, — попросил Корнелий. — Мальчики, в машину... А этого зверя зачем?

— Надо! — крикнул Филипп.

— Скорей!

Витька и Филипп скорчились между сиденьями, Филипп обнял и прижал притихшего Петьку. Только сейчас Витька спросил:

— Чего тебя принесло?

— На всякий случай.

«Ладно. Может, и правильно...»

Худой, лысый, с повисшими усами Рибалтер втиснулся за руль. Рядом — Корнелий.

— В «Колесо»? — спросил Рибалтер.

— Куда же еще... — бросил Корнелий.

— Совсем вы рассекретите таверну, ребята, — сказал священник.

Машина рванулась. Витька ударился затылком о неживые ноги отца.

— Рассекретим — не рассекретим, а что сейчас делать-то?! — крикнул Корнелий.

— А если сразу на состав? Сын-то здесь... — Священник нагнулся над Витькой. — Ты Виктор Мохов, мальчик?

— Да!

— Отца надо увозить! Туда, к вам! Здесь больше нельзя!

— Я знаю! Но ведь надо сперва к врачу!

— Можно подождать. Это же парализатор! Через несколько дней и так пройдет!

— А если сердце! У него сердце плохое!

— У меня в кармане стимулятор! — громко, даже весело сказал отец.

Машину било на старой дороге. Витька, вздрагивая от толчков, спросил:

— Который час?

— Полдень!

— В двенадцать пятнадцать по Окружной пойдет состав! Можно успеть!

И подумал с горьким удовольствием: «Вот так, папочка. Не хотел, а теперь...» Но тут же резануло его раскаянием и страхом:

— Папа, ты как? Ты живой?

— Да живой я, живой, малыш.

Витька лбом вдавился в колени. И стучало его, и трясло на ухабах. А в Кригере что-то булькало и ухало, как в резиновой канистре...

Вырвались на кольцевое шоссе. Здесь ровной и скоростью! Потом — налево, в путаницу Южной Пищевой слободы, в заросшие полынью переулки. И наконец — дорога вдоль полотна. Справа — болотистые луга, слева — насыпь...

— Все, все! Вот здесь!

Минут пять у Башни все молчали. Словно прислушивались к тому неизвестному, что происходило в Реттерберге.

Неизвестность — она давит, как беда. И сильнее всех она давила Цезаря: ведь не Филипп, а он должен

был кинуться вслед за Витькой. И потому, что Витькин первый друг, и потому, что Командор.

«Но разве я просился в Командоры?»

«Просился или нет, сейчас это не имеет значения».

Все понимали его и все, видимо, жалели. Что поделаешь, раз не дано человеку. Цезарь отошел, сел в тени на выступ фундамента. Лишь бы никто не подходил, не вздумал утешать. И сидел так — виноватый без вины, без обиды обиженный. Потом услышал:

— Если все в порядке, они вот-вот вернутся.— Это Рэм.

— А если что не так, вернется хотя бы Филипп,— не очень уверенно сказал Ежики.

— Ага, жди,— горько возразила Лис.— Он там обязательно влипнет в историю...

Цезарь увидел сквозь неплотные сдвинутые пальцы, как Ежики встал.

— Тогда пойду я... Попробую уловить их ориентир...

— Сиди! — вскинулась Лис.— Не хватало еще, чтобы и ты исчез... Тогда последняя ниточка порвется. — Надо ждать,— решил Рэм.— Может быть, ничего и не случилось.

«Может быть, не случилось,— будто ударил Цезаря.— А может быть... что?»

И собственный стыд и обида сразу затерялись позади страха за Витьку. За Филиппа...

И страх стал ощутимым, как болезненный нарастающий звук.

Словно беда приближалась с восем вошедшего в пике самолета.

Она стремительно поглощала последние мгновения, в которые можно еще что-то сделать! Кинуться! Спасти!

...Цезарь и потом не мог понять, что его толкнуло. Он бросился в Башню! Шар только что подошел к гранитному краю. Щелкнуло. Шар медленно стал отходить. Цезарь схватил медную ленту, а ногами зацепился за каменный поробрик. Остановить! Задержать. Сбить хоть на миг эту неумолимую равномерность! Многопудовый маятник смахнул мальчишку с места, словно кузнечика. Цезаря потащило по гравию...

Подходящая платформа нашлась в середине состава, между глухими товарными вагонами. Почти пустая. Телько у бортов лежали несколько тугих и пыльных мешков. Кажется, с цементом. Дощатый пол местами был покрыт спешейся цементной коркой.

Рибалтер постелил свой пиджак. Отца положили на него спиной, а головой и плечами — на мешок. Витька сел рядом на корточках. Филипп устроился поодаль на мешке, с Петькой на руках.

— Возвращайся к Башне,— сказал Витька.— Чего тебе еще здесь... Ребята волнуются.

Филипп рассудительно возразил:

— Вот убеждусь... то есть убедюсь, что все в порядке до конца, тогда вернусь.

Рибалтер, Корнелий и человек в сутане прыгнули через борт вниз, потому что состав дернулся. Стояли под насыпью и смотрели, как едет платформа. Лысый унылый Рибалтер нерешительно помахал рукой.

Витька поглядел на отца. Его омертвевшие руки и ноги вздрагивали в такт колесам. Но лицо было живое, он даже улыбался опять.

— Ничего, малыш. Выскребемся...

До сегодняшнего дня он никогда не говорил «малыш». Витька прикусил губу и стал смотреть через борт.

Окраина Реттерберга быстро убежала назад, потянулись привычные заболоченные луга. Так и будет до того места, где поезд чиркнет по краю соседнего пространства, срежет ржавым тормозом, остановится на пару минут. И тогда...

«Ох, а как я стащу его вниз?» — подумал Витька

1206] об отце. Там, в Реттерберге, это никому почему-то не пришло в голову. Все, наверно, считали, что Витька уезжает в такой благословенный край, где не может быть никаких трудностей и проблем. Даже минутных.

«Ладно хоть, что Филипп не смотался», — подумал Витька и взглянул на него. Тот гладил присмиревшему Петьке гребень, тихонько теревил бородку... И вдруг Петька рванулся, прыгнул на трясущийся пол! Подскочил и заорал! Так же коротко и яростно, как недавно у Башни. Филипп кинулся к нему, Витька вскопчил на ноги.

И сразу увидел улан.

Они мчались параллельно поезду на своих черных дисках — одноколесных мотоциклах без рулей. Пять человек. Справа и слева догоняли платформу. Размытые в воздухе от скорости диски едва касались травы. Два улана были метрах в пятидесяти, два других ближе. А один летел по насыпи рядом с платформой, Витька видел его голову в круглом шлеме и черные кожаные плечи. Вот он выгнулся, положил свои лапы на дощатый борт за спиной у Филиппа. Хочет прыгнуть на платформу?

— Филя! — заорал Витька. Филипп рывком оглянулся и (маленький, а молодчина!) босой пяткой вдарил по пальцам улана. Тот оскалился, отпустился на миг и вцепился в борт снова. И тут с грозным кликом ему в лицо ударился Кригер! Этаким ком взъерошенных от ярости перьев и когтей! Ударился, отскочил, упал на пол. Улан исчез. Прыгнув к борту, Витька увидел, что улан, как большая черная кукла, катится отдельно от диска по насыпи.

В это время ударили выстрелы. С двух сторон. Пули расцепили борта и ушли в стенку переднего вагона... Витька не испугался сперва, удивился только: «Они что, с ума сошли? Здесь же люди!» Пуля вспорола мешок, пыль попала в горло.

— Ложитесь, идиоты! — заорал отец.— Быстро!

Витька толкнул Филиппа, тот послушно упал, ухватив и прижав Петьку. Сам Витька брякнулся на колени, глянул через правый борт. Два улана мчались метрах в двадцати и картинно целились из длинных пистолетов — держали их двумя руками.

Тут Витька, наконец, со всей ясностью понял, что их хотят убить. Отца, Филиппа, его самого — Витьку Мохова. Эта догадка потрянула его и страхом, и отвращением. Отвращения было больше. Такого сильного, что электрическим зудом обожгло кожу.

— Ладно,— всхлипнув, сказал Витька. И даже не дернулся, когда свистнуло над головой. Только с радостью подумал, что отца и Филиппа защищают мешки.

— Ложись! — опять заорал отец.

— Сейчас...

Рядом, у колена, дребезжал обломок толстой крепкой проволоки. Витька с неожиданной для себя отчаянной силой согнул железный прут в виде буквы Р с длинным узким кольцом. Получилось вроде пистолета: рукоятка и ствол-стержень. Тут же Витька всеми клеточками тела вобрал в себя из воздуха электричество и сжал энергию в тугой огненный шар. Посадил его на кулак, сжимающий рукоятку «пистолета».

...Ни разу в жизни он раньше не делал такого. Там, в парке, когда их с Цезарем чуть не сцапали, шарик рванулся все-таки сам. А Витька эти шарки жалел. Он даже думал иногда: «Не живые ли они?»

Но сейчас выхода не было.

Витька навел стержень на мчащуюся черную фигуру и толчком нервов метнул шарик вперед. Чтобы он взорвался перед лицом улана!

И белая звезда с треском вспыхнула! И наездник слетел с диска, встал на голову и потом еще долго кувыркался в траве.

— Вот так!

Мстительное веселье подстегнуло Витьку. Он прыгнул к другому борту. Не слушая криков отца и Фи-



липпа, вскопчил на мешок. Зажег новый шарик. Рядом опять свистнуло, но теперь Витька был в яростной уверенности, что ни одна пуля его не зацепит. Он послал шарик в улана, и еще один враг закувыркался вдоль насыпи, как набитый ватой манекен.

— Не смей! — кричал отец. — Нагнись! Витенька!

А Витька — опять у другого борта — целился еще в одного улана.

— Укусила пчелка собачку, — сказал он сквозь зубы. — За больное место... за спину... Ах, какая злая скотина... Вот какая вышла подначка...

Трах! Вот так...

Оставался всего один враг. Витька опять кинулся направо. Улан мчался уже метрах в семи — сбоку от платформы. Но тут отец хрипло, с паникой в голосе заорал опять:

— Ложись! Убьют же! — И покрыл Витьку таким жутким ругательством, что он брякнулся на тряский пол, будто получил доской под коленки. И взмок от обиды, от стыда за отца. Мельком увидел перепуганное лицо Филиппа, трепещущие крылья Кригера... Ладно, все потом... Глянул через борт. Улан мчался совсем рядом. Витька кожей и нервами, и всей душой напрягся, вбирая в себя электрическое поле. Не вышло. То ли кончился запас сил, то ли дикий крик отца подрубил его волю.

А улан летел с той же скоростью, что поезд, и потому казался неподвижным. Он сидел прямо, скрестил руки на груди и смотрел на Витьку. Лицо его было деревянно-твердое, с насмешливо-жестким ртом...

— Кр-ра! — как-то по-вороньи вдруг завопил Кригер и, вырвавшись от Филиппа, сел на борт, рядом с Витькиной головой. Перья топорщились от летящего навстречу поезду воздуха.

— Кр-ра-а!!!

И Витька увидел. И запоздало, беспомощно ужаснулся: в спрятанном под локоть кулаке улана был сжат маленький тупой револьвер. Глазок вспыхнул желтым огоньком.

В этот миг, равный самой малой фотовыдержке, Витька ясно и тоскливо понял — пуля ему в лицо...

...Цезаря подхватили, поставили. Гравий разорвал ему на животе и на коленях комбинезон. Цезарь стоял, потерянно глядя перед собой.

— Ты что? Зачем? — сказал Рэм и сердито и жалобно.

— Не знаю... — Цезарь облизал расцарапанную губу. Шар, который чуть не раздавил его на обратном пути, невозмутимо ходил над круглой площадкой. С ровными щелчками.

— Сумасшедший... — Лис потрогала лохмотья комбинезона. — Теперь и не зашить. И кожу содрал... Снимаю, надо тебя мазать и бинтовать.

— Обойдусь... — Цезарь смотрел куда-то мимо ребят.

Ярик сказал с нерешительным упреком:

— Этот... который Командор... Он же говорил, что ничего нельзя трогать, если это связано со временем. А ты...

— Я знаю... Кажется, я хотел задержать...

Видимо, он все-таки задержал время. На микроскопический миг. Время полета пули. Платформа успела проскочить спасительные для Витьки сантиметры, и пуля не ударила ему в лицо. Но она ударила в Кригера.

Кригер взъерошенным рыжим комом с криком отлетел на середину платформы...

Витька не думая, инстинктивно, размахнулся и пустил в улана свой «пистолет». Он целил в голову, но попал в грудь, у горла. Едва ли удар был сильным, но улан, видимо, от неожиданности потерял равновесие. Слетел с диска и так же, как его сотоварищи,

(208) с десяток метров кувыркался среди травы. Словно таким образом старался не отстать от поезда.

Витька обернулся к Филиппу и Кригеру. Филипп сидел над петухом на корточках. Потом поднял неживого Петьку, сел на мешок. Положил петуха себе на колени. Петькины лапы были скрючены, голова с подернутыми пленкой глазами качалась и вздрагивала у грязных досок пола.

Петькина кровь бежала Филиппу на колено и стекала по ногам.

Витька, пошатываясь, подошел, поднял тяжелую голову Кригера, спрятал ее под крыло. Взял петуха у Филиппа, положил на мешок. Филипп не сопротивлялся. Только спросил:

— Это что? Все?..

— Да...

Глаза у Филиппа были сухие. Он спросил опять:

— А в тебя не попало?

— Нет...

Филипп снял свою разноцветную рубашку, подолом смазал с ноги кровь. Стал заворачивать в рубашку Кригера. Витька помог ему. И услышал:

— Виктор...

Хлесткая, как пощечина, обида на отца все еще звенела в Витьке. Но он обернулся сразу.

— Все. Я сшиб последнего... — и поперхнулся. По отцовскому лицу текли слезы. Он всхлипывал и судорожно переглатывал. Витька, обожженный новым мгновенным страхом, кинулся к нему, упал рядом.

— Папа! Что с тобой? Ранило, да?!

Отец между всхлипами вытолкнул слова:

— Стимулятор. В кармане. Дай...

Витька засунул трясущиеся пальцы в нагрудный карман отцовской рубашки. Выдернул крошечную касету рубиновых ампул.

— Одну. В зубы...

Витька рванул фольгу, сунул прозрачную пилюлю отцу между зубами. Тот сжал челюсти. Зажмурился. Лицо быстро порозовело. Он открыл глаза. Витька с облегчением хотел подняться.

— Не вставай! Дурак!

— Папа, да все уже! Никто не гонится. И я их всех...

— Молчи! Ковбой зас... — Отец опять всхлипнул.

— Папа, ну что с тобой? Сердце, да?

— Заткнись!.. Сердце... — Отец опять прикрыл глаза, помолчал так несколько секунд и тихо сказал, не поднимая век: — Если ты когда-нибудь вырастешь, и у тебя, у бестолочи, будет сын, и он станет плясать под пулями, а ты не сможешь двинуться при этом... тогда узнаешь... сердце...

Щеки у отца были запавшие, с седой щетинкой, на коже — цементная пыль. И на желтой грязной рубашке пыль. А сквозь рубашку проступали ребра отцовского тела, худого и беспомощного, Витька задохнулся от жалости к отцу, просто подавился этой жалостью. Лбом упал ему на плечо.

— Папа... Ну все же... Ну нельзя было иначе, они же гнались. Один уже на платформу лез. Хорошо, что Филипп...

Он поднял лицо, посмотрел на Филиппа. Тот, с размазанной по ногам кровью, сидел съежившись, на мешке, гладил пестрый сверток.

Поезд стал тормозить.

Как они стаскивали с платформы отца, Витька потом долго вспоминал с дрожью. Надо было спешить, поезд стоял всего две-три минуты. А сил-то...

Сперва они с Филиппом за ноги и за плечи подтащили Михаила Алексеевича к правому берегу. Надо было сходить с поезда только на правый скос насыпи. Сойдешь налево — и останешься в Западной Федерации. И придется ждать нового поезда, чтобы через

него преодолеть барьер и оказаться в окрестностях «Сферы». Только так, иного пути нет...

Потом отца по мешкам придвинули на самую крошку полуметрового борта. До грани равновесия — так, что одним боком он повис над насыпью.

— Вы, ребята, не цэремоньтесь, вы, это... — говорил он. Только словами и мог помочь. — Это самое... Вниз меня, как куль... Я все равно ничего не чувствую. Бросайте...

Бросить они, конечно, не решились. Прыгнули на полотно, за рубашку и брюки потянули Михаила Алексеевича на себя. Он рухнул на них, подмял, втроем покатались под откос. Витька вскочил, стал переворачивать, укладывать отца среди лопухов.

— Па-п... ты как?

— Как огурчик... — У него был расцарапан подбородок. — А ты?.. А вы? Где этот-то? Пират кудлатый...

Филипп снова забрался на платформу и прыгнул с нее, прижимая запеленутого Петьку.

Поезд лягнул, пошел.

Филипп в трех шагах от Витьки и отца сел на корточки, развернул рубашку, смотрел на Петьку. Тихонько приподнял и опустил крыло. Отец косил глаза.

— Да-а... теперь только на суп годится, бедолага...

Филипп стрельнул гневным взглядом. Витька весь напрягся. Отец жалобно заулыбался:

— Вы, ребята, это... простите. Я, конечно, старый циник. Только... главное-то, что с вами все в порядке... А что дальше?

Витька поднялся.

— Тут в ста метрах контрольная будка с телефоном. Позвоню в «Сферу», пригонят вертолет.

— Сколько хлопот из-за старого паралитика Мохова... Да, не так я хотел вернуться...

Витька поморщился. Но не от слов отца, а потому, что снова сильно заболела пятка, отбитая о «пчелу».

— Филипп, я пошел. Ты подежурь...

Тот молча кивнул.

...Аппарат в будке молчал, будто каменный. «Порядочки...» — сказал Витька и, хромая, побрел назад, чтобы сообщить: придет теперь ковылять ему до «Сферы» пешком, а это километра три. Или два километра до шоссе, где автобусы, машины, телефоны и всякая цивилизация.

Филипп выслушал Витьку безучастно. Сидел, глядел Петьку. Отец сказал:

— Иди, за меня не волнуйся. Мне даже хорошо. Когда тело неживое, душа отдыхает. Не часто бывает такое...

Шутил еще. У Витька опять зацарапало в горле.

— Пойду.

— Иди... Постой. Сядь рядом на минутку... Слушай, ты там не поднимай шума. Скажи Скицыну или кому еще потихонечку. Мне, сам понимаешь, ни к чему торжественная встреча...

— Ладно... — Витька хотел встать. И увидел, как вдоль насыпи идет к ним, хромая, улан в порванной кожаной куртке и с разбитым лицом.

## Медные петушки

Это был тот самый улан, последний. Витька узнал его.

«Как он смог пробиться? По инерции, что ли? У самого барьера полетел с диска...»

Но эта мысль была не главной, мелькнувшей. Главная — о пистолете.

Маленький револьвер улан, видимо, потерял и теперь держал в опущенной руке тяжелый казенный «дум-дум».

Он подошел, широко расставил ноги в походных черных бутылках крагах. Был он без шлема, пыль-

но-светлые волосы прилипли к разбитому лбу. Глядя на отца, улан спросил хрипло и официально:

— Господин Михаил Мохов?

— Допустим, — очень спокойно сказал отец.

— Старший сержант спецбатальона корпуса черных улан Дуго Лобман... Никому не двигаться с места...

— Я, как видите, и не могу... А детям почему нельзя?

— Вы, господин Мохов, арестованы по обвинению в нелояльности и действиях, направленных на подрыв государственной системы Вест-Федерации. Он... — сержант качнул стволom в сторону Витьки, — за террористический акт в отношении сотрудников безопасности. Он... — это про Филиппа, — с профилактической целью.

— И кто же дал санкцию на арест? — с холдно-ватым интересом спросил отец.

— Командир спецбатальона.

— Но ведь уланы лишены права спецнадзора и судебной власти.

— Спецбатальон не лишен... Не двигаться. Я стреляю мгновенно.

Когда он говорил, губы шевелились, а побитое лицо оставалось деревянным.

— Старший сержант Лобман, — сказал отец. — Лучшее, что вы можете сделать, это обратиться к аэачу... А стрелять не надо, это весьма чревато для вас. Вы находитесь не в Западной Федерации, а на территории совершенно иного государства, где стрельба не поощряется.

У Дуго Лобмана слегка шевельнулась рассеченная бровь.

— Иное государство в часе езды от Реттерберга? Кому вы это говорите, господин Мохов!

— Скоро вы убедитесь в этом.

— В чем бы я ни убедился, господин Мохов, это не пойдет вам на пользу. Если через полчаса здесь не появится уланское подкрепление с транспортом, я буду вынужден застрелить вас во исполнение инструкции, данной мне командованием.

— Вы ответите по всей строгости законов здешней страны.

Дуго Лобман сказал без интонаций:

— Если бы я даже поверил вам и опасался возмездия, это не помешало бы мне выполнить мой долг. Я улан.

— А когда вы стреляли в мальчика на платформе, тоже выполняли свой долг?

— Да.

«Бред какой-то! — отрывисто думал Витька — На своей земле, в двух шагах от «Сферы»... Кто мог ожидать? И ведь выстрелит, гад...»

Он сидел рядом с отцом. А Филипп — спокойно, поглядывающий исподлобья — в трех шагах. Ему, Филиппу, легче было бы вскочить и броситься в межпространство. А оттуда — в «Сферу». А найдет он «Сферу»? Найдет, если объяснить... А как объяснишь? Улан не даст... Да и не успеет Филипп: надо секунды две, чтобы уйти, сержант успеет выпустить пол-обоймы... А сам Витька и шевельнуться не сможет — сразу получит пулю. Да и как оставишь отца...

Вот идиотство-то! Не страшно даже, а чертовски обидно... Одна надежда — случается, что по здешним рельсам ходит дрезина путевой службы... Или нет, не надо дрезины. Этот тип сразу выстрелит в отца... А что делать? Кинуться, вцепиться улану в руку? Срежет пулей в броске...

Никакого пополнения старший сержант Дуго Лобман не дожидается. Полчаса пройдет. И тогда... Он же дуб, слушать ничего не хочет, скотина!

— Сержант, отпустите хотя бы детей, — сказал отец.

— Это исключено.

— Но вы же должны понимать, что...

— Советую вам помолчать и...

Мелькнула серо-зеленая тень. Пистолет грохнул, пуля взвизгнула в метре от Витьки. Дуго Лобман изогнулся в прыжке за отлетевшим в сторону «дум-думом»...

— Потом... извини,— сказал Цезарь, когда Лис опять начала говорить, что надо снять комбинезон и осмотреть царапины.

Он отошел от примолкших ребят и сел на прежнее место, на выступ фундамента. Тоскливая уверенность, что Витьке сейчас очень плохо, буквально сверлила душу. Как сфокусированный пучок боли, луч такой, звенящий отчаянной тревогой, сигналом о спасении! Цезарь уткнул в ладони лицо и увидел этот луч — рубиновый дрожащий шнур, прошивающий тьмоту. Устремленный из бесконечности прямо к нему, к Цезарю...

И тогда он вскочил. Прыгнул на выступ. Крикнул. И шагнул, не открывая глаз, вдоль этого красного шнура... «А-а-а-а!» Все внутри скрутило до рвоты ужасом падения, страшного полета в никуда. Но круглой тенью возник рядом летящий в пустоте маятник, и Цезарь, спасаясь от гибели, вцепился в медную ленту. Как совсем недавно...

Маятник не поволок его по гравию. Тяжелый, как планета, шар плавно понес мальчишку в межпространственной пустоте. И... вынес его из безнадежного липкого ужаса. Как из черной духоты на свежий воздух.

По-прежнему было страшно, только с этим страхом Цезарь мог уже совладать. Мимо мчались не то искры, не то звезды, красный светящийся шнур дрожал, убегая вперед. И надо было лететь вдоль этого тревожного луча, чтобы успеть, чтобы спасти!

Успеет ли? Маятник одно свое качание проходит за семь секунд. Они ужасно долги, эти секунды полета, но хватит ли их, чтобы долететь до Витьки?.. Вот замедляется движение шара. Вот уже совсем нет скорости. Щелчок... Цезарь запутался в траве и выпустил медную ленту. Открыл глаза.

Трава, в которой он лежал, была серо-голубая. Из нее торчали плоские метровые кактусы, похожие на бумеранги с шипами. На горизонте стояли черные горы, над ними, как белый взрыв, полыхало громадное солнце. Было очень трудно дышать.

Не успел!..

Но теперь он знал, что делать.

Зажмурился, сосчитал до семи, снова увидел пролетающий шар и опять ухватился за спасительную ленту-скобу.

И новые нескончаемые секунды летел за маятником, рассекавшим вакуум. А когда брякнулся в траву, то была это луговая кашка и подорожники. И лопухи.

Цезарь вскочил. Он был уверен, что увидит Витьку. Но увидел девочку.

Голова кружилась, в глазах все расплывалось, но все-таки ясно было, что это девочка, хотя в брюках и майке. Длинная и веснушчатая. Она подхватила Цезаря, потому что его вдруг повело в сторону. Испугалась:

— Что с тобой? Ты откуда?

Цезарь выпрямился:

— А где Витька?

Она не удивилась. Но сказала почти с отчаянием:

— Я не знаю... Я сама его... жду... Я...

— Ему плохо!

— Я чувствую. Но я не пойму...

— А почему меня принесло к тебе?!

— Я не знаю,— опять сказала девочка. Слезы у нее были уже близко. Она подняла руки к щекам, и Цезарь увидел сжатое в пальцах свое зеркальце. Фонарик.

Ясно! Это луч — Витькин крик, Витькин сигнал

(110) бедствия, Витькин страх — отражался в зеркальце и потом уже летел через грани к нему, к Цезарю!

— Я знаю, ты Люся,— быстро сказал он.— Где Витька может быть? Я думал — он здесь... Или у нас, в Реттерберге?

— Да нет же! Близко! Я всегда чувствую, если близко... Может, на насыпи? Он всегда возвращается от вас по насыпи!

— Можешь сообщить кому-нибудь? Только быстро!

— Да... А ты? Ты же еле стоишь! Надо...

— Ничего не надо! Скорее!.. А это дай мне, чтобы не сбивало! — Он выхватил у Люси зеркальце, шагнул назад и спиной бросился в черный провал.

...Маятник опять принес его под мохнатое белое солнце, в серо-голубую траву. На этот раз Цезарь передохнул, прислушался к себе. В голове стоял звон, а когда закроешь глаза — в них зеленые пятна-бабочки. Но вдруг эти пятна вытянулись в линии, линии замкнулись в концентрические круги. А в кругах, как в центре кольцевого прицела, зажглась рубиновая точка. Опять потянулась к Цезарю нитью. И вдоль нити маятник понес его снова. На этот раз — точно к Витьке.

...Он упал шагах в десяти от насыпи. Хорошо упал — в куст упругого дикого укропа. И сквозь помятые стебли сразу увидел черного улана с пистолетом в согнутой руке. А потом уже Витьку, его отца и Филиппа.

Если бы он помедлил миг: если бы задумался — как лучше поступить? — неуверенность и боязнь облепили бы его, как паутина. И, спасаясь от этой паутины, Цезарь снова рванулся назад — в падение, в полет, под чужое солнце. (И мельком поразился тому, что прямой переход, которого он так отчаянно боялся, теперь все равно, что качели в парке.) На знакомой уже планете с голубоватой травой он вырвал с корнем шипастый кактус-бумеранг, взял за корневище в правую руку. За маятник придется хвататься левой. И главное — рассчитать, чтобы прыгнуть сейчас точно рядом с уланом. Справа, где оружие... Не надо рассуждать и колебаться. Похожее один раз уже было. В Верхнем парке, в прошлом году, когда инспектор Мук из тюремной школы и Корнелий Глас дрались из-за пистолета... Ну!

...Земля ударила по ногам. Кактус-бумеранг врезался в кожаный рукав улана, выстрелом рвануло уши. И покатались по траве — двое, трое, четверо. Дотянуться до вороненого «дум-дума» — до спасения, до победы!

Дуго Лобман уже почти схватил рукоять, но Витька ударил пистолет ногой. Филипп зубами вцепился улану в палец. Сержант взвыл, отшвырнул кудлатого щенка. Другого отбил локтем, вскочил... Но мальчишка с головой, похожей на громадный одуванчик, стоял в трех шагах и держал пистолет двумя руками на уровне живота.

Тот самый пацан с Пятой Садовой, из-за которого прошлым летом такой сыр-бор!

— А! Цезарь Лот!

— А! Сержант...

Дуго Лобман шагнул к мальчишке, но дважды ахнул «дум-дум» и дважды пули рванули траву у тупых уланских башмаков. И в том же ритме, как бы на счет «три», ствол вскинулся выше, в грудь, и Дуго понял, что третий выстрел прозвучит без малейшей задержки. Он заорал и вскинул руки...

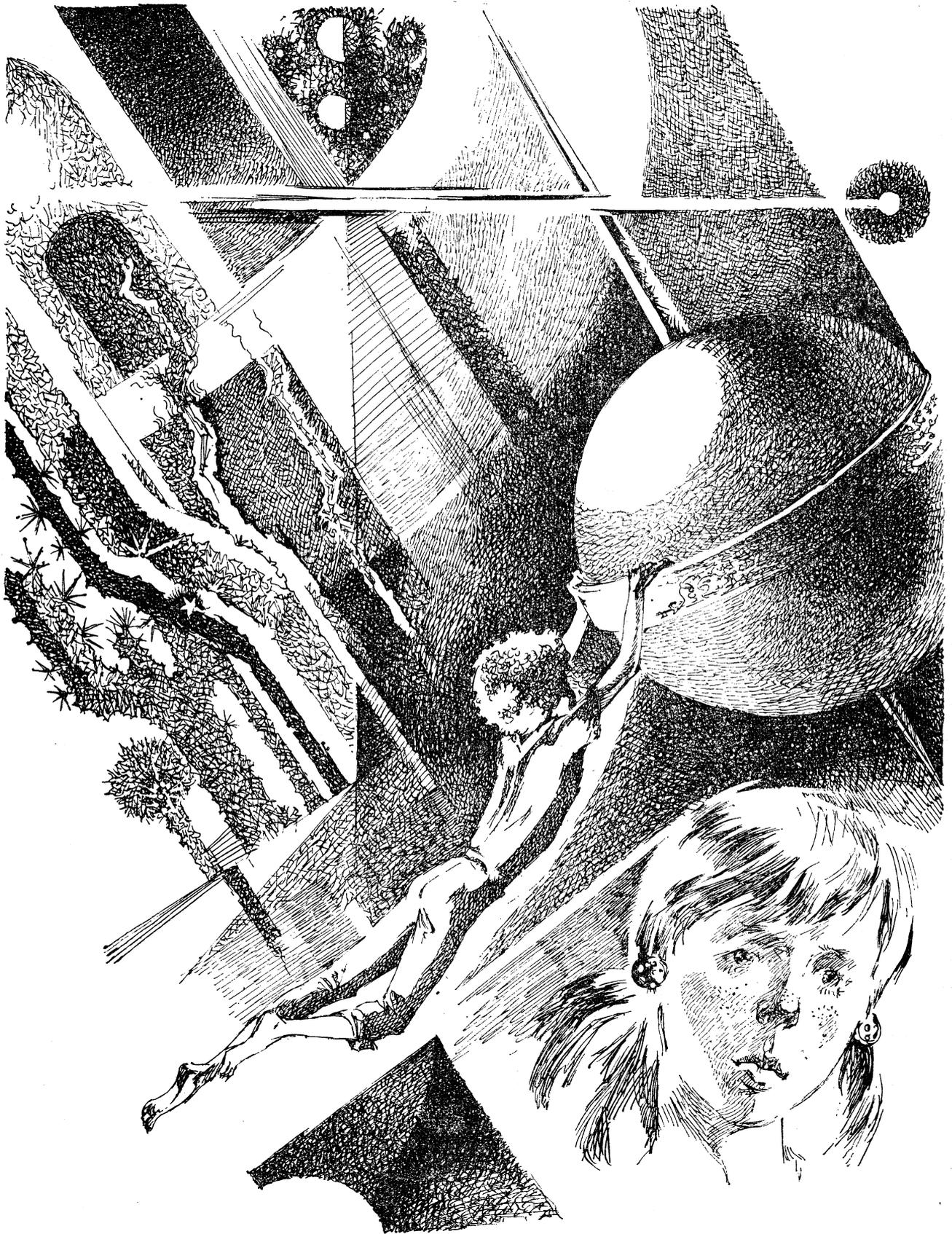
Цезарь не нажал спуск. Мотнул головой, словно отогнал муху. Потом сказал громко, но сипло:

— Пять шагов назад! Быстрее, пожалуйста. Или...

Дуго спиной вперед старательно шагнул пять раз. Цезарь смотрел на него поверх ствола.

— Что теперь с ним делать, Михаил Алексеевич?

— Пусть подымается на насыпь и идет к чертовой матери. Только чтоб не оглядывался. Будет нужно, его догонят и возьмут... — Мохов сказал это по-русски,



и Цезарь понял только «к чертовой матери». Вопросительно двинул плечом.

Витька встал с ним рядом. Приказал сержанту:

— Подымитесь на рельсы и ступайте прочь. Не оглядывайтесь и не вздумайте возвращаться.

— Вы усугубляете вину — мрачно сообщил Дуго Лобман и медленно опустил руки.

— Пошел вон, — сказал отец. — Цезаре, стреляй, если не пойдет.

Дуго Лобман взглянул на Цезаря и полез наверх, к полотну. Там он оглянулся, несмотря на запрет, и пошел по шпалам. В ту сторону, где, по его мнению, был Реттерберг. Все смотрели вслед. Филипп отплевывался и вытирал губы — видимо, уланский палец был противный...

— Ну и ну... — произнес Михаил Алексеевич Мохов. Цезарь уронил пистолет и сел в траву. Увидел мертвого Кригера, глянул на Филиппа, ничего не сказал. Придвинулся, стал гладить упругие медные перья. Филипп тихонько заплакал.

Так они сидели довольно долго.

Витька, наконец, спросил у Цезаря:

— Сумел, значит?

Цезарь кивнул. Растерянно повел пальцами по груди, словно что-то искал. И нащупал на шнурке пуговицу, уцелевшую во всех передрагах.

— Молодец ты, Цезаренок, — сказал Витька без боязни обидеть Чека, потому что теперь они и в самом деле были равные. Или, по крайней мере, Чек не был младшим, подопечным. И он не обратил даже внимания на «Цезаренка». Он словно прислушался к чему-то и вспомнил:

— Кто-то должен отправиться к Башне. Там сходят с ума от беспокойства.

Это был Цезарь как он есть. Витька-то и думать забыл о Пограничниках, которые ждут.

— Я не смогу... без Петьки... — всхлипывая, сказал Филипп.

— Но... ты же раньше летал и один.

— А сейчас не смогу...

Витька, разумеется, не мог оставить отца.

— А я... — Цезаренок поморщился, зажмурился. — Боюсь, что один, без вас, я сразу не найду дорогу...

Далеко-далеко возник и стал нарастать шум винта. Вдоль насыпи шел маленький бело-синий вертолет. Он сел в двадцати шагах, и Витька увидел, как первой выпрыгнула Люся. Потом Скицын, молодой толстый доктор Хлопьев и пилот Владик.

Появлению Люси Витька ничуть не удивился. Слово так и должно было случиться. И он сильно обрадовался ей. Растаяла наконец, пропала заноза, которая позади всех мыслей, страхов и тревог все равно, оказывается, сидела в душе — та память о неудачном разговоре в храме Итта-дага. Теперь все стало проще, легче. И Витька даже не огорчился оттого, что Люся лишь мельком взглянула на него и бросилась к Филиппу:

— Ой, смотрите, здесь мальчик весь в крови!

— Это не моя, от петуха, — неласково сказал Филипп. Оставьте, мол, меня в покое. Люся обернулась к Цезарю:

— Дядя Женя, а вот еще один, весь ободранный!

Доктор Хлопьев, однако, сохранил спокойствие:

— Ободранный, но на ногах... А с тобой что, Алексеевич?

— Паралитическая ампула. Одно хорошо, низко попали, сволочи, я как раз встал, спиной к окну. А то бы сейчас дрыхнул непробиваемо... Да ты, Женя, не суетись, дня через три само пройдет. А противоядия все равно нет.

— Это там нет. А у нас будешь вечером танцевать лезгинку, знаю я эти ампулы... Дай-ка, дорогой, я вкачу тебе первую дозу эликсира... А ты, молодой

человек, скидывай свой десантный наряд и приготовься орать. Антисептик — зелье кусачее.

— Не надо, мы сами, — сказал Витька.

— А, это Виктор Михайлович со своей электротерапией! Ну, валяйте...

Витька помог Цезарю снять комбинезон. Мелкие царапины Цезарь ловко убирал ладонью сам, а широкие багровые ссадины «заделывал» горящим шариком Витька. Шарик этот зажегся у него на мизинце послушно и сразу...

Скицын поднял из травы пахнувший теплым железом и порохом «дум-дум». Вопросительно посмотрел на Витьку. Витька молча махнул через плечо — в ту сторону, где далеко-далеко маячила на насыпи черная фигурка уходящего улана. Скицын присвистнул. Люся переводила с него на Витьку круглые перепуганные глаза.

— Ох, как мне это не нравится, — сказал Скицын.

— А кому нравится, — сказал Витька.

Скицын подошел к Филиппу, наклонился над Кригером.

— Отлетался бедняга, открычал свое... Как же это, а, ребята?

— Потом, — отозвался Витька.

Вертолет был маленький, всех забрать не мог. Внесли отца, сел доктор Хлопьев. Пилот Владик сказал, что за ребятами и Скицыным вернется через полчаса.

Улетели...

Филипп тихо спросил:

— Давайте похороним Петьку...

— А там, у себя, не хочешь? — нерешительно спросил Витька.

Филипп помотал головой.

— Мне его не унести... мертвого...

— Пусть лежит в земле, на которой вывелся на свет, — сказал Скицын. Вынул из кармана широкий складной нож, вырезал квадрат дерна, стал рыть яму. Мальчишки и Люся помогали кто чем мог — палками, найденным в траве рельсовым костылем, крышкой от затвора «дум-дума». Земля была мягкая, копали без труда.

Витька коротко рассказал Скицыну, что было.

Скицын отряхнул о брюки ладонь, провел ею по волосам Цезаря, в которых застряли земляные крошки.

— Значит, вот как оно, Командор... Сразу получил крещение...

— Да у него и раньше хватало крещений, — хмуро напомнил Витька.

Цезарь все еще был без комбинезона — маленький, щуплый, молчаливый. Он старательно вгрызался в землю. Под майкой суетливо дергались колючие лопатки, а у груди качалась медная пуговица. После слов Скицына Цезарь вдруг отбросил затворную крышку, съезжил в лебеду, спрятал лицо и затрясся от плача...

— Ну, ты чего... Чек... — потерянно сказал Витька.

— Чего!.. Чего!.. — Цезаря сотрясали рыдания. — А чтобы... быть Командором... значит, надо стрелять в людей, да?!

— Чек... ты же не стрелял... Ты не в него!

— Да!.. А если бы он не поднял руки! Я бы трезью пулю... в него... Потому что не было выхода!..

— Чек... Но выхода же правда не было, — беспомощно проговорил Витька. И подумал, что он тоже стрелял в улана. Молниями. Правда, он не хотел убивать. Он рассчитывал, что они просто полетят с дисков от взрыва перед лицом. Но ведь могли сломать шеи... И, может быть, сломали... А что было делать?

— Чек... Они же первые полезли...

— Ну и пусть!.. Я все равно не хочу никакого командорства! Я же не просил!..

Скицын в сердцах воткнул нож в землю.

— Дурек я... Цезарь, я не то сказал... про командорское крещение... Ну, а если бы тебя не сделали

Командором, разве ты не кинулся бы на помощь к Витьке, к Филиппу? Посуди сам...

Цезарь стал вздрагивать реже. Сердито вытер голым локтем лицо. Всклипнул еще, пробормотал:

— Я как-то не подумал об этом... извините...

Не место, не время было для смеха, но Витька еле-еле задал улыбку...

...Филипп стал опять заворачивать Петьку.

— Так в рубашке и положишь? — спросила Люся. Он нахмуренно кивнул.

— Тогда хоть петушка отцепи, — сказал Витька. Но Филипп молча покачал головой. И опустил завернутого Петьку в яму.

Тогда и Витька отцепил своего петушка, положил значок на рубашку. И Цезарь — с перемазанным лицом, насупленный, стыдящийся недавних слез — подобрал комбинезон, снял с него петушка, положил рядом с Витькиным.

Скицын свинтил с безрукавки синий квадратик с белой буквой — значок «Сферы». У Люси никакого значка не было. Она подумала и сняла с мочки уха клипсу — божью коровку...

Яму засыпали, сверху на плоский холмик положили квадрат дерна. Постояли с минуту над последним приютом Кригера... Улетел он, рыжий бродяга, за такие грани, откуда его никто не вернет. Сколько не кричи на весь межпространственный вакуум: «Петька, где ты?!» — не откликнется...

— Нам надо возвращаться к Башне, — шепотом напомнил Цезарь. — Мне и Филиппу...

— А Филипп... Ты сможешь?

— Да... если с Чеком...

— Конечно. Мы же вместе, — сказал Цезарь.

Скицын быстро посмотрел на Витьку, словно опять сказал: «Ох, не нравится мне это...»

— Да у Башни-то совершенно безопасно, — обнадежил его Витька.

— Нигде не бывает совершенно безопасно, даже в нашей благословенной «Сфере»... Кстати, с чего ты взял, что на пятьдесят девятом была «пчела»? Сам перепутал и крик поднял...

— Не перепутал я... — Витька слабо улыбнулся. — Слушай, а нос у тебя вчера не сворачивало на другую сторону?

— Витторио, ты нахал...

— Да я серьезно... Потому что все связано.

— Что связано?

— Все, что было, — невесело усмехнулся Витька. — Ерстка... Вдали застрекотал вертолет.

## Эпилог

### Человек на рельсах

Дома Витька отыскал три запасных медных петушка — для Цезаря, для Филиппа и для себя. Но скоро значки понадобились еще. Потому что Люся привела к Пограничникам трех ребятшек — Илью, Ножику и его сестренку Тышку. Из той компании, которую вывез в прошлом году из «Проколотого колеса» Витька. Теперь они учились в Яртышском интернате.

Петушки — дело нехитрое. Юр-Танка привез их целую горсть, когда в очередной раз встретились у Башни.

Привез он и грустную вест: Командор Находкин умер, и его похоронили рядом с церковью Матери Всех Живущих.

Юкки с сестренкой не появлялись, у них было много дел — Юкки стал командиром мальчишечьего отряда трубачей, и они несли вахту на стенах Юр-Танка-пала, потому что племянник Хала темный князь Саддар опять собирал по дальним урочьям конные сотни... А сестренка Юкки учила местных малышей

играм и песням, о которых до той поры не ведал никто от Крайнего моря до Дикой долины.

Зато другие Пограничники теперь сходились вместе более часто, чем прежде. В «Сфере», где Витька жил с отцом, в Реттерберге и даже княжестве Юр-Танка стояла глубокая осень, а здесь по-прежнему цвели травы и летали в жарком воздухе стрекозы. Собираться стало теперь проще потому, что Цезарь всех научил переходу в такте Большого Маятника. Не сразу, но научил. Даже яртышских ребят и Люсю. У нее, кстати, первый переход получился даже лучше, чем у Лис, которая застряла сначала на каком-то корявом и горячем астероиде...

Витька сперва был доволен, что все так хорошо складывается. Но результат оказался совершенно неожиданный: Люська по уши влюбилась в Цезаря. А Цезарь... он, бедняга, видимо, тоже. И радовался, и маялся. И сказал, наконец, Витьке чуть не со слезами:

— Это ставит меня в крайне двусмысленное положение...

— Да чего уж там... — вздохнул Витька.

Дело в том, что он все больше невольно заглядывался на Лис. И чувствовал себя поэтому виноватым перед Рэмом. И был счастлив, когда Лис ему по секрету сообщила, что Рэм «окончательно спятил из-за этой девятиклассницы Вальки, самой большой избражалы в Луговом...»

Конечно, все эти душевные терзания считались тайными, но на самом деле...

— Так у нас все свихнется от этой дурацкой влюбленности, — озабоченно сказал Ежики Ярику и Филиппу.

— Ну уж фиг, — отозвался Филипп. — Я, по крайней мере, из ума не выжил...

Он подрост, посерьезнел, Филипп Кукушкин. Стал молчаливее. Он очень тосковал по Петьке. Казалось бы, чем больше проходит времени, тем глуше печаль. Но у Филиппа было не так. Чуть закроет глаза — и кажется, что опять гладит он Петькины перья и тербит налитой гребень. «Ко-о...»

— Дядя Дима, — насупленно сказал он однажды, когда засиделись за своей многомерной и хитроумной игрой, — а можно по Петьке устроить службу? Ну, как это называется у вас, поминанье, что ли.

Отец Дмитрий смеяться не стал, но сказал строго:

— Он, конечно, петух был знаменитый, да посуди сам, как же это сделать? Панихиды служат только по людям, ибо сказано, что лишь человек имеет бессмертную душу и надобно молиться, чтобы она обрела царствие небесное...

— Но можно ведь просто так, — пробормотал Филипп. — Не надо ему царствия...

Про бессмертие человеческих душ он никогда не задумывался, но что касается Петьки... Ушел же Кригер от гибели при эксперименте в «Сфере». Может, и сейчас... Ну, если не сам Петька, то, возможно, его тень где-нибудь летает в дальних пространствах. Иногда, во время своих путешествий по ступеням стеклянной лестницы, Филипп даже вздрагивал от ожидания: вот-вот шумно спланирует Петька из пустоты, заворкует радостно. Не случилось пока такого и, наверно, не случится. Но вдруг...

— Жалко вам, что ли, — уже с нехорошим щекотаньем в горле прошептал Филипп.

— Да не жалко, Филюшка, а не по обычаю это. Не по закону... Да и к чему тебе? Ты же самый что ни на есть неверующий!

— А я разве для себя? Я для него. Это... ну, как прощание. А то закопали и будто не было... Ну, можно свечку зажечь?

— А почему же в церкви-то обязательно?

— А где? На улице? Задует же...

Филипп лег щекой на плюшевую скатерть и стал смотреть в черное окно. Ноябрь был, поздний вечер.

— Грехи наши... — сказал отец Дмитрий. — Пошли...



[216]

Они долго шагали по пустой и темной улице Лугового. Подморозило, летели в лицо невидимые редкие снежинки.

Отец Дмитрий отпер тяжелую дверь. Потом отодвинул вторую, стеклянную.

— Свет зажигать не будем, а то увидят с улицы...

Они остановились у стены. Желтоватое пятно от фонарика прошло по портрету печальной такой, большеглазой тетеньки с мальчиком на руках. Как на образке, что носит Юр-Танка. Картина эта, украшенная чеканным металлом, висела в обрамлении белокаменной старинной резьбы. Круг света пошел по резьбе вниз — по сплетениям цветов и листьев. В полуметре от пола гнулся широкий карниз. Квадратная полуколонна с резьбой опиралась на него, и здесь, между каменных веток, завитков и соцветий был вплетен в орнамент задорный, с растопыренными крыльями и раскрытым клювом петушок.

— Вот тут и поставь... Держи... — Отец Дмитрий протянул свечку. Тонкую, будто карандаш. Чиркнул зажигалкой. Филипп осторожно зажег фитилек, потом капнул воском на карниз, прилепил свечку. Огонек трепетал и подмигивал, петушок будто шевелился. Он был непохож на Петьку... но все-таки чуть-чуть похож... Филипп рукавом куртки вытер лицо, стал смотреть и молчать.

Свечка горела быстро и когда убавилась до половины, отец Дмитрий сказал:

— Пойдем...

— А гасить не надо.

— Догорит и сама погаснет.

Они вышли на крыльцо. Стало еще холоднее, появились звезды.

— Ну и что? Проводить до дому? — спросил отец Дмитрий.

— Не... До свидания. Спасибо... — выдохнул Филипп. И с крыльца шагнул в межпространственный провал.

Когда ему бывало грустно, он летел не на стеклянную гестницу, а в какие-нибудь глухие и печальные места. Среди них было и такое: болотистая равнина под осенним серым небом, а на ней бесконечная, очень прямая насыпь с рельсами. По этой насыпи шел заросший человек в истрепанной кожаной одежде мотоциклиста. Шел и шел, днями и ночами. Не ведая конца.

Однажды Филипп рассказал о нем отцу Дмитрию. С каким-то смущением, с виноватостью даже.

— Все идет, идет. Не может ни сесть, ни упасть...

Отец Дмитрий ответил без привычной мягкости:

— Сам себе выбрал такое... Он стрелял в детей. Возможно ли более черное дело?

— Он говорит, что не виноват, потому что выполнял приказ, — сумрачно объяснил Филипп на следующий день.

— Никаким приказом нельзя оправдать этот грех...

... — Он говорит, что все понял и больше никогда не будет, — сказал Филипп еще через неделю. — Он просит, чтобы ему простили грех.

— Грех может быть отпущен, если человек раскаялся.

— Но он же говорит... Он...

Дмитрий Игоревич резко выпрямился:

— Он лжет! Он просто хочет избавиться от тяжелого пути. При чем здесь отпущение грехов? Если человек раскаялся всей душой и ужаснулся своим делам, путь кончится и сам отпустит его...

...А пока через грани Кристалла, через многие пространства все еще идет человек в черной коже. Тот, кто стрелял в детей и кто, если прикажут, будет стрелять снова.

И при мысли об этом Цезарь Лот иногда обрывает смех или разговор, хмурится и крутит на шнурке тяжелую медную пуговицу.

«Аэлит»-90

Артур Конан Дойл

повесть

# Врабига Детной Стороны



ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО АЛ. АЛ. ЩЕРБАКОВА

РИСУНКИ Д. М. ЛЕБЕДИХИНА

**Т**е, кто читал журнал «Стрэнд» зимой 1927—1928 гг., припомнят, что для исследования жизни в морских пучинах была образована экспедиция, которую возглавил профессор Маракот. Опускаемая на тросе герметическая кабина, в которой находились сам профессор, его ассистент Сайрес Хэдли и механик-американец Билл Скэнлэн, потеряла связь с кораблем-маткой и погрузилась на морское дно, где экипаж был спасен подводным племенем людей, атлантами, которые благополучно передвигались по дну в прозрачных колпаках, снабженных запасом кислорода и закрепляемых на голове. Ниже мы продолжаем рассказ о приключениях невольных первооткрывателей в изложении Сайреса Хэдли.

## 1. В ГРОЗНОЙ БЕЗДНЕ

Мы, то есть я, Сайрес Хэдли, стипендиат Родса в Оксфорде, а также профессор Маракот и даже Билл Скэнлэн, пережившие замечательное приключение на дне Атлантики, где в двухстах милях к юго-западу от Канарских островов состоялся наш удачный спуск под воду, который привел не только к пересмотру наших взглядов по вопросам жизни и давлений на больших глубинах, но и к открытию древней цивилизации, выжившей в невероятно трудных условиях,— получили множество писем от самых разных людей. В этих письмах нас постоянно просят более подробно рассказать о пережитом. Понятно, моя первоначальная оукопись была весьма поверхностна, хотя в ней и нашла отражение большая часть фактов. Однако о некоторых там не упоминается, и прежде всего — о выдающемся эпизоде, касающемся Владыки Темной Стороны. При описании этого случая речь неминуемо зашла бы о фактах и выводах столь исключительного свойства, что мы вначале решили вообще не предавать его гласности. Однако теперь, когда наука одобрительно отнеслась к нашим выводам (а общество, смею добавить, одобрительно отнеслось к моей невесте), наша неизменная правда не вызывает сомнений, и мы

(216) можем, наверное, позволить себе рассказ, который в первый момент, возможно, и отвратил бы от нас симпатии общественности. Но прежде чем обратиться к этому из ряда вон выходящему происшествию, я хотел бы сначала вспомнить кое о каких минутах нашего удивительного многомесячного житья-бытья в погребенном доме атлантов, которые с помощью стеклоподобных колпаков с запасом кислорода способны расхаживать по дну океана с той же легкостью, с какой лондонцы, которых я сейчас вижу из своих окон в отеле «Гайд-парка», бродят среди цветочных клумб.

Долгое время после того, как этот народ приютил нас, переживших смертный страх падения в бездну, мы считались скорее пленниками, нежели желанными гостями. И вот я хотел бы представить отчет о том, почему отношение к нам полностью изменилось и как благодаря славному подвигу доктора Маракота мы оставили там о себе память, достойную занесения в гамашние анналы как о некоем сошествии с небес. Атланты остались в неведении о способе и моменте нашего отбытия, которому они по возможности воспрепятствовали бы; так что, несомненно, среди них уже бытует легенда о том, что мы вознеслись в некие горные сферы, унеся с собой прекраснейшую избранницу, лучший цветок их подводного племени.

Теперь пора перечислить по порядку некоторые чудеса этого поразительного мира и, прежде чем перейти к описанию приключения приключений — пришествию Владыки Темной Стороны, навсегда оставившему след в каждом из нас, также рассказать и о некоторых случившихся с нами происшествиях. Мне некоторым образом представляется, что стоило бы подольше побыть в Маракотовой бездне, так много там таинственного, загадочного, до конца не понятного. А ведь мы быстро овладевали началами языка атлантов, так что еще немного, и в нашем распоряжении оказались бы куда более обширные сведения.

На собственном опыте это племя было научно, чего надо бояться, а чего — нет. Помнится, однажды поднялась внезапная тревога, и мы все в наших кислородных колпаках высypали на дно океана, хотя причина тревоги и цель выхода были нам совершенно неизвестны. Однако на лицах окружающих читались страх и растерянность, тут ошибки быть не могло. Когда мы выбрались на равнину, навстречу нам стали попадаться греки-углекопы, враспынную стремящиеся

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Любителям фантастики хорошо известен роман А. Конан Дойла «Маракотова бездна». Но только те из них, у кого душа радуется над ветхими журналами, когда их удается достать, смутно чувствуют, что с этим романом у нас что-то не так.

Таким знатокам известно, что в журнале «Всемирный следопыт», в двух номерах за 1929 год, имелась публикация «А. Конан Дойл. Маракотова бездна. Часть вторая». И все. И дальше начинаются загадки. С тех пор роман много раз издавали у нас, но почему-то без этой «второй части». Почему? Почему не обозначали, что печатается только первая часть? Или эта «вторая часть» — просто мистификация, уж бог весть кого ловили на удочку: протака-редактора или протака-читателя?

Те, кто судит не по библиографии, а все-таки добрался до старых подшивков, недоумевают еще больше. Странная как-то эта «вторая часть». Такое впечатление, что текст сгордили из отрывков разного достоинства, связи между ними и общей линии нет, обещанный в первых абзацах персонаж — «Владыка Темного Лица» — по ходу изложения переименовывается во «Владыку Черного Лица» и обратно и, несмотря на заманчивые посулы, так и не появляется на страницах. Может быть, Конан Дойл тут ни при чем? Может быть, кто-то без его ведома не в склад, не в лад использовал забракованные ходы из ав-

торских черновиков? И у нас этот текст не переиздают, почтительно оберегая доброе имя общелюбимого автора?

В извещении к окончанию «второй части» редакция «ВС» пишет, что «вынуждена была прибегнуть к сокращению отдельных кусков... этой части романа, совершенно неуместных на страницах журнала и нелепых с точки зрения нашего читателя», досадует «за талантливого писателя, который... докатился до мракобесия». Поричать автора от имени читателя, который не читал,— прием дурного тона. Под эти песни в худые времена уродовали «ошибочные» произведения. Так что за «ошибки» такие совершил Конан Дойл? И не заботами ли более мудрых, чем он, цензоров «вторая часть» приведена в жалкое состояние?

В течение долгих лет вопросы знатоков оставались без ответов. А подавляющая часть читателей вообще ничего на сей счет не знала и помнит «Маракотову бездну» такой, как она, например, представлена в «Собрании сочинений» 1966 года: пять глав, письма Сайреса Хэдли некоему другу, радиogramмы и записи в судовых журналах, репортаж Кэя Осборна с места событий.

Как же обстояло дело в действительности?

Роман «Маракотова бездна» увидел свет в лондонском журнале «Стрэнд» осенью-зимой 1927 года и был тут же переведен и напечатан у нас журналами «Во-

круг света», «Мир приключений» и «Всемирный следопыт», причем последний отстал от собратьев на два месяца (зато именно перевод, опубликованный «Следопытом» и принадлежащий перу Е. Толкачева, с тех пор у нас перепечатывается практически без изменений).

В апреле 1929 года «Стрэнд» начал публикацию нового произведения А. Конан Дойла «The Lord of the Dark Face» («Владыка Темной Стороны»). В своем извещении редакция связала это произведение с «Маракотовой бездной», предупредив читателя, что перед ним рассказ все того же Сайреса Хэдли «о приключениях невольных первооткрывателей». То есть сам А. Конан Дойл нигде не называл «Владыку» «второй частью романа». Лишь при чтении убеждаешься, что в отличие, скажем, от многих рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе «Владыка» самостоятельное существование не может — столькими нитями он связан с «Бездной» и настолько завершает ее логически. Но редакция «Следопыта» все решила за читателя и преподнесла ему свое мнение как авторскую волю.

Получив апрельский номер «Стрэнда», «ВС» приступил к публикации немедленно и уже в своем майском номере напечатал начало «Владыки», сведя задержку до минимума (видимо, боясь реванш за опоздание с публикацией «Бездны»). Но напечатал с сокращениями. Исключены были все абзацы, где Хэдли говорит о своих

к дверям поселения. Они так спешили и при том потратили столько сил, что с ног валились в донный ил, и стало ясно, что мы — это самый настоящий спасательный отряд, идущий на выручку тем, кто пострадал, и подгоняющий оставших. Не видно было ни оружия, ни приготовлений к отражению надвигающейся опасности. Вскоре углекопов выстроили вереницей, и, когда последнего из них протолкнули в дверь, мы посмотрели туда, откуда они добирались. Там играло зеленоватое свечение, исходящее из недр двух клубящихся облаков с растрепанными краями, облака скорее плыли по течению, чем намеренно двигались к нам. Хотя они были почти в полумиле, наших спутников при этом зрелище охватил панический страх, они сбились у двери, стараясь поскорее укрыться за нею. Впрямь делалось не по себе от самого зрелища приближения этих таинственных образований, вызвавших такое смятение, но насосы работали быстро, и вскоре мы оказались в безопасности. Над притолокой двери была вделана в стену громадная прозрачная хрустальная плита футов десяти в длину и двух в ширину, оборудованная светильниками так, чтобы наружу бил поток яркого света. Взобравшись по специальным ступенькам, несколько человек, в том числе и я, прильнули к этому грубо сделанному окну. Я увидел, как до двери докатились и замерли странные, мерцающие зеленым светом круги. При этом зрелище атланты по обе стороны от меня залопотали от страха. Одна из туманоподобных тварей, переливаясь и мерцая в воде, потянулась к окну. Мгновенно мои соседи заставили меня пригнуться, но, видимо, по моей небрежности часть моей шевелюры так или иначе не избежала вредного воздействия, которое, возможно, распространяли эти причудливые твари. Посекшаяся, обесцвеченная прядь волос по сей день портит прическу.

Через недолгое время атланты набрались духу отворить дверь и, когда, наконец, отправили наружу лазутчика, то провозжали его рукопожатиями и шлепками по спине, словно идущего на подвиг. Лазутчик доложил, что окрестности очистились, сообщество сразу повеселело, неведомый набег как бы позабылся. По тому, как часто звучало вокруг «пракса», повторяемое с разными оттенками страха, мы заключили, что так именуются эти твари. Один профессор Маракот был в восторге от происшествия, его с трудом удержали от вылазки с бреднем и стеклянным

(217) горшком. «Ранее неизвестная живая форма, частично органическая, частично газообразная, но явно обладающая интеллектом», — таково было его обобщенное заключение. «Блямство сучее», — менее научно выразился Скэнлэн.

Двумя днями позже, когда мы «пошли по раки», как это у нас называлось, то, прочесывая глубоководные травы сачками на мелкую живность, мы внезапно наткнулись на тело одного из углекопов, без сомнения, застигнутого этими причудливыми тварями во время бегства. Его прозрачный колпак был разбит вдребезги, а для этого требуется огромная сила, стеклоподобное вещество обладает исключительной прочностью, вы сами убедились в том, не вдруг добравшись до моих записок, заключенных в шар, сначала показавшийся вам стеклянным. Глазницы трупа были пусты, в прочих отношениях он остался неповрежденным.

— Типичное поведение лакомки, — сказал по возвращении профессор. — В Новой Зеландии водится ястреб-попугай, он способен убить ягненка, чтобы отщипнуть всего-навсего клочок почечного сала. И эта тварь точно так же охотится на человека ради его глазных яблок. В высотах неба и в пучинах вод Природа знает лишь один закон, и это, увы, безогляднейшая жестокость.

Там, на дне океана, было много тому примеров. Вот один из них. Мы неоднократно наблюдали загадочную борозду в донном дребзду, похожую на след прокатившейся бочки. Мы указали на нее нашим спутникам-атлантам, а когда научились задавать вопросы, попытались выяснить, что за существо могло оставить подобный след. Сообщая название, наши друзья произнесли те особые щелкающие звуки, которые обычны для речи атлантов, но не воспроизводимы ни европейским речевым аппаратом, ни европейской письменностью. Приблизительно их можно передать буквосочетанием «криксчок». Что касается внешнего облика, в таких случаях в нашем распоряжении всегда был мыслеотобразитель атлантов, посредством которого наши друзья были способны воспроизвести нагляднейший образ всего запечатленного в их умах. Этим способом они изобразили нам весьма причудливую морскую тварь, которую профессор приблизительно определил как исполнителем морского слизня. Он был похож на невероятных размеров гусеницу с толстым

чувствах к атлантской девушке. Именно они связывают текст первой главы «Владыки» в единое целое. Без них текст рассыпался на несвязанные обломки-эпизоды чисто приключенческого свойства. Редакция «ВС» этим пренебрегла.

Но вот получен майский номер «Странда» с окончанием «Владыки», под перевод которого уже отведено место в июньском номере «ВС». И выясняется, что этот текст «не годится». То ли в соответствии с воззрениями той поры он и вправду оказался перегруженным «чертовщиной и черной магией» (нам, обильно потчующимся достижениями в жанре «фэнтези», он таким не кажется), то ли ужаснули политические высказывания Владыки, в то время да и много позже недозволительные на страницах наших журналов (за куда более безобидные речи люди без веры гадали в черной тени ОГПУ). Возможно, и то, и другое сказалось, и «первенство», которое автор этих строк отводит «политике», — это просто аберрация от наших нынешних умонастроений.

И как же поступила редакция «ВС»? Она выбросила «не годящиеся» страницы (а это более трети текста подряд), известила читателей об ампутации и (вот уж об этом никого не извещая) заменила ампутированное кушей вставкой-спрозетом неизвестно чьего сочинения. Об уровне «протезирования» можно судить по фразе «Мы решили взять в работу профессора и поставить вопрос ребром», немислимой в

устах Хэдди, питомца Оксфорда, да, пожалуй, и в устах кого-либо за пределами нашего отечества.

Столь жестокая «перестройка» повлекла за собой полную гибель «Владыки» в его русском варианте, объявленном «второй частью». «Владыка» принял вид скандально убогой поделки, недостойной прочтения, а уж тем более — запоминания. Особенно со стороны неускудного читателя той поры, с предупредительным учетом «точки зрения», которого кромсали текст: то ли по указке цензуры, то ли и не дожидаясь таковой, сейчас поди, дознайся.

Вероятно, на протяжении последних сорока лет многим составителям различных изданий хотелось дополнить «Маракотову бездну» «второй частью». Тем более, что речь идет фактически о последних страницах беллетристики, написанных А. Конан Дойлом. Но стоило им прочесть разрысанный на страницах «ВС»-1929 «шедевр», как у них опускались руки. И немудрено.

Между тем поиск подлинного текста «Владыки», например, в Ленинграде все эти годы не представлял особых трудностей: комплект «Странда» за 1929 год лежал в запасниках Публичной библиотеки, ни в какие «спецхраны» его не прятала.

Автора этих строк известил о существовании «второй части» председатель ле-

нинградского КЛФ («Миф-XX» А. Сидорович. Возможный (и оказавшийся точным) адрес «второй части» через писателя А. Д. Балабуху подсказала редакция «Уральского следопыта». Большое всем спасибо! Дальнейший поиск переводчик вел сам. От отчаяния и веры в то, что Артур Конан Дойл просто неспособен был произвести на свет такое убожество, как эта самая «вторая часть».

Сейчас в Ленинграде готовится к выходу издание, в котором «Владыка Темной Страны» займет свое законное место неразлучного спутника «Маракотовой бездны». Но «Уральскому следопыту», журналу, почитаемому наследником «Всемирного», чьей прочной доброй славы отнюдь не затмевает озорчатый конфуз с Конан Дойлом, право на экстренную публикацию «Владыки» принадлежит несомненно и безраздельно.

Нет необходимости предвирать текст критическими оценками или разборками. Их время наступит позже. Хотелось бы только отметить, что текст от слов «Мы резко обернулись и замерли от изумления» и до слов «Так завершилось наше совершенно невероятное приключение» (включительно) никогда и ни в каком виде не публиковался на русском языке. Читатели «Уральского следопыта» прочтут его впервые в нашей стране.

Ал. Ал. Щербаков

и жестким то ли волосатым, то ли щетинистым покровом, с торчащими на рожках глазами. Завершив портрет, наши друзья жестами выразили величайший страх и отвращение.

Но как мог бы предсказать любой, кто знает Маракота, это только послужило к разжиганию его уной страсти во что бы то ни стало определить вид и чодвид неведомого чудища. И я ничуть не удивился, когда во время следующей же экскурсии он остановился там, где на дне ясно различался отпечаток туши, и явно с обдуманном намерением повернул к зарослям морской травы и базальтовым нагромождениям, куда, как казалось, вела эта колея. Как только мы покинули равнину, след, разумеется, прервался, но там уже имелся естественный промежуток между скал, который, надо думать, вел к логову чудища. Мы все трое были вооружены острогами, которые обычно носят с собой атланты, но вряд ли их можно было считать надежным оружием при встрече с неведомой опасностью. Однако профессор шагал впереди, и нам оставалось лишь следовать за ним.

Ущелье в скалах шло на подъем, его стены были образованы грандиозными завалами вулканических débris, заросших изобилием длинных красных и черных lamellaria различных форм, характерных для абиссальных глубин. Тысячи красивых ascidia и иглокожих всевозможных радующих глаз расцветок и самых фантастических очертаний проглядывали сквозь растительность, кишевшую причудливыми членистоногими и кишечнополостными. Продвижение было медленным, ходить на глубине вообще не так легко, и, вдобавок, подъем был довольно крут. Внезапно тварь, за которой мы охотились, явилась нашим глазам, и это оказалось малопривлекательное зрелище.

Чудище торчало наполовину из логова, представлявшего собой углубление в груде базальта. Футов на пять над глыбами возвышалось волосатое туловище, видны были желтые, отсвечивающие, как агаты, глаза размером с блюдце, они заворочались на длинных рожках при отзвуках нашего приближения. Но вот чудище стало как бы вывинчиваться из своей норы, его грузное тело заходило волнами, как у гусеницы. На миг оно приостановилось, подняв голову фута на четыре над глыбами, словно поподробней рассматривая нас, и, пока оно оставалось неподвижным, я разглядел, что у него по обе стороны шеи имеются пятна, похожие на рубчатые подошвы теннисных туфель, с такими же полосами, именно такого же размера и цвета. У меня не было ни малейшего представления, что это такое, но вскоре мы получили на этот счет исчерпывающий наглядный урок.

Профессор с решительным видом подался вперед и выставил острогу. Было ясно, что надежда на редкостный экземпляр заставила его позабыть всякий страх. Сканлэн и я были куда менее уверены в себе, но не покидать же старика, и мы соответственно заняли позиции по флангам. А тварь, вдоволь натаращась, принялась медленно и неуклюже пролагать путь под уклон, извиваясь червем меж глыб и время от времени выставляя глаза на рожках и оценивая, достаточно ли мы близко. Это происходило так медленно, что мы полагали себя в полной безопасности, поскольку в любой момент могли отступить на приличное расстояние. Если бы знали, как близко стоим от смерти!

Воистину само Провидение остерегало нас. Зверюга все еще влачилась навстречу и находилась примерно в шестидесяти ярдах от нас, когда крупная рыба, глубоководная ищейка, выскользнула из чащи водорослей по нашу сторону ущелья и пустилась наискосок. Она уже достигла середины ущелья на полпути между нами и этой тварью, как вдруг судорожно дернулась, перевернулась брюхом вверх и безжизнен-

но опустилась на дно. В тот же миг каждый из нас ощутил необычайную, в высшей степени неприятную дрожь, пронизавшую тело, сами собой подогнулись колени. К счастью, Маракот был не только отважен, но и столь же проникновенен, он в один миг оценил положение и понял, что шутки плохи. Перед нами была одна из тех тварей, что убивают добычу, испускающая электрические волны, и наши остроги против нее были столь же уместны, как против пулемета. Просто счастье, что угодила под удар та рыба, иначе мы наверняка дождались бы, пока тварь подберется поближе, грохнется во всю мощь своего заряда и уложит нас на месте. Мы со всей возможной быстротой исправили свой промах, твердо решив на будущее избавиться исполинского электрического червя от нашего присутствия.

Эти обитатели пучин имели, по крайней мере, вид страшилищ. Совершенно иначе выглядела мелкая черная Hydrops ferox, как назвал ее профессор. Эта рыбка из окуневых размером с сельдь, с большой пастью и грозным рядом зубов, в обычных обстоятельствах безобидна, но малейшей примеси крови в воде достаточно, чтобы отсюда ни возьмись появились голодные стаи, и нет надежды на спасение у жертвы, тут же раздираемой в клочья. Однажды мы были свидетелями ужасного зрелища в угольной копи, где какой-то раб имел несчастье порезать руку. В один миг на него со всех сторон накинудись тысячи рыб. Напрасно он бросился наземь и отбивался; напрасно его устрашенные сотоварищи пустились в ход свои кирки и заступы. Он на наших глазах растаял в живом мятущемся облаке, окутавшем его со всех сторон. Лишь миг мы видели несчастного. Он сразу же превратился в кровавое месиво с белыми торчащими костями. А минутой позже остались одни кости, и на дно моря опустился начисто обглоданный скелет. Зрелище было настолько ужасающим, что всем нам стало дурно, а выдавший виды Сканлэн попросту упал в обморок, и нам пришлось потрудиться, доставляя его домой.

Но не все тамошние необыкновенные зрелища были устрашающими. Приведу, например, такой забавный и памятный случай. Это произошло во время одной из экскурсий, которые мы с таким удовольствием совершали иногда с проводником-атлантом, а иногда и сами, с тех пор как хозяева убедились, что мы не нуждаемся в постоянном сопровождении и опеке. Мы как раз пересекали очень хорошо знакомую часть равнины и вдруг, к своему удивлению, обнаружили, что со времени нашего прошлого визита там то ли осел сверху, то ли обнажился светло-желтый песок на участке размером около полуакра. Мы приостановились, гадая, что за подводный ток или сейсмическая подвижка могли послужить тому причиной, и тут, к нашему безграничному изумлению, весь участок взмыл и, колыхаясь, поплыл прямо над нашими головами. Этот сверхбалдахин был так огромен, что прошло значительное время, минута или две, пока он проследовал над нами. Это была исполинская плоская рыба, насколько успел оценить профессор, ничем не отличающаяся от нашей родимой мелкой камбалы, но выросшая до беспредельных размеров на питательной пище, которой изобилуют залежи донного детрита. Этот мерцающий, переливающийся желтым и белым небосвод над нами расстался во тьме, только мы его и видели.

В пучине имеет место еще одно весьма неожиданное явление. Это частые смерчи-водовороты. По-видимому, они порождаются малопредсказуемыми периодическими пертурбациями в мощных подводных течениях, их шествие грозно и причиняет такие же большие разрушения и смуту, как и сильнейшие торнадо на суше. Вне сомнения, не будь их, на дне царили бы гниль и застой, к которым неизбежно приводит полная неподвижность, так что, как и во всех природных

процессах, в них есть и позитивная сторона; но тем не менее лучше не оказываться у них на пути.

Впервые я угодил в такой водяной вихрь вместе с госпожой моего сердца Моной, дочерью Манда, о ней уже была речь. Примерно в миле от поселения находился очень красивый пригорок, в изобилии заросший водорослями тысячи разных цветов. Это был как бы сад, принадлежащий одной только Моне, ее любимый сад — чаща розовых серпулларий, пурпурных офиурид и красных голотурий. В тот день она повела меня полкочаться на них, и как раз когда мы добрались до цели, налетел вихрь. Внезапно обрушившийся водоворот был такой силы, что, только прижавшись друг к другу и укрывшись за скалой, мы кое-как удерживались, чтобы нас не смыло. Оказалось, что этот бушующий вихрь горяч, почти невыносимо горяч, а это указывает на возможность вулканической природы подобных возмущений, проистекающих от подвижек в неких сторонних областях океанского дна. Весь ил на обширной равнине был подхвачен ударом вихря и превратился в густое облако взвеси, в котором померк свет. Найти обратный путь стало невозможно, мы сбились бы с пути и в любом случае вряд ли смогли бы передвигаться против напора стихии. И в довершение всего медленно нарастающая тяжесть в груди и затрудненное дыхание ясно показали мне, что с кислородом у нас неладно.

Именно в такие минуты, когда мы предстаем перед лицом близкой смерти, великие первозданные чувства всплывают на поверхность и подавляют все более слабые наши душевные движения. И вот именно только тогда я понял, что люблю свою нежную спутницу, люблю всем сердцем и душой, люблю любовью, коренящейся так глубоко, что она есть часть моего сокровеннейшего «я». Как необычайна подобная любовь! Как непостижима! Это выбор не по лицу и не по облику, которые и сами по себе достойны любви. И не по голосу, певучей которого я не знаю, и не по духовной общности, возникшей, как только я смог научиться читать ее мысли по чуткому переменчивому лицу. Нет, что-то такое по ту сторону ее темных мечтательных глаз, что-то тающееся в самых глубинах ее и моей душ сделало нас нерасторжимой парой. Я протянул руку и сжал ее ладонь, читая на ее лице, что нет во мне мысли и ощущения, которые тут же не затопили бы ее восприимчивый ум и не вспыхнули бы румянцем на милых щеках. Ни ей, ни мне не страшна стоящая рядом смерть, — мое сердце содрогнулось от этого озарения.

Невероятно! Следовало думать, что наши стеклянные покровы не пропускают звуков, но в действительности биения некоторых колебаний воздуха то ли легко пронизают сквозь них, то ли своим действием вызывают подобные же колебания под стеклом. Раздался густой удар, протяжный звон, словно прозвучал далекий гонг. Мне в голову не пришло, что он может означать, но моя спутница не испытывала сомнений. Не выпуская моей руки, она поднялась из нашего укрытия, внимательно прислушалась, пригнулась и пустилась в путь, борясь с бушующим водоворотом. Это было состязание со смертью, потому что с каждым шагом ужасная тяжесть в груди становилась все невыносимей. Я видел милое лицо, тревожно вглядывающееся в мое, я, шатаюсь, брел туда, куда она вела меня. Ее вид и движения свидетельствовали о меньшем, чем у меня, истощении запаса кислорода. Я держался, пока позволяла Природа, но вдруг все поплыло перед глазами, я простер руки и рухнул без чувств на мягкое дно океана.

Когда я пришел в себя, я лежал на своем ложе во дворце атлантов. Рядом стоял старик-жрец в желтой хламиде, в руках у него была чаша с чем-то возбуждающим. Маракот и Сканлэн со взволнован-

ными лицами склонялись надо мной, а Мона сжалась на коленях в изнежье, ее черты выражали нежную тревогу. Оказалось, что девушка, не потеряв присутствия духа, поспешила к двери поселения, откуда в таких случаях, как велит обычай, бьют в большой гонг, указывающий цель могущим заблудиться путникам. Там она объяснила, в каком я нахожусь положении, и повела спасательный отряд, к которому присоединились оба мои товарища, они-то и несли меня на руках. Что бы я ни совершил еще в жизни, я буду обязан этим Моне, ибо вся моя предстоящая жизнь не что иное, как дар из ее рук.

Теперь, когда, избрав меня для вечного союза, она чудом пришла в наш верхний мир, в человеческий поднебесный мир, делается не по себе при мысли, что в противном случае я готов был бы навек остаться в пучине, лишь бы соединиться с Моной, настолько овладела мною любовь. Долго я не мог постигнуть, что за глубочайшая внутренняя связь устремляет нас друг к другу и почему она столь очевидным образом так сильна и в ней, и во мне. И только Манд, ее отец, объяснил мне это столь же неожиданным, сколь и исчерпывающим образом.

Манд кротко улыбался, видя, как растет и крепнет наше чувство, улыбался со сдержанным удовлетворением человека, приемлющего то, что он давно предвидел. И вот однажды он призвал меня отдельно от других в свой личный покой, где уже был установлен серебряный экран, способный отображать его мысли и представления. Вовсе, покуда теплится во мне дыхание жизни, не забыть мне того, что он открыл нам обоим. Сидя бок о бок, сплетя наши руки, мы, как зачарованные, следили за картинами, переливающимися перед нашими глазами.

Вот скалистый полуостров, он далеко вдается в восхитительную синеву океана. Кажется, я не упоминал раньше, что этот мыслекинематограф, если дозволительно употребить такое выражение, воспроизводит цвет так же хорошо, как и объем. На высоком мысу стоит причудливой постройки дом, очень красивый, обширный, с красной кровлей и белыми стенами. Дом окружен пальмовой рощей. По-видимому, в роще раскинут военный лагерь, поскольку виднеются ослепительно-белые шатры и то тут, то там посверкивает оружие, словно некая стража несет караул. И вот из этой рощи выходит мужчина в расцвете лет, облаченный в кольчугу, с легким круглым щитом на руке. В другой руке он что-то держит, но меч или дротик, мне не разглядеть. Его лицо нечаянно обращается к нам, и я вижу, что он той же крови, что и окружающие нас атланты. Более того, его можно принять за брата-близнеца Манда, разве что черты его грознее, свирепей — это дикарь, но дикарь не от невежества, а по склонности натуры. Такое дикарство в сочетании с разумом — это поистине опаснейшее из всех сочетаний. Этот высокий лоб и жесткая черта прячущегося в бороде рта несут на себе печать ослотелого зла. Если то действительно некое первоначальное воплощение Манда (а по жестам Манда представляется, что он хочет нам внушить именно это), то теперешний Манд по свойствам души, а может быть, и ума, намного превосходит того.

Вот он приближается к дому, и мы видим, что встретить его выходит девушка. На ней одеяние, принятое у древних греков, длинный складчатый белый хитон, простейший и все же прекраснейший и достойнейший наряд, когда-либо шитый женскими руками. Приближаясь к мужчине, она всем своим видом выражает послушание и уважение — как всякая почтительная дочь к отцу. А тот гневно отталкивает ее, замахнувшись, словно для удара. Она отшатывается, солнце освещает ее прекрасное, огорченное до слез лицо, и я вижу, что это моя Мона.

Серебряный экран мутится, и мигом позже на нем проступает другая картина. Окруженный утесами

заливчик, который я воспринимаю как прилегающий к тому самому ранее виденному полуострову. На переднем плане непривычного вида лодка с высоко поднятыми, заостренными носом и кормой. Ночь, но по воде разливается яркий лунный свет. В небесах сверкают знакомые звезды, они над Атлантидой те же, что и над нами. Лодка плывет медленно, словно притаясь. В ней два гребца и на корме еще кто-то, завернувшийся в темный плащ. Лодка пристает к берегу, человек на корме встает и пытливым взглядом окидывает окрестности. Я вижу его бледное сосредоточенное лицо, озаренное лунным светом. Нет надобности ни в судорожном пожатии пальцев Моны, ни в излияниях Манда, чтобы постичь странную внутреннюю дрожь, пронизавшую меня при этом виде. Этот человек — я.

Да, я, Сайрес Хэдли, уроженец Нью-Йорка и житель Оксфорда, свежайший плод современной культуры собственной персоной, некогда был частью великой цивилизации прошлого. И становится ясно, почему многие знаки и иероглифы, которыми я окружен, смутно представляются мне знакомыми. Вот почему моя память напрягается раз за разом, словно в предчувствии откровения, которое где-то рядом, но неизменно ускользает, казалось бы, из самых рук. Теперь я понимаю, что за глубокое душевное волнение испытываю, когда мои глаза встречаются с глазами Моны. Оно рождается в недрах моего подсознания, где все еще гнездится память о том, что было двенадцать тысяч лет тому назад.

Тем временем лодка касается берега, и из нависшего над ним кустарника появляется яркая белая фигурка. Я спешу подхватить ее. Торопливое объятие, и вот я поднимаю, я переносу ее в лодку. И тут тревога, тревога! Неистовыми жестами я велю гребцам отчаливать. Но поздно. Из-за кустов выбегают люди. Скорые руки хватаются за борт лодки. Я борюсь, я сбрасываю их, но напрасно. Сверкает занесенная секира, обрушивается мне на голову. И я мертвым падаю, сбив с ног свою госпожу, орошая кровью ее белый наряд. Я вижу, как она кричит, как раскрыт ее рот, какой у нее дикий взгляд, а отец извлекает ее за длинные черные косы из-под моего недвижимого тела. И падает занавес.

И новая картина мерцает на серебряном экране. Зал дома беглецов, построенного мудрым атлантом убежища судного дня, того самого дома, где мы теперь находимся. Вижу уstraшенную, теснящуюся толпу в самый миг катастрофы. В толпе Мона, она одна, потому что ее отец все еще на стороне сил зла. Огромный зал качается, как попавший в бурю корабль, объятие ужасом беглецы припадают к колоннам или барахтаются на полу. Все кренится и проваливается, опускаясь в волны. Картина меркнет, и Манд, повернувшись к нам, улыбкой дает понять, что на том конец.

Да, мы жили когда-то прежде, все трое, возможно, и впрямь будем жить, неизменно встречаясь в длинной цепи наших существований. В верхнем мире я уже мертв, но мое воплощение существует в этом, нижнем. Манд и Мона умерли под покровом вод, и их вселенские судьбы теперь плетутся здесь. На миг перед нашими глазами приподнялся уголок великой темной завесы Природы, мелькнул мимолетный лучик света среди окружающих нас тайн.

А мои заново обретенные, дорогие сердцу избранница навек и ее отец, пожалуй, что спасли нам жизнь чуть позже, во время единственной серьезной стычки, разразившейся между нами и общиной, в которой мы обитали. Само по себе дело могло плохо кончиться, если бы гораздо более важные события не отвлекли потом всеобщего внимания, подняв нас

в глазах атлантов на недостижимую высоту. А произошло это так.

Однажды утром, если можно воспользоваться этими словами там, где о времени дня можно судить только по занятиям, профессор и я сидели в нашей общей комнате. Профессор приспособил один из углов под лабораторию и деловито занимался там потрошением попавшихся накануне в сеть гастростомусов. На столе в беспорядке были разбросаны амфиподы, копеподы, экземпляры *Varella*, *Ianthina*, *Physalia* и всякой прочей живности, одинаково непривлекательной на запах и на вид. Я устроился по соседству и занялся атлантской грамматикой, поскольку у наших друзей было множество книг, любопытным образом отпечатанных справа налево на чем-то, что я принял за пергамент, но что на поверку оказалось прессованными и выделанными рыбьими пузырями. Я твердо решил обрести ключ к познаниям атлантов и поэтому большую часть времени уделял письменности и началам языка.

Внезапно наши мирные занятия были беспардонно прерваны вторгшейся в помещение необычайной процессией. Возглавлял ее побагровевший, возбужденный Билл Скэнлэн, одной рукой он размахивал, а под мышкой другой, на великую нам потеху, держал пухлого раскричавшегося младенца. За ним следовал Бербрикс, атлантский умелец, тот, что помог Скэнлэну соорудить радиоприемник. Это был крупный, дородный и неизменно веселый человек, но теперь у него было лицо дрожащего от горя толстяка. А за ним появилась женщина; соломенного цвета волосы и голубизна глаз свидетельствовали, что она не атлантка, а принадлежит к покоренной расе, предками которой, вероятно, были древнейшие из греков.

— Слышь, начальник! — закричал возбужденный Скэнлэн. — Эт' Бербрикс, свой в доску и, ясно, олух, и его мур-мур, гля, зуб дам, парочка самое то. Она тут за вроде ниггер на югах, но что там, как там, эт' его личное дело, не суйся.

— Разумеется, его личное дело, — сказал я. — Но бога ради, вас-то это чем касается, Скэнлэн?

— То-то, начальник. Заделали пацана. Грят, он выродок, положено ему хана перед статуем с печкой. Ихний главный дерьмо на палочке цапе пацана и ходу, а Бербрикс цапе взад, а я кой-кому в ухо, и те'рь вся гопа рвет следом и...

Продолжить объяснения Скэнлэн не успел, в коридоре раздались крики, топот, наша дверь распахнулась, и в комнату ворвались несколько храмовых служек в желтых хламидах. За ними, рассвирепевший и мрачный, явился величавого вида носатый жрец. Жрец дал знак рукой, и служки устремились вперед, чтобы схватить младенца. Но затоптались на месте, завидя, что Скэнлэн, положив ребенка на стол с морской живностью, преградил дорогу с острогой в руках. Служки обнажили ножи, и тогда я тоже схватил острогу и бросился на помощь Скэнлэну; к нам присоединился и Бербрикс. Вид у нас был такой грозный, что служки попятались, но решительной схватки было не миновать.

— Мистер Хэдли, сэр, вы мал-мал рубите на ихнем ля-ля, — крикнул Скэнлэн. — Скажите им, номер не пройдет. Скажите, наше вам, но фирма закрыла выдачу пацанят. Скажите: или они в темпе вamos\* с ранчо, или тут будет тот еще бенц, хрен они такое видели. Вот! Просил — словил, и еще словишь, до упора, и с приветом.

Заключительную фразу Скэнлэна следовало отнести к тому, что доктор Маракот полоснул своим рабочим скальпелем по руке одного из служек, кото-

\* Вamos (исп.) — идом.



рый, зайдя сбоку, замахнулся ножом на Сканлэна. Служка взвыл и заплесал от боли и страха, но его сотоварищи, понукаемые окриками жреца, изготовились к бою. Одному небу известно, чем бы все это кончилось, если бы в комнату не вошли Манд и Мона. Манд замер на месте от изумления при виде происходящего, окликнул первосвященника и горячо пустился в расспросы. Мона кинулась ко мне; по счастливому вдохновению, я схватил со стола младенца и передал ей на руки; тот мигом устроился там и довольно загугукал.

Лицо Манда омрачилось, ясно было, что он озадачен вконец. Он отослал жреца и его приспешников в храм и затем пустился в долгие объяснения, из которых я понял и смог перевести своему товарищу далеко не все.

— Госпоже велено позаботиться о матери и ребенке,— сказала я Сканлэну.

— Эт' иначе дело. Если мисс Мона ручается, я за. Но если эти жрецовы...

— Нет-нет, им запрещено вмешиваться. Дело будет передано Совету. Дело очень серьезное, насколько я понял Манда, жрец был в своем праве, установленном древним народным обычаем. Манд говорит, не разобраться будет, какая порода высшая, какая низшая, если допустить промежуточные. Таких детей умерщвляют, едва они родятся. Таков закон.

— Закон, закон. А вот этот пацан не умрет.

— Надеюсь. Манд говорит, он на Совете сделает все, что можно. Но до созыва еще неделя или две. На этот срок малютка в безопасности, а кто знает, что тем временем может еще случиться.

Да, кто знал, что может случиться? Кто мог вообразить себе то, что в действительности случилось? Об этом и пойдет речь в следующей главе.

## II. В РЕШАЮЩИЙ ЧАС

Я уже упоминал, что неподалеку от подземной обители атлантов, заблаговременно подготовленной, чтобы устоять во время катастрофы, лежали развалины огромного города, частью которого некогда была и эта обитель. Я также рассказывал, как нас туда водили, и пытался описать то глубокое душевное волнение, которое мы при этом испытали. Никакими словами не передать ужасного впечатления, которое производили эти колоссальные руины, исполинские резные колонны и огромные здания, мертво и безмолвно распростертые на сумеречном фосфоресцирующем свете абиссального детрита, где шевелятся только бесконечные водоросли, колеблемые медленными глубоководными течениями, или мерцающие тени разросшихся морских животных, протискивающихся сквозь дверные проемы и селящихся в опустошенных покоях. Это было излюбленное место наших прогулок, и там, ведомые нашим верным другом Мандом, мы провели много часов, изучая причудливую архитектуру и прочие остатки исчезнувшей цивилизации, которая по признакам, учитываемым наукой о материальной культуре, намного опережала нашу.

Подчеркиваю, наукой о материальной культуре. Вскоре нам предстояло убедиться, что в области духовной культуры нас от них отделяет пропасть. История их расцвета и гибели учит нас, что государство обречено, если его умственные возможности опережают развитие душевных качеств. Именно это погубило древнюю цивилизацию, и то же самое может привести к гибели и нашу.

Мы обратили внимание на то, что в одной из частей древнего города имеется обширное здание, которое прежде не иначе как стояло на холме, поскольку и сейчас располагалось заметно выше общего уровня. К нему вела длинная широкая лестница чер-

ного мрамора, из того же материала, в основном, сооружено было и все здание, но теперь мрамора было и не разглядеть под омерзительными желтыми грибовидными полипами, торчащими, словно распухшие обрубки рук прокаженного, с каждого карниза и выступа. Над главным входом на черном мраморе была вырезана устрашающая маска с ощерившимися змеями вместо волос, похожая на голову Медузы Горгоны, этот символ то там, то тут повторялся и на стенах. Несколько раз мы выражали желание обследовать это угрюмое здание, но при каждом случае наш проводник Манд выказывал величайшее волнение и, неистово жестикулируя, упрощал нас отступить прочь. Было ясно, что, покада он будет сопровождать нас, нам своего намерения не осуществить, а неумейшее любопытство подстрекало нас проникнуть в тайну этого зловещего места. И однажды утром мы, Сканлэн и я, устроили по этому поводу совет.

— Слышь, начальник,— сказал он.— Там штучки, которых эт' мудрила ни за что не хо показывать, он темнит, а мне аж кортит шмыг туда по-умному. Нам, вам и мне, те' рь няньки ни к чему. По-мойму, мы каждый сам имеет право — надел свойную маковку и шагай за дверь. Так пошлите и посмотримте.

— А почему нет? — сказал я, мучимый любопытством не меньше Сканлэна.— Есть у вас возражения, сэр? — спросил я у как раз вошедшего в комнату доктора Маракота.— Или все же изволите пойти с нами и потерпеть эту черную магию.

— Черную магию, сказал бы я почти с той же уверенностью,— ответил он.— Вы когда-нибудь слышали легенду о Владыке Темной Стороны?

Я признался, что не доводилось. Забыл, упоминали ли я прежде, что профессор — виднейший в мире специалист по сравнительной теологии и древним первобытным верованиям. Даже далекая Атлантида не осталась вне круга его познаний.

— Сведения по этому поводу дошли до нас главным образом через Египет,— пояснил он.— Из того, что жрецы Саисского храма рассказали Солону, образовалось слитное ядро, а вокруг уже напластовалось остальное, отчасти правдивое, отчасти выдуманное.

— И что за умности натрёкали эти самые жрецы? — спросил Сканлэн.

— Довольно много. Но среди прочего пущена в обращение легенда о Владыке Темной Стороны. И у меня не идет из головы мысль, что этот персонаж вполне мог быть хозяином Черномраморного дворца. Кое-кто утверждает, что таких Владык существовало несколько, но сведения сохранились только об одном.

— И что эт' за гусь был? — спросил Сканлэн.

— По рассказам, его власть и злокозненность превышали человеческие. Из-за них-то и из-за полного растления народа, чему герой легенды весьма содействовал, страна и была уничтожена.

— Как Содом и Гоморра.

— Совершенно верно. Видимо, существует некий предел допустимого. Терпение Природы иссякает, ей приходится зачеркивать все и начинать сначала. Ее одушевленная тварь, человеком можно назвать ее с трудом, продвинулась в нечестивом мастерстве, снискала труднодостижимейшую колдовскую власть и обратила все это на дурные дела. Такова легенда о Владыке Темной Стороны. Надо думать, этим и объясняется, почему его дом — все еще пугало для этого несчастного народа и почему атланты так страшатся, что мы к нему приблизимся.

— Что заставляет меня еще сильнее туда стремиться,— воскликнул я.

— Начальник, аналогический случай,— присоединился Билл.

— Признаюсь, и мне интересно обследовать это здание,— сказал профессор.— Не думаю, что наши добрые друзья рассердятся, если мы предпримем небольшую самостоятельную экспедицию, раз уж пред-

рассудки мешают им присоединиться. Улучим удобный момент, и за дело.

Удобный момент представился не сразу, потому что в нашем маленьком сообществе все были у всех на глазах, так что какая уж там скрытность! Но в одно прекрасное утро (уж насколько по нашему приближительному распорядку утро можно было отличить от ночи) возможность сыскалась: началась какая-то божественная церемония, все внимание было приковано к ней, все устремились туда. Лучшей возможности для вылазки ждать не приходилось, и, уверив двух свирепых стражей при больших насосах во входной камере, что все обстоит как должно, мы быстро оказались одни на океанском дне и отправились в старый город. В плотной соленой воде не разгонишься,— утомляет и недальний путь, но примерно через час мы стояли перед входом в громадное черное здание, так разжигавшее наше любопытство. По-дружески удержать нас было некому, зримой опасности не наблюдалось, мы поднялись по мраморной лестнице и сквозь громадный резной портал вступили в этот Дворец Зла.

Он сохранился гораздо лучше, чем прочие здания старого города, настолько хорошо, что каменная оболочка и впрямь осталась, как была, только мебель и тканые завесы давно сгнили и исчезли без следа. Однако Природа соткала свои завесы, от взгляда на которые мороз шел по коже. Место и так-то было угрюмое и мрачное, но в этом давящем сумраке еще и таились непотребного вида уродливые полипы и невиданная живность, похожая на порождения дурного сна. Особо упомяну чудовищных пурпурных слизней, в немалом числе ползавших повсюду, и огромную черную плоскую рыбу, ковром раскинувшуюся по полу, у нее были длинные колышущиеся вибриссы, над их кончиками в воде мерцали огоньки. Ступать приходилось осторожно, все здание кишело всякой пакостью, которая выглядела ядовитой и на поверку могла таковой и оказаться.

По периметру шли богато изукрашенные коридоры с отвлекающими небольшими помещениями, а середина здания была отведена под великолепный зал, который в дни своего величия по праву мог бы называться самой удивительной палатой, когда-либо возведенной руками человека. При недостаточном освещении мы не могли рассмотреть ни потолка, ни стен целиком, но, обойдя зал по кругу и высветивая лампами перед собой световые туннели, оценили его исполинские размеры и сказочные украшения на стенах. Это были мозаики и барельефы, исполненные с высочайшим совершенством, но тошнотворно отталкивающего содержания. Все, что изощренно жестокого и по-скотски похотливого способен изобрести самый растленный человеческий ум, было перенесено на эти стены. Куда ни глянь, вокруг нас во мраке брезжили одни мерзости, одни непристойности. Если когда-либо в честь сатаны возводили храм, то это был именно он. И сам сатана присутствовал здесь: в одном конце зала, под балдахином из потускневшего металла, может быть, даже и золотым, на высоком троне красного мрамора восседало устрашающее божество, воистину само воплощение зла, свирепое, угрюмое, безжалостное, изваянное по тому же образцу, что и Ваал, которого мы видели в поселении атлантов, но бесконечно более зловещее и отталкивающее. Глаз было не отвести от этого гадкого лика, такая в нем была колдовская мощь, и мы стояли, посветивая на него лампами, погруженные в размышления, как вдруг это созерцание было прервано самым поразительным, самым невероятным образом. Откуда-то сзади прозвучал отчетливый глумливый человеческий смех.

«Элига»-90

Как я уже объяснял, наши головы были заключены в стеклянные колпаки, равно не пропускающие звука

наружу и не позволяющие расслышать звук извне. И все же этот глумливый смех звучал в ушах каждого из нас. Мы резко обернулись и замерли от изумления.

Привалился спиной к одной из колонн зала, скрепив руки на груди и устремив на нас кровь леденящий взгляд злобных глаз, перед нами стоял человек. Я пишу «человек», но никого подобного ему я в жизни не видел, а то, что он дышал и говорил там, где человек не способен дышать и говорить, что голос его был слышен там, где человеческий голос неслышим, — все это означало, что он не принадлежит к таким, как мы. Во всех прочих отношениях это было великолепное создание Природы ростом футов семи и прекрасного атлетического телосложения, еще более подчеркнутого одеждой, плотно облегающей фигуру и изготовленной как бы из блестящей черной кожи. У него было лицо бронзовой статуи — статуи, изваянной неким всемогущим художником, задавшимся целью изобразить всю мощь и все зло, которые вместились в человеческие черты. В этом лице не было ни чванства, ни сластолюбия, ибо эти свойства могли бы говорить и о слабостях, а тут и речи быть не могло ни о чем подобном. Наоборот, это было четко вырезанное лицо хищной птицы, с орлиным носом, и открытым сумрачным лбом и темными глазами, горящими негасимым внутренним огнем. В этих зловещих беспощадных глазах, в красивой, но жестокой, прямо и твердо очерченной линии губ жил сам рок, именно это придавало всему лицу такое леденящее кровь выражение. При взгляде на этого человека чувствовалось, что во всем своем величии он — зло до мозга костей, его взгляд — гибель, его улыбка — коварство, его смех — глумление.

— Так что же, джентльмены, — сказал он на прекрасном английском языке, и голос его звучал так ясно, словно мы чудом вернулись на сушу, — в прошлом у вас приключение, достойное упоминания, а в будущем, кажется, еще более занимательное, хотя, предвижу, моим приятным долгом будет увенчать его быстрым концом. Боюсь, наша беседа получится несколько односторонней, но, поскольку я прекрасно прочел ваши мысли и знаю всю вашу подноготную, не опасайтесь, что вас не так поймут. А вот вам предстоит уразуметь кое-какие вещи, причем перво-степенной для вас важности.

Изумленные, мы растерянно переглянулись. И впрямь трудно было без обмена замечаниями, без сопоставления мнений по поводу хода событий, и мы снова услышали глумливый смех.

— Да, это и впрямь трудно. Но вы успеете наговориться по возвращении, поскольку мне желательно, чтобы вы вернулись и вручили там мое послание. Если бы не это, полагаю, визит в мой дом означал бы для вас немедленный конец. Но прежде дела мне угодно запросто поговорить с вами. Это я к вам обращаюсь, доктор Маракот, как к самому старшему и, вероятно, мудрейшему из вас, хотя никак не назовешь особой мудростью устройство подобных прогулок. Вы меня ясно слышите или нет? Вот и хорошо, утвердительное или отрицательное движение головой — это все, о чем я вас просил бы.

Разумеется, вы знаете, кто я. Мне было приятно, когда вы не так давно устроили беседу обо мне. Обо мне нельзя ни говорить, ни даже думать так, чтобы я об этом не узнал. И нельзя войти в этот мой старинный дом — мой заветный, мой укромный приют — так, чтобы не призвать меня. Вот почему те убогие люди избегают появляться здесь и вас склоняли к тому же. Разумнее было бы последовать их совету. Вы сами наклевали меня, а уж если я пришел на зов, я так просто не удаляюсь.

Ваш умишко, отягощенный крохоткой земной наукой, сейчас изводится над проблемой, которую я для вас представляю. Мол, как это я могу жить здесь без кислорода? А я здесь не живу, я живу в великом

(23) мире людей под лучами солнца. Я только заглядываю сюда, когда меня зовут, как это сделали вы. Я тварь эфирыдышащая. А эфира здесь столько же, сколько и на вершинах гор. Некоторые из ваших соотечественников, доктор, могут жить без воздуха. Войдя в катаlepsию, они месяцами лежат бездыханны. Я — почти как они, но, как видите, в полном сознании и способен действовать.

Вам не терпится узнать, как это вы слышите меня. Не в том ли самая суть беспроволочной передачи, что она может быть обращена из эфирной среды в воздушную? И я тоже способен преобразить свои произнесенные в эфире слова и довести их до ваших ушей, используя воздух, которым наполнены эти ваши несурзные колпаки.

Ах, вам не дают покоя мои познания в английском языке? Да, надеюсь, они безукоризненны. Я прожил на земле некоторое время, можно сказать, увы, весьма и весьма затянувшееся. Сколько именно? Да уже пошел то ли одиннадцатитысячный, то ли двенадцатитысячный год. Полагаю, двенадцатитысячный. Хватило и на то, чтобы изучить все человеческие наречия. В том числе и ваше, английское, не хуже, чем остальные.

Рассеял ли я ваше недоумение? Вот и хорошо. Не на слух — так, по крайней мере, на вид понимаю, что рассеял. Тогда поговорим о более серьезных вещах.

Я — Ваал-Сийп, Владыка Темной Стороны. Тот самый, так далеко проникший в заветные тайны Природы, что оказался в силах бросить вызов самой смерти. Уж так я распорядился, что не могу умереть, даже если пожелаю. Чтобы все-таки умереть, придется изобрести кое-что посильнее, чем мое искусство. Ах, смертные, никогда не молитесь об избавлении от смерти. Смерть страшна, но бессмертие бесконечно страшнее. Тебе все тысячу раз надоело, а мимо течет нескончаемый поток человечества. Сидишь на берегу истории и видишь, как она движется все вперед и вперед, оставляя нас позади себя. Что ж удивиться, если мое сердце исходит черной горечью, если я проклинаю это стадо? При первой же возможности я действую ему во вред. Мне не следовало бы? Почему?

Вас интересует, как я этого добиваюсь. У меня есть сила, и немалая. Я могу повелевать умами. Я властвую над скопищем черни. Я всюду, где затевают злое дело. Я был с гуннами, когда они превратили в развалины пол-Европы. Я был с сарацинами, когда они именем веры подняли на клинки всех непокорных. Я вышел из дому в Варфоломеевскую ночь. Я поощрял работоторговлю. Это мой шепоток обернулся кострами для десятков тысяч сморщенных старух, которых дурачье именovalo ведьмами. Это я в образе закопченного верзилы вел парижскую чернь по залитым кровью улицам. Славные были времена, но не сравнишь с недавними в России. Вот оттуда я сейчас и явился. И я подзабыл об этом гнезде морских крыс, возмущенных в грязи и берегущих жалкие остатки искусства и легенд той великой страны, где жизнь цвела как нигде и никогда. Это вы напомнили мне о них, ибо мой старинный дом соединен колебательной связью, о которой ваша наука ничего не знает, с человеком, который его построил и любит. Я узнал, что сюда вошли чужие; мною интересуются, и вот я здесь. А раз я здесь, впервые за тысячу лет здесь, то вспомнилось и о том народце. Хватит ему тут прозябать. Пора и честь знать. Они тут засели по воле человека, который всю свою жизнь бросал мне вызов и построил это убежище от катастрофы, поглотившей все, кроме этого народца и меня. Его мудрость спасла их так же, как моя меня. Но нынче моя сила сокрушит тех, кого он спас, — и конец всей этой истории.

Он пошарил рукой на груди и извлек оттуда исписанный лист.

— Вручите это вожаку водяных крыс, — сказал

он.— Сожалею, джентльмены, что вам придется разделить их судьбу, но, поскольку вы и есть первопричина их злосчастия, это, в конце концов, справедливо и не более того. Вскоре увидимся. Тем временем настоятельно рекомендую подробно осмотреть эти картины и изваяния, вы получите некоторое представление о том, на какую высоту я поднял Атлантиду в дни своего правления. Здесь вы найдете запечатленными нравы и обычаи, которые я внушил ее народу. Жизнь очень разнообразна, очень многоцветна, в высшей степени многогранна. В нынешние серенькие денечки это назвали бы разнузданностью. Ну, что ж, зовите, как угодно, я ее поощрял, я участвовал в ней и не испытываю сожалений. Приди вновь мое время, я совершил бы то же самое и даже большее, но только не посягнул бы на дар бессмертия. Вард, которого я проклинаю, которого мне следовало убить до того, как он усилился настолько, что восстанавил народ против меня, в этом оказался умнее. Он все еще посещает землю, но как дух — не как человек. А теперь разрешите удалиться, друзья мои. Вы явились сюда из любопытства. Могу надеяться, оно полностью удовлетворено.

А затем мы увидели, как он исчезает. Да, он пропал прямо на наших глазах. Но не сразу. Он подался вперед от колонны, о которую опирался. Очертания его великолепной, нависающей над нами фигуры как бы затуманились. Глаза пригасли, черты стали смутны. И вдруг он обратился в темный вихрь, взметнувшийся сквозь недвижную воду к сводам этого ледяного крова зала. Его уже не было, а мы все еще не могли двинуться с места, взирая друг на друга и дивясь неистовости путей, пролагаемых жизнью.

Мы не задержались в этом ужасном дворце. Мешать там было небезопасно. И впрямь — я скосырил с плеча Билла Скэнлэна одного из этих ядовитых пурпурных слизней, а меня самого коварно подстерег и больно ужалил в руку крупный желтый пластинчатожаберный. На ходу я бросил последний взгляд на ледяные барельефы на стенах, дело рук самого сатаны, и мы беглым шагом вышли в сумрачный коридор, проклиная день, когда возымели глупость войти сюда. Впрямь облегчением было вновь оказаться на фосфоресцирующем свету детритной равнины, в полупрозрачной для взора среде. Не прошло и часа, как мы снова оказались дома. Сняв шлемы, мы собрались на совещание у себя в комнате. Профессор и я были слишком ошеломлены случившимся, мы тшотно искали слова, способные выразить обуревавшие нас мысли. И только неумная жизнестойкость Билла Скэнлэна не знала преград.

— Как бог свят, гадство! — заявил он. — В натуре, бенц. Тоже мне, строит из себя, собака. Ему бы — дырку пять восьмых в заборе просадил, и клей фраеров на свою мазню, лепню, халтуру. Вопрос, как ему хвост прижать.

Доктор Маракот погрузился в думы. Затем он вызвал звонком служку в желтой хламиде.

— Манд,— произнес он.

Не прошло и минуты, как наш друг оказался в комнате. Маракот вручил ему роковое послание.

В жизни мне не приходилось сталкиваться с поступком, более достойным восхищения, чем поведение Манда в эти минуты. Своим непростительным любопытством мы навлекли смертельную угрозу на его племя и на него самого,— мы, чужестранцы, которых он спас из совершенно безнадежного положения. И все же, хотя он побледнел, как смерть, читая послание, и тени упрека не было в его скорбных карих глазах, обратившихся к нам. «Ваал-Сийп, Ваал-Сийп!» — воскликнул он и судорожным жестом прижал пальцы к векам, словно изгоняя из-под них ужасное виденье. И выбежал вон, как человек, сра-

1224) женный горем, по всей видимости, спеша прочесть роковое послание всему сообществу. Через несколько минут раздался удар в большой гонг, созывающий всех на сходку в центральный зал.

— Нам идти? — спросил я.

Доктор Маракот отрицательно покачал головой.

— А что мы можем сделать? Что мы реально можем сделать? Что мы можем противопоставить тому, кто обладает мощью демона?

— Что те кролики хорьку,— сказал Скэнлэн.— Но, ей-бо, эт' наша заморочка, не ихняя. Зубастого дразнить — так эт' мы, а отдуваться — так эт' вы, дяденьки, вы нас уже разок спасли,— не-е, по мне, нам так не личит.

— Что вы предлагаете? — живо спросил я; жаргон жаргоном, легкомыслие легкомыслием, но за всем этим я чувствовал в Скэнлэне практическую одаренность современного человека, который сам себе пробивает дорогу.

— Ни бум-бум,— сказал он.— Только, лопнуть, он зря решил, что к нему не подступись. Года силенку жрут, а он тот еще перенчик, если треп шел без понта.

— Вы думаете, мы могли бы вступить в схватку с ним?

— Витанье в облаках! — резко вмешался доктор.

Скэнлэн полез в свой рундучок. И обернулся к нам с шестизарядным револьвером в руке.

— А эт' на что? — сказал он.— Надыбал, когда потопшю лайбу шмонали. Еще подумал: вдруг, как найду. И дюжина орешков в значке. Просадить ему дюжину дыр — из его прилично колдовства тю-тю. Босподи! Что эт'?

Револьвер с лягом упал на пол, а Скэнлэн, скорчившись от боли, схватился левой рукой за правый локоть. Острая судорога свела ему правое предплечье, мы попытались помочь ему, но мускулы вздуло узлами, как корни дерева. Бедняга облился смертным потом. Вконец перепуганного и обессилевшего, мы уложили его в постель.

— Кранты,— сказал он.— Вырубил меня. Спаси-бо, так чуток полегчей. Вильям Скэнлэн — нокаут. Проучен. С пушкой на него, на собаку, не ходи, не гоношись. И не заступай дороги.

— Да, вас проучили,— сказал Маракот.— И жестоко проучили.

— Думаете, нам швах?

— А что делать, если он, судя по всему, заранее предвидит каждое слово и поступок? И все же не будем отчаиваться.

Доктор сидел, подумал.

— По-моему, вам, Скэнлэн, некоторое время лучше бы полежать,— сказал он.— У вас шоковое состояние, это пройдет, но не так вдруг.

— Дойдет до дела, так рассчитывайте на меня, ставлю, мы его уделаем,— храбро сказал наш товарищ, но по его бледному лицу и дрожащим членам видно было, каково ему приходится.

— В том смысле, в каком вы думаете, до дела не дойдет. Но мы теперь, по крайней мере, знаем, с какого конца не следует подступаться. Всякое насилье бесполезно. Надо браться на ином уровне — на духовном. Оставайтесь здесь, Хэдли. Я пойду к себе, в свою келью, так сказать. У меня такое чувство, что в одиночестве несколько легче будет представить себе, что нам делать.

Как Скэнлэн, так и я уже научились безоговорочно доверяться Маракоту. Если есть на свете ум, способный разрешить наши затруднения, то это, безусловно, его ум. И все же мы чувствовали себя в положении, где все человеческие возможности исчерпаны. Мы были беспомощны, как дети, перед лицом сил, которых не понять и не укротить. Скэнлэн, постанывая, прикорнул. А я, сидя рядом с ним, помышлял не столько о способах избавления, сколько о том, какой вид примет вражеское вторжение и когда оно послед-

дует. И мне представлялось, как расседается над нами прочная кровля, стены вдавливают внутрь и непроглядные воды пучины обрушиваются на тех, кто так долго бросал им вызов.

И вдруг снова ударил большой гонг. От резких звуков содрогнулся каждый нерв. Нет, это не был обычный призыв, оглашавший старинный дворец. Тревожный, беспорядочный, сбивчивый звон звучал, как набат. Все и немедленно должны явиться. Звон грозил, звон настаивал. «Сюда! Скорее сюда! Бросьте все, скорее сюда!» — зывал гонг.

— Слышь, начальник, нам надо к им, — сказал Скэнлэн. — В натуре, бенц пошел.

— Да мы-то что поделаем?

— Может, глядя на нас, им легче. Пусть не думают, что мы их подставили, а сами отсиживаемся. Где док?

— У себя. Вы правы, Скэнлэн. Нам надо быть вместе со всеми, — пусть видят, что мы готовы разделить их судьбу.

— А и жмутся к нам зайчики-то. Может, они знают больше, но мы пожестче на излом. По-моему, они — лапки кверху, осталось только нас взять за эти самые. Раз так, раз потоп, пускай и я потопну.

Но первое же наше движение к двери было оставлено самым непредвиденным образом. Перед нами предстал доктор Маракот. Но впрямь ли это был тот самый, известный нам доктор Маракот — этот уверенный в себе муж, каждая черточка лица которого дышала силой и решимостью? Мирный ученый исчез без следа — перед нами был сверхчеловек, великий вождь, всемогущий дух, способный по своему желанию придать человечеству новый вид.

— Да, друзья, наш час настал. Все может кончиться хорошо. Но поспешим, чтобы не оказалось слишком поздно. Я все объясню вам потом, если «потом» существует для нас. Да-да, мы идем.

Последние слова с соответствующей жестикულიцией были обращены к перепуганным атлантам, которые явились у двери и как раз горячо подавали нам знаки следовать за ними. Скэнлэн был прав, мы действительно уже несколько раз оказывались тверже духом и решительней в действиях, чем это обреченное на затворничество племя, даже в миг величайшей опасности как бы стремившееся сплотиться вокруг нас. От моего слуха не ускользнул сдержанный шумок удовлетворения и облегчения, который пронесся по переполненному залу при нашем появлении на заранее отведенных местах в первом ряду.

Если от нас и впрямь ждали помощи, то мы пришли как нельзя вовремя. Ужасное существо уже воздвиглось на подмостках и, поджав губы, с жестокой усмешкой демона зирало на сжавшееся перед ним племя. При взгляде на них мне припомнились слова Скэнлэна о кроликах перед хорьком. Люди в страхе теснились, искали друг у друга поддержки, таращились на могучую высящую перед ними статую и безжалостный, словно вырубленный из гранита, лик, вззирающий на них сверху вниз. Вовек не забыть мне этого амфитеатра, этих рядов помертвевших лиц, широко открытых, остановившихся глаз, устремленных к подмосткам. По-видимому, злой гений уже произнес свой приговор, смерть простерлась над людьми, она должна была вот-вот свершиться. Манд стоял с униженным и покорным видом, он, заикаясь, зывал к своему племени, но видно было, что его слова только в высшей степени тешат чудовище, ухмыляющееся поверж головы своей отчаявшейся жертвы. Оно прервало сбивчивую речь Манда несколькими скрежещущими словами и подняло вверх правую руку — крик отчаяния прокатился по залу.

В ту минуту на подмостки вспрыгнул доктор Маракот. Вид его был изумителен. Некое чудо преобразило его. У него были поступь и жесты юноши, а лицо дышало силой, вовек я не видел такого лица у чело-

века. Он уверенным шагом подступил к смуглому гиганту — тот с изумлением воззрился на него.

— Ну, человек, ты что-то хочешь сказать! — спросил демон.

— Я вот что хочу сказать, — произнес Маракот. — Миновало твое время. Ты подгадился в миру сверхсрока. Изыди! Изыди в ад, где тебя заждались. Ты князь тьмы. Изыди же во тьму!

Очи демона полыхнули мрачным огнем, он ответил:

— Когда мой час настанет, если только он настанет, не из уст жалкого смертного возведено мне будет о том. Разве есть в тебе сила, способная хоть миг противостать тому, кто пребывает в тайниках Природы? Я разражу тебя на месте.

Маракот в упор смотрел в ужасные глаза гиганта. И мне показалось, что у того дрогнул взгляд.

— Несчастный, — сказал Маракот. — Это мне даны сила и воля разразить тебя на месте. Слишком долго ты осквернял мир своим присутствием. Ты был очаг чумы, отравляющий все доброе и прекрасное. Когда тебя не станет, с людских сердец спадет тягота и солнце засияет ярче.

— Что это? Кто ты? Что за слово ты произносишь? — растерянно выговорила адская тварь.

— Ты поминал о тайном знании. Сказать тебе, что составляет самую его основу? Она в том, что на каждой грани живого присущая ей сила добра всегда способна восторжествовать над силой зла. Божий вестник всегда одолеет сатану. Ныне и здесь я на той же грани, что так долго занимал ты, и сила моя подчиняет твою. И я говорю: «Изыди!» Изыди в ад, которому ты принадлежишь! Изыди, сударь! Изыди, сказано тебе! Изыди!

И я увидел, как сотворяется чудо. Минуту или больше — кто в силах измерить длительность таких мгновений? — два существа — смертный и демон — стояли лицом к лицу, застывшие, как статуи, глядя друг другу в глаза, с неукротимым выражением на лицах, светлом и темном. И вдруг гигант дрогнул. Его черты исказились от ярости, скрюченные, как когти, пальцы взметнулись в воздух.

— Это ты, Вард, это ты, проклятый! Твоих рук дело. Будь же ты проклят! Будь проклят! Будь проклят!

Голос демона ослабел и затих, очертания высокой темной фигуры расплылись, голова упала на грудь, колени подогнулись, он съезжался на глазах, и вид его при том менялся. Вначале это был согбенный человек, затем — темная бесформенная масса, и та вдруг разом стянувшись в полужидкую кучку отвратительной черной гнили, опоганившей подмостки и отравившей воздух. А Скэнлэн и я метнулись к возвышению, потому что доктор Маракот с глубоким стоном, обесилев, рухнул ничком. «Мы победили! Мы победили!» — прошептал он, еще миг — чувства оставили его, и, полу-мертвый, он распростерся на полу.

Вот так поселение атлантов было спасено от самой страшной беды изо всех, что могли ему грозить, а воплощение зла было навсегда изгнано из нашего мира. Только через несколько дней доктор Маракот смог рассказать, как было дело, и его рассказ был таков, что, не будь мы свидетелями его завершения, мы, по совести, должны были бы отнестись к этим словам, как к горячечному бреду. Я могу заверить, что чудотворческая сила доктора, единожды проявившись, исчезла без следа и теперь он все тот же мирный рыцарь науки, каким мы знали его прежде.

— И ведь надо же, чтобы это случилось именно со мной! — воскликнул он. — Со мной, с материалистом, с человеком, настолько ушедшим в материализм, что всему незримому не было места в моем мироощущении. Теории, которым я посвятил всю жизнь, раз-

летелись в пух и прах, я сказал бы, с оглушительным треском.

— Да всех нас по-новой вышколило,— сказал Сканлэн.— Подгреби я, скажем, в родимый городишко, было б что порассказать ребятам.

— Чем меньше рассказов, тем лучше, если не хотите прослыть величайшим вралем за всю историю Америки,— сказал я.— Вы или я поверили бы, расскажи нам кто-нибудь что-нибудь подобное?

— Да вряд ли. Вам, док, ту еще накачку дали, не скажите. Эт' громила черная огреб свои восемь, девять, десять, аут — чисто, аж залюбуешься. Взад не припрется. Вы его с карты мира бенц, и кранты. К какой другой он прилепился, знать не знаю, но Билл Сканлэн там не водится, эт' точно.

— Я подробнейшим образом помню все, что случилось,— сказал доктор.— Припомните: я оставил вас и ушел к себе. В глубине сердца почти уже не осталось никакой надежды, но я в свое время прочел многое и о черной магии, и о практическом оккультизме. Заранее известно, что белое всегда в силах восторжествовать над черным, но только в том случае, если имеется соответствие грани. Он был на более сильной грани — не скажу, что на более высокой. С этим было ничего не поделать.

Я не видел пути преодоления. Бросился ничком на диванчик и стал молиться — да, я, закоренелый материалист, стал молиться и воззвал о помощи. Когда исчерпаны до конца все человеческие возможности, что еще остается делать? Остается вздеть взывающие руки в сомкнутую вокруг нас мглу. Я молился — и моя молитва была чудесным образом услышана.

Внезапно у меня возникло чувство, что в комнате я не один. Передо мной обрисовалась высокая фигура, столь же могучая, как воплощение зла, с которым мы боролись, но ее доброе, в окладистой бороде лицо дышало любовью и благодатью. Ощущение исходящей от него силы было ничуть не слабее, но то была сила добра, сила, перед которой зло улетучивается, как мгла с восходом солнца. На меня взирали добрые глаза, я привстал, онемевший от изумления, не сводя глаз с видения. Что-то внутри, то ли вдохновение, то ли интуиция, подсказало мне, что это призрак того великого и мудрого атланта, который всю свою жизнь сражался со злом и который, не сумев воспрепятствовать катастрофе страны, принял меры, чтобы достойные уцелели, пусть и погрузясь на дно морское. Это чудесное существо теперь вступается, чтобы предотвратить гибель своих трудов и уничтожение своих детей. Со внезапно нахлынувшей надеждой я осознал это так же ясно, словно это было сказано словами. И тут, по-прежнему улыбаясь, видение приблизилось и возложило руки мне на темя. Несомненно, оно общило мне свою добродетельную силу. Я чувствовал, как она огнем разливается по жилам. Я понял, что для меня в этом мире нет невозможного. Мне даны были воля и сила творить чудеса. И в тот же миг прозвучал гонг, и я понял, что настал решительный час. Я вскочил, видение с ободряющей улыбкой растаяло передо мной. Я присоединился к вам, и дальнейшее вам известно.

— Ну, что же, сэр,— сказал я.— По-моему, репутацию себе вы обеспечили. Если вам желательно объявить себя здешним божеством, не предвижу никаких затруднений.

— Вы выступили мощнее, док, не то, что я,— удрученно сказал Сканлэн.— Но как же эт' оголец не расчухал, что у вас там подзарядка идет? Я вот хватя за пушку, так он меня вмиг уделал. Как же он вас-то зеванул?

— Полагаю, вы действовали на грани материи, а мы — на грани духовной,— задумчиво сказал доктор.— Такие вещи учат скромности. Только прикоснувшись к высшему, представляешь себе, на какой скромной ступени мы, вероятно, стоим среди осуществимых со-

[226] зданий. Меня тоже проучили. Будущее покажет, извлек ли я из этого урок.

Так завершилось наше совершенно невероятное приключение. В очень скором времени у нас созрел замысел сообщить о себе на поверхность, еще чуть позже, пользуясь стеклоподобными шарами, наполненными левигеном, мы поднялись наверх и сами, а о том, как нас встретили, было рассказано в моем предыдущем отчете. Доктор Маракот и впрямь поговаривает насчет возвращения в пучину. Имеется, видите ли, ряд ихтиологических вопросов, по которым он хотел бы получить более точные сведения. А вот Билл Сканлэн, как я слышал, женился на своей филладельфийской певунье-птичке, выдвинулся у Меррибэнкса в начальники производства, так что ему теперь не до новых приключений; ну, а я — сказать по чести, морская пучина оделила меня драгоценной жемчужиной, и ничего-то мне больше не надо.





## АВАРИИ В КОСМОСЕ

Нет, все-таки Робинзону было много легче. Ему не приходилось заботиться о таких «мелочах», как воздух и вода, дожидаться спасателей он мог необычайно долго.

Но терпящим бедствие в жестких условиях космоса грозит гибелью малейшее отклонение от пределов человеческого существования. Вот почему так часто космические аварии кончаются трагически — скажем, в грустном рассказе Р. Брэдбери «Калейдоскоп», где после взрыва корабля уже никто ничего не может предпринять.

Рассмотрим поближе эту тему НФ. В основу же классификации положим тот объект, который выходит из строя.

Опасность может грозить непосредственно человеку, затрагивая его биологию (как у Г. Гуревича в «Функции Шорина»: при скорости, близкой к световой, начинают рассогласовываться ритмы организма, что ведет к серьезным заболеваниям) или жизненно важные потребности: нехватка воды, воздуха, времени — чтобы добраться до базы, дожидаться помощи.

Выход из подобных положений прост — если можно, уйти от источника опасности, а необходимое добыть «на стороне» или сократить потребление до минимума. Из множества произведений приведем в качестве примера рассказ Т. Годвина «Неумолимое уравнение», где уменьшать приходится... численность экипажа.

Опасность может представлять и сам звездолет — точнее, нарушения в работе его подсистем, в первую очередь двигателей.

В «Альбатросе» С. Лема с большой художественной силой показан трагический случай — взрыв на корабле атомного реактора.

Из-за неисправности в энергетической подсистеме корабля критическая ситуация возникает и в рассказе В. Журавлевой «Астронавт». Но в отличие от случая с «Альбатросом», побочная реакция, возникшая в топливном резервуаре, растянута во времени: это не взрыв, а тление, уносящее драгоценные граммы горючего. Устранить неисправность космонавты не в состоя-

нии. Их жизни вне опасности, если повернуть назад, но долети они до цели — и возвращаться будет не на чем, топлива не хватит и на полдороги. Однако они продолжают полет. Найдено решение — помимо максимального облегчения ракеты, сэкономить горючее, резко сократить время разгона корабля до маршевой скорости. Начальный отрезок пути будет пройден с предельно допустимым для человека ускорением. При таких условиях возможно только дистанционное управление кораблем — и капитан остается на планете.

Но иногда, проявив выдержку и смекалку, герои благополучно уходят от грозящей им опасности. Если присмотреться, каждая такая ситуация — задача на изобретательность, на нестандартное мышление. Попробуйте поставить себя на место героев, попавших в критическое положение. Как бы вы поступили, случись это с вами? Вот, например...

На одном из астероидов Солнечной системы работает научная станция. В результате швартовок кораблей орбита астероида изменилась так, что персоналу станции грозит гибель от столкновения с другим астероидом (Д. Биленкин. Ученик чародеев). Собственного корабля на станции нет, уничтожить встречный астероид или как-то еще повлиять на него — невозможно. И нет времени на спасательную экспедицию. Как выйти из такого положения?

Герой рассказа, перебрав несколько вариантов, понимает — надо изменить орбиту станции. Для этого он предлагает «оснастить» астероид реактивным двигателем — пробурить скважину и взорвать в ней реактор, входящий в оборудование станции. Люди будут спасены.

Воспользоваться для передвижения реактивным двигателем — естественное для космоса решение. Восходит оно, вероятно, к рассказу А. Азимова «Заброшенные около Весты», где вместо вышедшего из строя корабельного двигателя был изготовлен примитивный РД. У героя имелся солидный запас воды, которая, испаряясь, и создавала реактивную тягу — требовалось только прожечь в резервуаре дырку в нужном месте<sup>1</sup>.

Характерно, что астронавтам для спасения во многих случаях вовсе не требуется мощный двигатель: нужно только переместиться немного — и людей заметят, успеют прийти на помощь; т.е. вполне достаточно «частичного решения».

Но как быть, если «собрать» РД невозможно? На чем двигаться?

<sup>1</sup> А вот А. Кларк, по замечанию П. Маковецкого, в рассказе «Сделайте глубокий вдох» прошел мимо аналогичной возможности. Она рассматривается в книге Маковецкого «Смотри в корень» под пунктом 26.

Орбитальный корабль, преснимик современного «Союза», идет на спуск. Перед входом в атмосферу удар метеорита выводит из строя двигатель. Неуправляемый корабль будет медленно падать и наверняка сгорит в атмосфере. Спутник связи пройдет над ним через два часа по более высокой орбите безучастным свидетелем трагедии. Связь с Землей работает, советские и американские специалисты спешно готовят спасательные партии, но ни тем, ни другим не уложиться в срок: законы небесной механики точны и беспристрастны (П. Амнуэль. Двадцать метров пустоты).

Что можно предложить для спасения людей?

Те, кто читал рассказ, наверняка помнят оригинальное решение. А остальным подскажем, что в его основе лежит один из наиболее распространенных в НФ приемов, который можно назвать «хорошо забытое старое». Посмотрите, как пользуются этим приемом герои А. Кларка и А. Азимова.

В рассказе А. Кларка «С кометой» из строя выходит бортовой компьютер — именно тогда, когда корабль находится внутри кометы. Радиоволны экранируются, а для выхода из плена необходимо рассчитать очень сложную траекторию. Без ЭВМ не обойтись.

Но выход все-таки есть! Это... счеты. Несколькими днями подряд весь экипаж перекидывает костяшки...

Действие рассказа А. Азимова «Возьмите спичку» отнесено в далекое будущее: уже открыты способы перехода («скачка») в гиперпространство и движения со сверхсветовой скоростью. После одного из таких «скачков», выйдя из гиперпространства, звездолет оказывается в облаке межзвездного газа. Размеры облака определить невозможно, ориентировка потеряна, энергии для следующего скачка недостаточно. На корабле термоядерный реактор, но молекулы данного газа горючим для него служить не могут. Лететь в облаке вслепую? Но запас энергии вот-вот истощится. Как быть?

Героям все-таки удается набрать энергию для нового скачка: полезнее применение найдено тому, что им больше всего мешает — облаку межзвездного газа. Вместо термоядерной реакции применен примитивный, давным-давно забытый способ — обыкновенное горение. Еще один скачок — и люди вне опасности.

Отвлечемся ненадолго от нашей темы.

Приспосабливая двигатель к другому топливу, героям Азимова пришлось, как видим, «спускаться вниз по эволюционной лестнице». Существует идея, обратная данной. Она не связана с аварийной ситуацией и служит решению другой про-

блемы: Г. Альтов в рассказе «Ослик и аксиома» предлагает вести перестройку звездолета регулярно. Получая с Земли необходимые данные, астронавты подтягивают корабль до уровня земной науки и техники; возможно, таким образом удастся решить классическую проблему возвращения. Время для землян и для астронавтов движется неодинаково — и последние возвращаются из путешествия с безнадежно устаревшей информацией, сам полет к звездам лишается смысла... Предложения Г. Альтова и А. Азимова составляют пару «идея — антиидея». Заметим, что писателям-фантастам удалось подобрать пары далеко не ко всем НФ ситуациям и идеям, многие «половинки» еще ждут своих авторов. (Если быть точным, то у Альтова, помимо корабля, переустраиваются и люди. В этом отношении рассказ представляет антитезу не только бездействию в анабиозных ваннах, о чем заявлено в тексте, но и распространенной в НФ деградации общества, летящего к звездам со сменой многих поколений — например, в «Пасынках Вселенной» Р. Хайнлайна, в «Поколении, достигшем цели» К. Саймака. Но это уже совсем другая тема.)

Герои рассказа Д. Биленкина «Тень совершенства», используя прием «наоборот», готовы принять в критической ситуации решение, противоположное традиционному. «Микробные» киберы-ремонтники, работающие в «топке» звездолета, вместо ожидаемого восстановления начинают усугублять неисправность: судя по всему, они переродились, друг стал врагом. Ради сохранения двигателей и собственных жизней экипажу придется отказаться от ремонта. (Строго говоря, обратным было бы решение разрушить двигатель — чтобы восстановить его.)

Намного реже двигателей выходят из строя на страницах НФ другие части корабля — например, прибор. В космосе это всегда чревато последствиями: здесь человек не может непосредственно осязать, слышать, а зачастую и видеть то, что находится за бортом корабля, приходится всецело полагаться на искусственные «глаза» и «уши».

И вот пилот Пиркс видит на экране локатора то, чего нет в действительности — чужой корабль (С. Лем. Патруль). И пускается в погоню за призраком. «Технического» решения здесь нет, но понять, что вот эта яркая точка — мираж, отказаться от преследования оказывается психологически не просто.

В рассказе Т. Годвина с примечательным названием «Необходимость — мать изобретения» астронавты высадились на планете земного типа: есть вода, воздух, пища — словом, скафандры не нужны. Но на корабле взрывается двигатель, они

становятся пленниками планеты. Герои рассказа открывают явление антигравитации, их новый «двигатель» развивает колоссальную мощность и способен поднять  $10^{30}$  кораблей. Двигатель есть, но обшивка звездолета напоминает решето. Выйти на нем в космос равносильно самоубийству. Радиосигнал не доходит — слишком далеко. А звезда, вокруг которой обращается планета, вот-вот вспыхнет сверхновой. Ни материалов, ни времени на ремонт обшивки нет. Лететь надо, лететь не на чем.

Где же выход? Что бы вы посоветовали героям? Оставим и эту ситуацию для самостоятельных размышлений.

Особенно выделяются те произведения, в которых потерпевшие аварию могут надеяться только на помощь извне. Но прежде нужно подать сигнал бедствия, а рация, как правило, разбивается в момент крушения. И здесь космонавты очень изобретательно используют то, что находится рядом — «внешнюю среду».

Вот, например, рассказ Д. Биленкина «Звездный аквариум». Авария произошла в результате столкновения корабля с астероидом. Из частей ракеты и астероида герой собирает необычный «SOS» — комету «наоборот». Ее хвост направлен не в сторону от Солнца, как обычно, а напротив, к нему. Кроме того, в ее ядро добавлено химическое вещество, в космосе прежде не обнаруживавшееся. Такая «небесная странница» неизбежно привлечет к себе внимание астрономов и поможет вычислить место катастрофы.

Другой космический объект — «черная дыра» — представлен в рассказе А. Азимова «Старый-престарый способ». Возле нее потерпели аварию два космонавта. Кидая в сторону «черной дыры» камни — обломки астероида, они вызывают всплески излучения — классическое SOS морзянки.

У этого рассказа есть любопытный аналог. «Черная дыра» — осколок Большого Взрыва — разрушила в Солнечной системе базу-ретранслятор, с которой должны были стыковаться космонавты (П. Амнуэль. Стрельба из лука). Теперь они остались без топлива на обратный путь и без передатчика. Помощь придет, но наверняка поздно: дополнительные запасы воды и пищи погибли вместе с базой...

Космонавтам удается придумать, как заставить «черную дыру» работать на себя. Ее излучение фокусируется магнитными ловушками корабля и разбивается на импульсы. Но вот задача: сигнал настолько мощен, что если послать его на Землю, он принесет разрушения, эквивалентные взрыву атомной бомбы. Отрегулировать, ослабить силу излучения невозможно.

Как разрешить эту задачу? Что вы предприняли бы на месте героев? Подумайте...

Особую группу составляют произведения, в которых аварии запланированы. Правда, те, кто в них попадают, узнают об этом только по окончании... тренировки. Цель таких псевдоаварий — проверка профессиональных качеств космонавтов. Пожалуй, наиболее известное среди подобных произведений — «Тест» С. Лема: первый полет курсанта Пиркса оказывается проверкой, работой на тренажере.

В заключение отметим некоторое несоответствие НФ и реальности. Любая машина проходит сложный путь от стола конструктора до эксплуатации серийного образца, ее создают люди разных профессий. Не то в НФ. Даже в далеком будущем, когда звездолеты создаются в космосе, аварии происходят в основном на регулярных рейсах, с кораблями, запущенными в серию. Испытаниям, как правило, подвергаются люди, — так во своеобразный антропоцентризм НФ.

Испытания техники фантасты как-то «проскочили». Пожалуй, только у В. Журавлевой в рассказе «Голубая планета» проверяют на надежность новый образец ракеты, да встречаются иногда короткие упоминания об испытаниях нового типа звездолета или грузовых ракет (Г. Гуревич. Функция Шорина; С. Павлов. Мягкие зеркала). Странно, что писатели игнорируют такой богатый материал.

И еще — о связи реальности и НФ. По свидетельству В. Гакова, во время подготовки к полету «Союз-Аполлон» космонавты специально отработывали различные «нештатные», критические ситуации, — источником служили сценарии писателей-фантастов. Получается, что НФ идея, ситуация — не только «игрушка для ума»...

Если окинуть перечисленные ситуации единым взглядом, то нетрудно увидеть, что в НФ далеко не исчерпаны все мыслимые возможности.

А именно:

— выведены из строя не все части орбитальных станций, поселений на астероидах, космических кораблей — во всем их разнообразии (ракет, челноков, ионолетов, атомных и фотонных звездолетов...);

— в поисках выхода из критических ситуаций использованы не все приемы НФ;

— «разговорить», заставить послать сигнал бедствия удалось далеко не всё, с чем астронавт может встретиться в космосе.

На карте фантастики достаточно неоткрытых островов.

Дмитрий ТРИФОНОВ,  
г. Москва



Антонина КЫМЫТВАЛЬ



# НА КРАЮ НЕОБЪЯТНОЙ СТРАНЫ

ТАМ, ГДЕ МЫ  
ВСТРЕТИЛИСЬ

Мы дыханье свое  
С глубиной горизонта сверяем,  
Мы привыкли в просторы  
Смотреть далеко-далеко,  
Потому в городах,  
Тех, что кажутся сказочным раем,  
Нам и жить неуютно  
И вольно дышать нелегко.  
Глупо?  
Может быть, глупо.  
Но что нам поделать с собою,  
Если сердце все больше  
Тоска по родному грызет.  
И срываемся мы.  
И летим за своєю судьбою  
В дальний северный город,  
Где чист и далек горизонт.  
Здесь дороги негладки,  
Здесь коротко теплое лето,  
Здесь ругает приезжий  
Мороз и осеннюю грязь.  
Только знаю — Анадырь,  
Сердцами людей отогретый,  
Лучший город на свете —  
В нем наша любовь родилась.  
Пусть пока неказист он,  
Пусть нету деревьев в нем даже —  
Все еще впереди,  
Раз мы вместе мечтаем о том,  
Как в суровом краю  
Встанет зелен и многоэтажен  
Современнейший город,  
Украшенный морем цветов.  
А пока что опять  
Ветер с моря доносит прохладу.  
На пороге зима.  
Как еще далеко до весны!  
Мыждемся ее,  
Дорогой наш, любимый Анадырь,  
Город нашей мечты  
На краю необъятной страны.

ДОРОГА

*А. Халецкой*

И это называется — дорога!  
Но нет другой.  
Здесь черт сломает ногу  
В коряжинах, что речка нанесла.  
В быстринах  
Лодку треплет и вращает,  
И норвит на отмелях песчаных  
Спаستись она, не слушаясь весла.  
Наш кавалер,  
Могучий наш попутчик,  
Вдруг охнул и упал на самой круче.  
— Ну что ж ты, друг!  
— Не бойся! Ничего...  
Мы, две девчонки, —  
Мужика на плечи  
И в лодку усадили —  
Так, мол, легче,  
Сиди, мол, потихонечку, увечный.  
И потащились дальше — бечевою.  
На кочках, на сыпучей  
гальке скользкой  
Мы падали —  
Не сосчитаешь сколько!  
Но к ночи, пригибаясь до земли,  
Доволокли мы лодку до избушки,  
На мох свалились, словно на  
подушки,  
Совсем без сил.  
И, глядя друг на дружку,  
Разулыбались:  
— Все-таки дошли!  
\* \* \*  
Лишь только солнце повернет к  
весне,  
Я начинаю тосковать о тундре...  
Как в юности искрится талый снег  
И отражает радостное утро,  
И меж яранг, что выстроились в ряд,  
Потешные следочки оленят.

И в беспокойном сердце тундровички,  
Где память предков —  
Искрою живой,  
Вновь воскресает древняя привычка  
К прекрасной жизни,  
Жизни кочевой.

Опять лечу я думой спозаранку  
На легких нартах —  
Только снег врзлет —  
В далекий край,  
Где в старенькой яранге,  
Как прежде, моя молодость живет.

Какое это счастье и отрада —  
Войти в жилище, одолев простор,  
И ощутить —  
Тебе сердечно рады,  
И для тебя —  
Негаснущий костер!

БЫСТРЫ,  
КАК ПЕСНИ

Словно шелковая травка,  
В даль бегущая под ветром,  
Как теченье речки звонкой,  
Руки женские быстры.  
Светлой молнией играет  
Острый нож в руках рыбачек,  
До локтей посеребренных  
Крупной рыбьей чешуей.  
Посмотри на эти лица,  
Загоревшие под солнцем,  
Загляни в глаза рыбачек —  
В них и смех, и озорство.  
Как они сейчас красивы,  
Сколько легкости в движениях,  
Им тяжелая работа,  
Видно, праздник для души.  
Над лиманом прибаутки,  
Над лиманом льются песни.  
Море тоже песню ладит —  
Кто кого перепоеет,  
И торжественно качает  
На груди широкой лодки,  
И лениво гальку гладит  
На прибрежной полосе.  
Море на улов богато —  
Люди песнею богаты!  
Руки ловкие мелькают  
В ритме музыки труда.  
И легки они, как песня,  
И проворны, словно волны.  
В единении с природой  
Люди счастливо живут!

*Перевод с чукотского  
Г. ИВАНОВА*



# той сировый, нежный Коолень

ПАМЯТИ ВЛАДИЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЛЕОНТЬЕВА —  
УЧЕНОГО, ПУТЕШЕСТВЕННИКА И ПИСАТЕЛЯ

ЛИРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
СУДЬБЕ ОДНОГО ОЗЕРА НА ЧУКОТКЕ

## Озеро танцующих смерчей

Чукотка — крупный полуостров, самая северо-восточная оконечность Азии. Эту информацию можно получить от любого пятиклассника.

Но если в ясный солнечный день взойти на гору Гыргынолвэн на хребте Айнан, что защищает бухту Лаврентия от восточных ветров, и оглядеться вокруг, то...

Не только пятикласснику, даже матерому путешественнику такое не всегда выпадает в жизни. К тому же ясные и солнечные дни здесь, на Восточной Чукотке, случаются так редко! А потому, если вы оказались на вершине горы Гыргынолвэн ясным и солнечным днем, когда дали глубоки и прозрачны, считайте, что вам необыкновенно повезло.

Итак, если подняться и оглядеться...

Прямо перед собой вы увидите массивный мыс Дежнева, направо — воды Тихого океана, налево — Северного Ледовитого. Среди ледяных полей Берингова пролива возвышаются острова Диомиды, а на горизонте, сквозь дымку, едва проступают вершины Аляски...

Трудно поверить — стоишь — оконечности одного материка и видишь начало другого. Справа — один океан, слева — другой. В поле твоего зрения два материка и два океана сразу!

Здесь начинается наша Родина. Отсюда восходит день.

А вокруг — сопки с угрюмыми каменными останцами. Покой и пространство. В заколдованном молчании неоглядная пустыня. И тишина какая-то напряженно-прозрачная, тревожная. Но тревожна она лишь для тебя, человека, существа инородного здесь и потому подавляемого огромностью пустыни и ее внутренним напряжением.

Безмолвное пространство под куполом низкого полярного неба кажется огромной усыпальницей, где вечным сном покоятся исполины — сопки. Если приглядеться, то в очертаниях почти каждой из них можно увидеть что-то напоминающее человеческое обличье. То женщина, покойно скрестившая на груди руки, то гигантская голова старца, вросшая в землю, то запрокинувшийся профиль юноши. Охватывает легкое чувство суеверного страха, и ты ощущаешь себя пигмеем в царстве окаменевших великанов. Начинаешь нутром понимать истоки первобытных религий, и нечто атактистическое вдруг зашевелится в глубинах твоего оцивилизованного существа...

А внизу, зажатое сопками, голубым бумерангом на серо-зеленом фоне тундр, распласталось озеро Коолень.

Озеро Коолень — так произносят это название Владилена Вячеславовича Леонтьева, этнограф, путешественник и писатель. Такой же выговор я слышал в селе Лаврентия у местных жителей. Наверное, оно и правильное, но на карте написано Коолень, и мы будем называть его так же. Я поинтересовался переводом.

— За совершенно точный перевод не ручаюсь, — отве-

тил Владилена Вячеславовича, — но это обозначает что-то вроде провала или глубокой пропасти.

Хотя чукчи и эскимосы не имели сколько-нибудь удовлетворительного представления о внутреннем строении Земли, они геологически точно определили природу озера.

Озеро Коолень на самом деле — тектонический провал и по происхождению сравнимо с самым глубоким озером мира — Байкалом.

Коолень протягивается на пятнадцать километров в длину, ширина его не превышает двух. В пространстве озеро располагается широтно, а контуры напоминают бумеранг. Западная часть озерного провала имеет, вероятно, большие глубины, так как, находясь не более чем за триста метров от берега, я не смог достать дна, распустил спиннинговую леску на девяносто метров. Восточная часть обрамлена нешироким песчано-галечным пляжем. Пляж плавно уходит под воду, образуя обширные прибрежные мелководья. Это хорошо видно в тихую погоду, так как вода в озере чиста и прозрачна. Но она имеет густо-синий оттенок, на определенных глубинах эта синева сгущается и становится сине-черной, и тогда уже не просматривается, а озеро кажется бездонным, и сине-черная холодная мгла надежно скрывает от тебя тайны еще никем не промеренных глубин.

Водосбор озера невелик. Две небольшие речки длиной не более десяти километров несут свои воды с западной стороны. Еще два десятка ручьев с обоих бортов пополняют его водный запас, да многочисленные распадки струят почти дистиллированную влагу в общую копилку, собирая дождевую воду и воду тающих все лето снежников. И только одна речка, заметьте, как и у озера Байкал, вытекает из Кооленя. Правда, вот какая незадача: мне еще не приходилось видеть озер, из которых бы вытекало две речки сразу. Конечно, красивая легенда сложилась о строптивой дочери старика Байкала, но озеро вообще бывает либо бессточным, либо из него вытекает только одна река.

Речка, вытекающая из озера Коолень, называется Кооленьем — Кооленьская река, что, стало быть, обозначает — вода, вытекающая из пропасти. Речка эта достаточно полноводна, и на резиновых лодках по ней можно сплавиться в Ледовитый океан. Если, конечно, в Ледовитый океан вам очень хочется.

Владилена Вячеславовича сказал мне:

— Вообще говоря, у чукчей к озеру Коолень особое отношение.

Оно замешано на суеверном страхе и на древних легендах.

По крайней мере, представление об озеру Коолень связано с некоторой таинственностью...

Не знаю, как там с таинственностью, но озеро Коолень, когда его узнаешь вплотную, внушает уважение.

Досигаемое для взора пространство широко и пустынь-

но. Дали скрадываются, сокращая расстояние. Кажется: раз-два, и сбегаю вон на ту сопку. Однако идешь-идешь, а сопка все остается на том же удалении. Получается эффект горизонта или радуги, к которым пытаешься приблизиться. Когда смотришь на карту, все становится ясно: до сопки не один и даже не два, а полдюжины километров тундры.

То же самое и с озером — садись в лодку и мигом на той стороне. Но не гут-то было! Молотишь по воде веслами полчаса, а то и сорок минут, и только тогда достигаешь желанного противоположного берега. Но это если вдруг не поднялся встречный ветер. А сорок минут на озере Коолень — серьезный отрезок времени. Здесь удивительно изменчива погода. В течение дня она может перемениться несколько раз. Это, вероятно, обусловлено тем, что здесь постоянно противоборствуют воздушные массы двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого, да еще прилетают ветры с материка.

Над озером иногда возникают покой и тишина. Не приходят, не наступают или медленно устанавливаются, а именно возникают, почти мгновенно и по всей озерной котловине. Поверхность озера становится, как расплавленное и вновь застывшее бутылочное стекло, в котором до мельчайших подробностей отражаются прибрежные сопки и синее летнее небо. Краски невероятно сочны и как будто бы неестественны, словно ты находишься в центре слайда, выполненного на высококачественной пленке. Окружающее благолепие и покой. И тишина. Окружающий ландшафт — словно застывший мираж. И все вокруг: остекленевшая вода, небо, яблочная зелень тундр и обрамляющее озеро сопки, когда трудно понять, отражение это или натура, сливаются в единый образ, который невозможно передать ни словом, ни кистью живописца, ни виртуозным звуком. Наверное, чтобы выразить возникающее чувство, необходимы и слово, и краски, и звуки одновременно. А может быть, и этого будет недостаточно. Чтобы пережить возникающее мироощущение, надо просто оказаться в эти мгновения здесь, на озере.

В окружающей природе возникает гипнотизирующая и успокаивающая душу неслышимая мелодия постоянства и вечности — так было, так будет всегда! Но... Но тишина пронзительна и тревожна, и сквозь мелодию покоя и вечности эта тревога укалывает сердце, и уже нет веры, что так оно и будет. И уже сознание четко формулирует, что тишина, покой и тепло — не вечны, а даны они для того, чтобы успеть морально и физически подготовиться. Подготовиться к борьбе за существование. Если бы такое благолепие сохранялось здесь хотя бы даже два коротких летних месяца, то не были бы так искалечены морозами и ветрами низкорослые ивнячковые кустарники, не были бы так скудны прибрежные тундры, а поля снежников-перелетков в конце августа не ослепляли бы белизной своей...

Казалось бы, навечно установившийся покой в природе через какие-нибудь час, от силы — полтора, нарушается. Озерная гладь зашершавилась — отражение берегов и неба гаснет. Не успеешь опомниться, как по озеру, набирая силу, катят крутые волны. Озерная котловина меняет окраску: спокойные зеленовато-голубые тона набирают индиговую глубину, и вот уже синие до черноты валы контрастно обрамляются холодом белых барашков.

Ветер возникает при совершенно безоблачном небе и с каждым новым порывом толчками крепчает. Два встречных потока: один с северных отрогов гор, обрамляющих западную оконечность озера, другой — с южных, обрушиваются в озерный провал и сшибаются над уже закипающей водной поверхностью. Здесь, в противоборстве двух встречных потоков, зарождаются вихри. В озерной котловине, как в трубе ускорителя, столкнувшиеся воздушные массы набирают скорость и силу. Вихри перерастают в смерчи, и ты оказываешься свидетелем фантастической картины. Синее летнее небо растерялось в белесо-серой дымке, стало непрозрачным, холодным. Солнце превратилось в расплывчатое матовое пятно. Горы и тундры потемнели, нахмурились.

А над черной водой, над ожесточившимся ландшафтом, стоят белые столбы — это смерчи срывают воду с гребней волн и поднимают ее распыленной на высоту нескольких сотен метров. Они возникают последовательно, один за другим, и стремительно движутся с западного конца озера к восточному. Иногда смерч проносится над берегом, тогда вихревым потоком захватывается прибрежный песок, листья, трава, мелкие сучки и даже целые ветви. Все захваченное устремляется вверх и исчезает с глаз в непрозрачной высоте.

Иногда можно наблюдать три, а то и пять белых столбов одновременно.

Ваханалия стихий рождает в душе тревожный восторг, а непонятное буквосочетание — Коолень — уже не удовлетворяет взбудораженный зрелищем разум. И ты ищешь свое название озеру: «Бешеное», «Кипящая преисподняя», «Озеро танующих смерчей» или даже так: «Столбовая дорога к верхним людям»...

## Чукотка — это Чукотка

На Восточной Чукотке не растут леса, не потому ли над тундрами и каменными гольцами бесчинствуют сумасшедшие ветры. Наибольшей разрушающей силы они достигают зимой, а зима, как известно, продолжается здесь долгих девять месяцев. Ломовую эту силу со страхом и, наверное, не до конца понимаешь, когда рассматриваешь искореженный триангуляционный пункт где-нибудь на горе. Стальную треногу ветер закручивает в штопор, а поскольку основание ее надежно забетонировано в камень, ее, искалеченную, сгибает и расстилет по земле, как траву.

Но и короткое чукотское лето изобилует ветреной погодой. У того, кому доводилось работать здесь, кроме прочих разнообразных впечатлений, навсегда остается память о необузданной сумасбродности и жестокости чукотских ветров.

Когда подымается ветер и начинает крепчать, брезентовая палатка, такая по-домашнему уютная в тихую, пусть даже дождливую погоду, уже не кажется вам надежным домом. Если ваши нары соединены с каркасом, то лежишь на них, как на телеге, которая катит по ухабистой дороге, и, не ровен час, из этой телеги вот-вот вывалишься. Брезент палатки упруго вминается во внутреннее пространство вашего жилья, а когда порыв стихает или, завихряясь, меняет направление, оглушительно и устрашающе хлопает. Печку, если она у вас и стоит, топить нельзя — огонь и дым задувает в палатку, может вырвать трубу, в общем, обстановка пожароопасная. А если еще и дождь с мокрым снегом, то уже через полчаса палатка вас не защищает — вода течет по всем швам и порам брезента...

За два полевых сезона на Чукотке мне дважды приходилось представлять на списание груды брезентового тряпья, распущенного на ленты и клочья — все то, во что превратились после штормовой погоды некогда вполне как будто бы добротные палатки.

Конечно же, на Чукотку, на озеро Коолень, я пришел не для того, чтобы наблюдать природу и заходить от восторга. Наш отряд геологический — мы интересуемся древнейшей историей Земли, то есть тем, что было ни мало ни много — миллиард и более лет тому назад. Мы делаем работу, результаты которой будут освещены в отчетах и статьях. То, о чем пишу здесь — лирика, а ей, как известно, нет места в официальных документах и научных построениях.

За двадцать пять лет работы мне довелось побывать во многих местах Севера: от Верхоянья до Корякии. И везде есть неповторимый колорит. Но Чукотка — это Чукотка!

Совсем не ради красного словца говорят, что на Чукотке грибы вырастают выше деревьев. Это действительно так: торчит над тундрой этакий оранжево-голубой подосиновик, а карликовая березка и ивнячки стелются возле его ядерной ножки.

А зайцы здесь собираются в стада до тысячи голов и больше. Оказывается, для зайцев Чукотка — обетованная

земля. Ивнячковые карликовые кустарники составляют до сорока процентов зелени некоторых тундр, а это — основная заячья пища и зимой, и летом. Теплая шуба охраняет зайца от лютых холодов, и дом всегда можно найти в каменных развалах. А на просторе тундр и гольцов ну-ка попробуй догони длинноухого прыгуна. Вот и плодятся они тут безудержно. И врагов у зайцев, кроме человека, не так уж много: волк, россомаха, лиса, песец да сова полярная. Но это, как установлено теперь наукой, для санитарии заячьего племени просто необходимо. Самый же главный бич для зайцев на Чукотке, как и для оленей — гололед и еще периодически наступающие эпизоды.

Наши три палатки: две жилых и одна продуктовая, притулились у подножия сопки в невысоких ивнячковых кустах почти на самом берегу озера. О том, что здесь имеется продуктовый склад и есть чем поживиться, уже давно стало известно многочисленному семейству евражек, проживающему на территории вокруг. В результате мы находимся в блокаде у этих симпатичных и любопытных зверьков. Они нас вовсе не боятся, но и слишком фамильярной близости не допускают. Но с этими хвостатыми, пушистыми и глазастыми толстячками ухо надо держать востро, потому как наши продукты они совершенно искренне считают своими.

Низко над тундрой, над береговой полосой бесшумно и стремительно протянулась стая серых гаг. Белых с черным красавцев самцов поблизости не выдать. В то время, как самки высиживают и пестуют потомство, самцы-селезни собираются в стаи и по-холостяцки наслаждаются жизнью на побережье Ледовитого океана.

Вот чайки подняли над озером тревожный гвалт. Понятно: рыскает по берегу лисица или песец и чайки этим не на шутку встревожены.

А над озером, над просторами тундры звонкими колокольцами разносятся журавлиные клики. Это на сопке с пологими и протяженными тундровыми склонами длинношея и длинноногая чета учит летать свое единственное и такое же длинноногое и длинношеее чудо.

А еще на Чукотке живут шмели. Здешний шмель солиден, нетороплив. Без суеты, вдумчиво занимается он сбором нектара и опылением некрупных, но ярких и многочисленных тундровых цветов. Простор для работы необозрим, а нектаросборщиков мало, и потому он не суется, и словно понимает: для того, чтобы сделать большую работу, торопиться надо не спеша...

## Большой Голец

Когда я собирался на озеро Коолень, знатоки, загорающаяся глазами и широко разводя руки, говорили:

— Ну, брат, тебе повезло. Там знаешь какие гольцы?! До десяти килограммов экземпляры случаются!!

В озере Коолень рыба, конечно, есть. Но надо быть достаточно искусным рыбаком, чтобы не сидеть на берегу озера без рыбы. Перечень постоянно живущих здесь рыб невелик: хариус да налим, и голец. Заходит на нерест, но очень немного, горбуша и кета. В озере выгуливается сельдь — рыбка, похожая на ряпушку, ну и голец проходной, арктический — вот это как раз рыба выделенная и для рыбака-спортсмена, и для гурмана тоже.

Хариус северянину — рыба известная. Наверное, всякий знает, как его ловить, жарить и даже солить. А вот с налимом, как мне кажется, знаком не всякий. Налим странная рыба. Ночной хищник, собиратель падали. Плавать-то как следует не умеет, а неуклюже ползает по дну. Голова широкая и плоская, маленькие глазки расставлены далеко друг от друга. Глаза таращатся на мир глуповато, но и печаль в них какая-то вселенская улавливается. И вообще в налииме обличья есть что-то человекообразное. Недаром у чукчей до сих пор существует древняя легенда о том, что якобы в озере Коолень, а может быть, и в другом каком озере, живет Рыба-Мама, прародительница рода человеческого.

Все свободное время: перед маршрутами и после, время свободное от камеральных и хозяйственных работ, я провожу на озере. Резиновая лодка ЛАС-300 — мой корабль, спиннинг, оснащенный японской лесой толщиной 0,35 мм и самодельной «фирменной» блесной — мое оружие. Я иду по следу Большого Гольца. Меня уже не охватывает восторг, если я вытаскиваю хариуса на килограмм с лишним весом. К стати сказать, хариус — вялая рыба для спиннинговой рыбалки. Не горячусь я и тогда, когда вываживаю гольца на полтора или два килограмма. Я уже совершенно точно знаю, что в озере пришел Большой Голец. Когда озеро замирает в тихой задумчивости и то там, то здесь на глади его вспыхивают рыбки всплески, Большой Голец тогда проявляет себя гулким и мощным ударом по воде. Это он врывается в стаю сельденок и совершает свой роковой прыжок. И я гоню красную резиновую лодку туда, где по зеркальной глади расходятся круги, обозначающие место рыбьей трагедии...

У меня саднит рука, незаживающий глубокий порез — след от первой встречи с Большим Гольцом. Это произошло три дня назад. Блесна, влекомая невидимой леской, матово сверкнула в воде уже у самой лодки, когда стремительная тень метнулась наперерез ей. Тупой и тяжелый толчок, я едва удержал спиннинг, но рукоятка катушки вырвалась у меня из руки и больно, до крови ударила по косточкам пальцев. Катушка заверещала, разматываясь, и непонятно, как леса перехлестнулась через ладонь. Еще один неистовый рывок — пронзительная боль в руке, как струна, дзинькнула оборванная леса, и все кончилось. Я сидел в лодке ошарашенный, тихо капала кровь на черную резину болотного сапога...

Вот уже три дня я в каком-то лихорадочном состоянии. Сегодня с утра погода выдалась сумеречная, со слабым ветерком, погода, по моему раскладу, самая подходящая. С утра я даже повздорил с начальником отряда, отказавшись идти в маршрут, по причине, якобы уважительной — необходимость разобраться с образцами или еще что-то вроде того. Но производственные задачи были только поводом. Мне казалось: или сегодня, или никогда! Я ощущал себя неистовым мелвилловским Ахавом в погоне за Моби Диком...

И вот я хлещу озеро спиннинговой лесой, который уже час подряд. Болят плечи, рука устала крутить катушку, уже на дне лодки дергаются, засыпая, подложки некрупных гольцов, но Большой Голец почему-то не хочет встречи со мной...

Все произошло почти так, как в прошлый раз. Рыбина схватила блесну под самой лодкой. Но сейчас я был готов: хладнокровно подсек, надежно вонзая жала тройника в невидимую плоть хищника, и застопорил катушку на трещотку. Колесом согнулось металлическое спиннинговое удилище, катушка не трещала, а визжала, догоняя стремительно разматывающуюся леску. Большой Голец пошел почти вертикально вниз, в черную глубину. Полетели секунды и метры: двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят... Примерно на восьмидесяти метрах, когда я уже перепугался, что кончится леска на катушке, Большой Голец резко остановился, а затем бросился вверх и в сторону. Я, стараясь держать леску внатяг, с трудом выбирал ее на катушку — метры лески мне позарез нужны для маневра. Слышу, как за кормой шуршит бурун — рыба влечет меня вместе с лодкой по озеру.

Борьба продолжалась, наверное, минут сорок. Я вымотался вконец, но и Гольца довел до кондиции — тот уже вяло и обреченно подчинился капроновому поводку. Я подтащил его к лодке метров на десять, зажав спиннинг коленями, подогнал лодку к берегу и вытащил Гольца на пологий песчаный пляж. На суше он снова обездумел и начал неистово дергаться, но это уже была агония. Я лежал рядом на песке обессиленный и опустошенный. Рана на руке снова кровоточила и болела. И странное дело... Мне стало жаль Большого Гольца.

Пружина безмена растянулась на шесть килограммов пятьсот граммов. Понятно, что это был не Самый Большой Голец озера Коолень, однако рыбина такого веса и

размера до сих пор — мой личный рекорд в спиннинговой рыбалке...

И все же — «большое видится на расстоянии».

Вертолет за нами прилетел в тот день, на который был заказан. Против обыкновения, вертолетчики не особенно торопились. Второй пилот и механик, развернув свои снасти, побежали к озеру. Командир летательного аппарата, крупногабаритный, по-аэрофлотовски элегантно мужчина, только снисходительно усмехнулся. Но сквозь солидность и иронию проглядывало, подавляемое усилием воли, откровенное желание отправиться вслед своим коллегам и, словно оправдывая их и себя, командир сказал:

— В позапрошлом году на озере стояли ихтиологи. Рыбы в озере, говорили, немного, но отдельные гольцы встречаются фантастических размеров... Глубины меряли. В одном месте, говорят, распустили лить на двести восемьдесят метров, а дна не достали — линия не хватило!.. А в прошлом году здесь выловили налима на сорок килограммов. Погрузили в ГАЗ-47 — хвост остался снаружи болтаться!..

Пилот заложил над озером прощальный вираж. Я сидел в брюхе вертолета, вlepившись в стекло иллюминатора. Вертолет набирал высоту. Горизонты раздвигались, а кусочек земли, обойти который нам стоило немалых трудов, все уменьшался: низенькими становились горы, а маршруты, казавшиеся длинными, укорачивались.

Озеро Коолень тоже меняло свой облик и с высоты птичьего полета стало похожим на десятки и сотни озер Севера. Почему-то вспомнилось:

...Лицом к лицу — лица не увидать.

Большое видится на расстоянии...

И вдруг я усомнился в верности есенинского постулата: я было в упор заглянул в глаза озеру и как будто бы что-то начал различать в таинственных глубинах, но подивившись на некоторую высоту, потерял даже намек на это понимание...

В Беринговом проливе возле островов Диомиды белели блуждающие ледяные поля, горы Аляски грядой тянулись по горизонту, а вертолет уже пошел на снижение, пересекая бухту Лаврентия. И мне подумалось о том, как мала, но и как огромна наша планета. Секрет заключается только в том, как и откуда на нее посмотреть...

Озеро Коолень уже не было видно, оно скрылось за отрогами хребта Айнан. Не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь еще, но без этого сурового кусочка земли, где я чего-то недосмотрел, недопонял, недопрочувствовал, мне уже никогда не представить Чукотки, без Чукотки неполным будет портрет моей Родины, а значит неполным и образ моей планеты Земля...

## Совсем не лирическое послесловие

В 1988 году, то есть четыре года спустя, интересы геологической науки снова привели меня в село Лаврентия. На этот раз наш отряд из четырех человек забрасывался в верховья реки Чегитунь с тем, чтобы на резиновых лодках сплавиться до Ледовитого океана — мы продолжали изучение древнейших горных пород Восточной Чукотки. До Ледовитого океана мы не дошли. Впрочем, посещение побережья не входило в наши научные планы, достичь его берегов нам хотелось просто из любопытства. Но наш отряд вертолетом Ми-8 был снят буквально со слава, до устья реки Чегитунь оставался один перегон — не более тридцати километров.

Командиром летательного аппарата оказался Ивашенко Анатолий Николаевич, тот самый по-аэрофлотовски элегантно крупногабаритный мужчина, который четыре года назад забрасывал нас на озеро Коолень и вывозил обратно. К слову сказать, с Анатолием Николаевичем мы были знакомы еще и раньше. В 1981 году он же выбра-

сывал наш отряд из Анадыря в суровые северные отроги хребта Пекульней. Тогда беспардонно перегруженный нами вертолет при первой посадке на точке практически упал с высоты десяти-двенадцати метров. Все обошлось без потерь, но страху и мы, и вертолетчики чуток хлебнули. Как известно, такие случаи не забываются, а участники события друг дружку помнят и уважают. «Крестники» как-никак.

В свое время мой очерк об озере под названием «Коолень — младший брат Байкала» был напечатан в «Магаданской правде». Анатолий Николаевич очерк, по-видимости, читал, так как даже в лихорадочной суматохе погрузки он не преминул пожаловаться:

— А наш «Маленький Байкал» почти погубили: расковыряли, загадили, обезобразили!..

— Кто же?

— Экспедиция «Севморгео» бесчинствовала...

— ...

Базирующаяся в селе Лаврентия Чукотская партия Северо-Тихоокеанской экспедиции «Севморгео» вот уже несколько лет кряду искала по Чукотке некий драгоценный минерал. Если не месторождение, то хотя бы очевидное проявление. Но, увы и ах, — тщетно! Возникла научная гипотеза, которая определяла возможные перспективные геологические объекты. Но и гипотетически обоснованных объектов лаврентьевские поисковики найти не смогли — над партией навис дамоклов меч расформирования.

И тут появились мы — геологический отряд. В нашу задачу не входило искать что-то из полезных ископаемых, она состояла в углубленном изучении процессов в очень отдаленном геологическом прошлом. Кстати сказать, одним из существенных наблюдений оказалось генетическое сходство строения озер Коолень и Байкала. Приоритет такого сравнения, скажем без ложной скромности, принадлежит нам. Кроме того, по ходу работы в районе озера Коолень мы впервые обнаружили три геологических объекта, отвечающих вышеупомянутой поисковой гипотезе. Без торжественных дел формальностей, памятуя о профессиональных интересах и испытывая дружеское расположение к коллегам, о находке мы сразу же сообщили в Чукотскую партию по рации, двумя неделями позже передали образцы и точную привязку на карте.

Чукотская партия была спасена и просуществовала еще два года, занимаясь разведкой обнаруженных нами объектов. Однако ссылок на наше первооткрывательство в ее отчетах вы не найдете, вероятно, наши коллеги-геологи были уверены, что искомое полезное ископаемое они найдут, а потому зачем лишние рты возле горшка с пошрительным компотом. Но это уже вопросы этические и оставим их на совести людей, память которых так коротка.

Ни месторождения, ни даже рудопроявления наши конквистадоры, слава богу, не нашли, по словам же Анатолия Николаевича, наш «Маленький Байкал» почти погубили: расковыряли, загадили, обезобразили.

А если бы нашли?!..

С Анатолием Николаевичем я уговорился слетать на озеро Коолень, чтобы убедиться в содеянном нашими коллегам и, может быть, даже кое-что сфотографировать для всеобщего обозрения. Но, увы, так и не получилось.

И еще. То, что нас нет как первооткрывателей псевдоперспективных объектов в отчетах «Севморгео» — может быть, это и к лучшему: потомки не будут знать, кто стоял у истоков разведывательного разряда на одной из жемчужин Восточной Чукотки — озере Коолень. Однако меня все же гложет совесть: так необдуманно, так опрометчиво мы, и я в том числе, отдав небольшое, в общем-тоординарное открытие в нечистоплотные руки, оказались причастными к производственному авантюризму, чреватому разрушением того, что на экологическом языке называется памятником природы. В том, что озеро Коолень — такой памятник, у меня сомнений нет!

Магадан, 1984—1988 гг.



# СИБИРСКИЕ ТРАВНИКИ

Михаил СОРОКИН, педагог

В истории Сибири XVII век — головокружительный. За какие-то 50—60 лет после Ермака громадный труднодоступный край пройден вдоль и поперек. Словно яркая комета, сверкнула на сибирском небосклоне «златокипящая Мангазея». Сверкнула и... погасла. Выйдя на реку Лену, землепроходцы заверили правительство, что «та река Лена будет дру- гая Мангазея».

Спустя некоторое время в Моск- ву пришло сообщение об открытии Даурской земли. «Та земля,— гово- рилось в «Описании новья земли, сиречь сибирского царства»,— зело добра... на той Даурской земле вся- кий хлеб родится, рожь и яровой из единой меры родится 50, 60 и 70 мер, а по великой реке Амуре сам собой виноград растет, кроме человеческого труда... рыб, белуг, осетров, стерлядей, сазанов бесчис- ленно много...»

Лекарственные растения в этом списке, понятно, не стояли на пер- вом месте. Где им тягаться с драго- ценными баргузинскими соболями! И все-таки путешественники, возвра- тившиеся в Москву из дальних стран- ствий, поведали чиновникам Сибир- ского приказа, что «в Сибири по полям растет трава зверобой, растет кустами, а цвет на нем желтый и красный, лист невелик. Пригодна-де та трава от ран. Емлют ее летом в Петров пост, сушат на солнце, и высушив, толкут в муку, а как ис- толкут, станет она желта, что горо- ховая мука. И тое де траву ране- ные люди пьют. А собой она горька... А пьют ее кто сколько может — на день дважды и трижды».

Тотчас же в Сибирь был послан царский указ: «Травы зверобой и цвету тое травы, взяв у сибирских служилых людей, добрые и свежие, которую они збирали себе про за-

пас от ран и от убою, прислать к Москве».

Геодезист И. Шашков, составив- ший в XVIII веке описание Томско- го уезда, сообщал, что местные жи- тели с помощью зверобоя лечатся от «горячки». Делали они это до- вольно своеобразно — пили «листо- вой сушеный зверобой в теплых во- стях или в щербе рыбной». При- мочки из зверобоя пользовали от ушибов, ссадин, нагноений.

Не прошло и ста лет, а за Си- бирью прочно закрепилась слава края, чрезвычайно богатого лекар- ственным сырьем. Служилый чело- век Стенька Епишев сообщал, на- пример, что «таких, великий госу- дарь, лекарственных трав, которые растут в Сибири, в твоих государе- вх русских городах нет».

Здесь постепенно сложился слой людей, сделавших поиск лекарствен- ных трав своей профессией. В наро- де их называли — травники (травни- цы). Месяцами бродили они по ле- сам и лугам, выискивали лекарст- венные растения, сортировали их, колдовали над целебными настоями и составами. Репутация сибирских травников была столь велика, что лучших из них приглашали на ра- боту в Москву. В 1633 году, напри- мер, в Аптекарский приказ из Си- бири был приглашен Ерофей Муха- новский. Замечательным умельцем зарекомендовал себя якутский слу- жилый человек Степан Епишев. «Прислана твоя государева грамота в Якутской о лекарственных тра- вах, которые бы пригодились в ле- карства человекам, и велено о таких травах всяких людей спрашивать, кто знает. И я (речь идет о Степане Епишове — М. С.), слыша твоей го- сударев указ, подал воеводе и дьяку челобитную, чтобы меня отпустили в поля сыскивать лекарственных

трав. И дали мне наказную память, за твоею государевою ленскою пе- чатью и за дьячею рукою, и отпу- щали меня в поля, и велели искать лекарственные травы».

Богат и разнообразен был арсе- нал сибирской народной фармакопеи. Широко применялась, к примеру, богородская трава. С ее помощью лечили простуду, кашель, головную и зубную боль, припадки. Истол- ченную траву прикладывали к ра- нам.

Была известна колба, ее могучие противочинготные свойства. Колбу сибиряки солили впрок, весной воза- ми доставляли на рудники, в завод- ские поселки, где горнорабочие, при- сковики особенно страдали от ави- таминоза. Целебные свойства травы знали далеко за пределами Сибири. Знаменитый мореплаватель Крузен- штерн, отправляясь в кругосветное путешествие, приказал захватить с собой три огромных бочки соленой сибирской колбы...

Сибиряки радовались приходу долгожданного Маврина дня (16 мая). Можно было, наконец-то, испробо- вать свежую зелень, полакомиться зелеными шами. В народе день этот так и прозвали: Мавра — зеле- ные ши.

Собирались женщины красить холсты, и тут на помощь приходила сибирская флора. Есть под руками багульник — значит будет коричне- вая, желтая, зеленая, розовая крас- ки. Нет багульника — беда тоже не велика. Корешки шавеля также да- вали стойкий желтый цвет. Калган в сочетании с железным купоросом давал черную краску, квасцы — крас- ную. Возможности природной лабо- ратории были почти беспредельны. Умей только зорко вглядываться, используй ее дары.

г. Кемерово



**Эдгар БЕРРОУЗ**

Рисунки  
Елены Пьянковой  
и Николая Мооса

Д'Арно остался один. Он был храбр, но почувствовал, как зашевелились волосы на его голове, когда зловещий клич раздался с небес.

В том месте, где скрылось тело, послышался шорох. Ветки закачались, и исчезнувший чернокожий грохнулся на землю и застыл, не подавая признаков жизни.

Следом из тени листвы вынырнул молодой гигант, озаренный багровым светом костров. Что это могло значить? Кто это мог быть? Нет сомнения, что это существо несет ему новые пытки и новую гибель!

Д'Арно ждал. Он ни на секунду не отводил глаз от приближавшегося человека. Он увидел открытые, ясные глаза, которые не дрогнули под его пристальным взглядом. Д'Арно успокоился: хотя он не имел никакой надежды, но смутно чувствовал, что такое лицо не таит никакой опасности.

Не говоря ни слова, Тарзан перерезал веревки. Француз, ослабев от страданий и потери крови,

Продолжение. Начало в № 4—9

упал бы, но сильные руки поддержали его. Он почувствовал, что его поднимают с земли. Потом появилось ощущение полета, и он потерял сознание.

## Разведчики

Рассвет застал маленький французский лагерь, затерянный в джунглях, в печали и унынии. Как только стало достаточно светло, чтобы различить окружающую местность, лейтенант Шарпантье разослал по три разведчика в разных направлениях, чтобы отыскать тропу. Через десять минут она была найдена, и вся экспедиция поспешила назад, к берегу. Они шли очень медленно, потому что несли тела шестерых погибших,—еще двое раненых умерли за ночь, а многие нуждались в поддержке. Шарпантье решил вернуться в лагерь за подкреплением и сделать попытку выследить туземцев и спасти д'Арно.

Когда изнеможенные люди добрались до поляны у берега, то первой, кого увидели профессор Портер и Сесиль Клейтон, была Джен, стоявшая у двери хижины. Она бросилась им навстречу с криком радости и облегчения, обвила руками шею отца и впервые с тех пор, как они были высажены на этот ужасный берег, залилась слезами.

Профессор Портер старался мужественно подавить свое волнение, но нервное напряжение и упадок сил были слишком велики. Он долго крепился, но наконец, уткнув свое старое лицо в плечо дочери, тихо заплакал, как усталый ребенок.

Клейтон, желая оставить наедине отца с дочерью, присоединился к морякам и разговаривал с ними, пока шлюпка не отплыла к крейсеру. Лейтенант Шарпантье должен был доложить о неудачном исходе предприятия.

Клейтон медленно пошел к хижине. Его сердце было преисполнено счастья. Женщина, которую он любил, была спасена! Он дивился, каким чудом удалось ей спастись. Видеть ее в живых казалось почти невероятным. Возле хижины он увидел Джен Портер. Она поспешила к нему навстречу.

— Джен! — крикнул он. — Бог был поистине милосерд к нам. Скажите, как спаслись вы? Какой облик приняло провидение, чтобы сохранить вас?

Никогда прежде не называл он ее по имени, и сорок восемь часов тому назад Джен Портер залилась бы нежным румянцем удовольствия, услышав это обращение из уст Клейтона, теперь оно испугало ее.

— Мистер Клейтон! — сказала она, спокойно протягивая ему руку, — прежде всего позвольте мне поблагодарить вас за вашу рыцарскую преданность моему дорогому отцу. Он рассказал мне, какой вы были самоотверженный и смелый. Как сможем мы отплатить вам за это!

Клейтон заметил, что она не ответила на его дружеский привет, но не почувствовал никаких опасений. Она столько вынесла... Он сразу понял, что не время навязывать ей свою любовь.

— Я уже вознагражден, — ответил он, — тем, что вижу в безопасности и вас, и профессора Портера, и тем, что мы вместе. Я думаю, что не мог бы вынести дольше вида сдержанного и молчали-

вого горя вашего отца. Это было самое печальное испытание во всей моей жизни, мисс Портер. А к этому добавьте и мое личное горе — самое большое горе, которое я когда-либо знал. Скорбь отца вашего была так безнадежна, что я понял — никакая любовь, даже любовь мужа к жене, не может быть такой глубокой, полной и самоотверженной.

Девушка потупила взор. Ей хотелось задать один вопрос, но он казался почти святотатственным перед чувством этих двух людей и ужасных страданий, перенесенных ими в то время, как она счастливая сидела, смеясь, рядом с богоподобным лесным существом, ела дивные плоды и смотрела с любовью в отвечающие ей такой же взаимностью глаза. Но любовь странный властелин, а природа человека еще более странная вещь. И Джен все же спросила, хотя и не попыталась оправдать себя перед своей собственной совестью. Она себя ненавидела и презирала в тот момент, но тем не менее продолжала:

— Где же лесной человек, который пошел вас спасать? Почему он не здесь?

— Я не понимаю, — ответил Клейтон. — О ком вы говорите?

— О том, кто спас каждого из нас, кто спас и меня от гориллы.

— О! — изумился Клейтон. — Это он спас вас? Вы ничего не рассказали о вашем приключении.

— Но, — допытывалась она, — разве вы его не видели? Когда мы услышали выстрелы в джунглях, очень слабые, очень отдаленные, он оставил меня. Мы как раз добрались до открытой поляны, и он поспешил к вам на помощь.

Тон ее был почти молящий, выражение — напряженное от сдерживаемого волнения. Клейтон не мог не заметить этого и смутно удивлялся, почему она так сильно взволнована, так озабочена тем, где находится это странное существо. Он не догадывался об истине, и как мог он о ней догадаться? Однако его охватило предчувствие какого-то грозящего ему горя, и в его душу бессознательно проник зародыш ревности и подозрения к обезьяне-человеку, которому он был обязан своим спасением.

— Мы его не видели, — ответил он спокойно. — Он не присоединился к нам. — И после минуты задумчивого недоумения добавил: — Возможно, что он ушел к своему племени — к людям, которые напали на нас.

Клейтон сам не знал, почему он так сказал: ведь он не верил этому, но любовь — такой странный властелин!

Девушка посмотрела на него удивленно.

— Нет! — воскликнула она пылко, слишком уж пылко, подумалось ему. — Это невозможно. Они — негры, а он ведь белый и джентльмен!

Но Клейтон стоял на своем.

— Он — странное, полудикое существо джунглей, мисс Портер. Мы ничего не знаем о нем. Он не говорит и не понимает ни одного европейского языка, и его украшения и оружие — украшения и оружие дикарей западного побережья.

Клейтон говорил возбужденно.

— На сотни миль вокруг нас нет цивилизованных людей, мисс Портер, одни дикари! Он, наверное, принадлежит к племени, нападшему на

нас, или к какому-нибудь другому, но столь же дикому. Он, может быть, даже каннибал.

Джен Портер побледнела.

— Я этому не верю, — прошептала она еле слышно. — Это неправда. Вы увидите, — сказала она, обращаясь к Клейтону, — что он вернется и докажет, что вы неправы. Вы его не знаете так, как знаю я. Говорю вам — он джентльмен.

Клейтон всегда был великодушен, но ее яростная защита лесного человека подстрекала его к безрассудной ревности. Он вдруг забыл все, чем они были обязаны этому дикому полубогу, и ответил Джен с легкой усмешкой:

— Возможно, вы правы, мисс Портер, но я не думаю, чтобы кому-нибудь из нас стоило особенно беспокоиться об этом молодце, поедающем падаль. Конечно, может быть, он полупомешанный, потерпевший когда-то крушение, но он забудет нас так же скоро, как и мы забудем его. В конце концов, это только зверь джунглей, мисс Портер! Девушка не ответила, но почувствовала, как больно шло ее сердце. Гнев и злоба, направленные на того, кого мы любим, ожесточают наши сердца, но презрительная жалость заставляет нас пристыженно молчать.

Джен знала, что Клейтон говорил только то, что думает, и в первый раз попыталась подробно разобраться в своей новой любви и подвергнуть объект ее критике.

Она отвернулась от молодого человека и медленно пошла в хижину, напряженно раздумывая. Джен попыталась представить себе своего лесного бога рядом с собою в салоне океанского парохода. Она вспомнила, как он ест руками, разрывая пищу, словно хищный зверь, и вытирает затем свои пальцы о бедра, — и содрогнулась. Она пыталась вообразить, как представляет его своим светским друзьям — неуклюжего, неграмотного, грубого человека.

Джен задумчиво вошла в свою комнату, села на край постели из трав, прижав руку к тревожно дышащей груди, и вдруг почувствовала под блузкой твердые очертания медальона. Вынув медальон, она с минуту смотрела на него затуманенными от слез глазами, потом прижала к губам, зарыла лицо в папоротники и зарыдала.

— Зверь? — прошептала она. — Пусть тогда бог тоже обратит меня в зверя, потому что человек ли он или зверь — я его!

В тот день она больше не видела Клейтона. Эсмеральда принесла ужин, и она велела передать отцу, что ей нездоровится.

Следующим утром Клейтон рано ушел со спасательной экспедицией на поиски лейтенанта д'Арно. На этот раз отряд состоял из двухсот человек при десяти офицерах и двух врачах. Провианта было заготовлено на неделю. Были взяты с собой постельное белье и койки — для переноса больных и раненых.

Это был решительный и свирепый отряд — карательная, а вместе с тем и спасательная экспедиция. Они добрались до места схватки после полудня, потому что шли по знакомой уже дороге и не теряли времени на разведку. Оттуда слоновая тропа вела прямо в поселок Мбонги. Было всего два часа, когда голова экспедиции остановилась на опушке.



Лейтенант Шарпантье, командовавший отрядом, тотчас же послал часть его через джунгли, к противоположной стороне поселка. Другой отряд занял позицию перед воротами, в то время как сам лейтенант со своей командой остался на южной стороне поляны. Было условлено, что начнет атаку отряд, занимающий северную, наиболее отдаленную позицию. Их первый залп должен послужить сигналом для одновременной атаки со всех сторон.

Около получаса отряд с лейтенантом Шарпантье ждал сигнала, притаившись в густой листве джунглей. Эти полчаса показались матросам долгими часами. Они наблюдали, как туземцы работают на полях и спуют у ворот поселка.

Наконец раздался сигнал — резкий ружейный выстрел, и ответные залпы дружно ударили из джунглей на западе и юге.

Туземцы в панике побросали орудия труда и кинулись к палисаду. Французские пули косили их, и матросы, перепрыгивая через распростертые тела, бросились прямо к воротам.

Нападение было так внезапно и неожиданно, что белые добежали до ворот прежде, чем испуганные туземцы успели забаррикадироваться, и мгновенно поселок заполнился вооруженными людьми, схватившимися врукопашную. Несколько минут черные стойко сражались, но револьверы, ружья и кортики французов смяли туземных копейщиков и перебили черных стрелков с их полунатянутыми тегивами.

Скоро бой перешел в преследование и затем в страшную резню: французские матросы нашли обрывки мундира д'Арно на некоторых из черных противников.

Они щадили детей и тех женщин, которых они не были вынуждены убивать для самозащиты. И когда они, наконец, остановились, задыхаясь, покрытые кровью и потом, в поселке Мбонги не осталось ни одного воина, способного оказывать сопротивление.

Тщательно обыскали каждую хижину, каждый уголок, но не могли найти ни малейшего следа д'Арно. Знаками они допросили пленных. Один из матросов, служивший во французском Конго, заметил, что они понимают ломаное наречие, бывшее в ходу между белыми и наиболее низко стоящими племенами побережья. Но даже и тогда они не смогли узнать ничего положительного о судьбе д'Арно. На все вопросы о нем им отвечали возбужденной жестикуляцией или гримасами ужаса. Они решили, что все это лишь доказательство виновности этих демонов, которые две ночи тому назад умертвили и съели их товарища.

Потеряв всякую надежду, французы стали готовиться к ночевке в деревне. Пленных собрали в трех хижинах, где их сторожил усиленный караул. У запертых ворот были поставлены часовые, и весь поселок погрузился в сонную тишину, нарушаемую лишь плачем туземных женщин о своих погибших.

На следующее утро экспедиция двинулась в обратный путь. Моряки хотели сжечь поселок дотла, но потом отказались от этой мысли и не взяли с собой пленных. Имея крышу над головой и палисады для защиты от диких зверей, они получили шанс выжить.

Было очень поздно, когда отряд дошел до хижины на берегу. Его встретили печально-торжественно, мертвые и раненые, заботливо размещен-

ные на шлюпках, были осторожно отвезены на крейсер.

Клейтон, изнуренный пятидневной трудной ходьбой по джунглям и двумя схватками с черными, вошел в хижину, чтобы поесть и отдохнуть на сравнительно удобной постели из трав.

У дверей стояла Джен Портер.

— Бедный лейтенант! — сказала она. — Нашли ли вы хоть след его?

— Мы опоздали, мисс Портер, — ответил он печально.

— Говорите мне все! Что с ним случилось?

— Не могу, мисс Портер! Это слишком ужасно.

— Неужели они пытали его? — прошептала она.

— Мы не знаем, что они делали с ним перед тем, как убили, — ответил Клейтон с выражением жалости на измученном лице, делая ударение на «перед тем».

— «Перед тем», как они убили его? Что вы хотите сказать? Они не?.. Они не?.. — Она подумала о том, что Клейтон сказал о вероятных отношениях лесного человека с этим племенем, и не могла произнести ужасного слова.

— Да, мисс Портер, они — каннибалы, — сказал он почти с горечью, потому что и ему пришла в голову мысль о лесном человеке, и странная беспричинная ревность, испытанная им два дня тому назад, снова охватила его. И с внезапной грубостью, столь же чуждой Клейтону, как вежливая предупредительность чужда обезьяне, он сгоряча сказал: — Когда ваш лесной бог ушел от вас, он, наверное, торопился на пир.

Об этих словах Клейтон пожалел еще раньше, чем договорил их, хотя и не знал, как жестоко они уязвили девушку. Его раскаяние относилось к тому безосновательному вероломству, которое он проявил по отношению к человеку, спасшему жизнь каждому из них и ни разу не причинившему никому из них вреда.

Девушка гордо вскинула голову.

— На ваше утверждение мог бы быть один подходящий ответ, мистер Клейтон, — сказала она ледяным тоном, — и я жалею, что я не мужчина, чтобы дать вам такой ответ. — Она быстро повернулась и ушла в хижину.

Клейтон был медлителен, как истый англичанин, так что девушка успела скрыться прежде, чем он успел сообразить, какой ответ дал бы мужчина.

— Честное слово, — сказал он грустно, — она назвала меня лгуном! И мне слается, что я заслужил это, — добавил он задумчиво. — Клейтон, мой милый, я знаю, что вы утомлены и издерганы, но это не причина быть ослом. Идите-ка лучше спать!

Но прежде чем лечь, он тихонько окликнул Джен из-за парусиновой перегородки, желая извиниться. Однако с таким же успехом он мог бы обратиться к сфинксу! Тогда он написал записочку на клочке бумаги и просунул ее под перегородку.

Джен Портер, увидев бумажку, притворилась, что не заметила ее, потому что была очень рассержена, обижена и оскорблена, но она была женщиной и потому вскоре, как бы случайно, подняла ее и прочла:

«Дорогая мисс Портер, у меня не было ника-

кого основания сказать то, что я сказал. Единственное мое извинение — что, должно быть, нервы мои расшатались окончательно, впрочем, это вовсе не извинение! Пожалуйста, постарайтесь думать, что я этого не говорил совсем. Мне очень стыдно. Я никак не хотел обидеть вас, вас менее, чем кого бы то ни было на свете! Скажите, что вы прощаете меня.

Ваш Сесиль Клейтон».

«Нет, он думал так, иначе никогда бы этого не сказал, — рассудила девушка. — Но это не может быть правдой, я, я знаю, что это неправда!»

Одно выражение в записке испугало ее: «Я никак не хотел обидеть вас, вас менее, чем кого бы то ни было на свете». Еще неделю назад это выражение наполнило бы ее радостью, теперь оно угнетало ее. Она жалела, что познакомилась с Клейтоном. Она не жалела, что встретила с лесным богом, — нет, этому она была рада. А тут еще та, другая записка, которую она нашла в траве перед хижиной после своего возвращения из джунглей, любовная записка, подписанная Тарзаном из племени обезьян.

Что бы мог быть этот новый поклонник? Что, если это еще один из диких обитателей страшного леса, который может сделать все, что угодно для обладания ею?

— Эсмеральда! Проснитесь! — крикнула она. — Как вы раздражаете меня тем, что можете спокойно спать, зная, какое кругом горе!

— Габарелле! — спросонок завопила Эсмеральда. — Что тут опять? Гипносорог? Где он, мисс Джен?

— Вздор, Эсмеральда, никого тут нет. Ложитесь опять! Вы достаточно противны, когда спите, но еще несносней, когда проснетесь!

— Деточка вы моя сладкая, да что с вами, мое сокровище? Вы сегодня будто не в себе, — заворковала служанка.

— Ах, Эсмеральда, я сегодня совсем гадкая. Не обращайтесь на меня внимания — это будет самое лучшее с вашей стороны.

— Хорошо, сахарная моя, ложитесь-ка вы лучше всего спать. Ваши нервы в лоск издерганы. Со всеми этими рассказами массы Филандера о рипотамах да каких-то людоедских гениях оно и не удивительно!

Джен Портер засмеялась, подошла к кровати Эсмеральды и, поцеловав в щеку преданную негритянку, пожелала ей спокойной ночи.

## Братство

Лейтенант д'Арно очнулся на постели из мягких лопухов и трав в тесном шалаше. Из его выхода открывался вид на луг, покрытый зеленым дерном, за лугом сразу же поднималась плотная стена кустарников и деревьев.

Он был весь разбит и очень слаб. Когда сознание полностью вернулось к нему, он почувствовал острую боль в многочисленных жестоких ранах и тупую — в каждой кости, в каждом мускуле тела — последствия ужасных побоев. Француз приподнял голову — и это вызвало такую безумную боль, что он долго пролежал неподвижно, закрыв глаза.

Он пытался по частям воссоздать подробности того, что с ним случилось, до той минуты, когда он потерял сознание, чтобы найти объяснение своего теперешнего положения, стараясь понять, среди друзей ли он или среди врагов. Наконец ему вспомнилась вся ужасающая сцена у столба и странная белая фигура, в объятиях которой он впал в забытие.

Д'Арно не знал, какая участь ожидает его. Беспреданный гул джунглей — шорох листьев, жужжание насекомых, голоса птиц и обезьянок смешались в баюкающее ласковое мурлыканье. Казалось, будто он лежит отгороженный от мира — ад жизнью, звуки которых долетают до него смутным отголоском. Он впал в спокойный сон и проснулся уже после полудня.

Опять испытал он странное чувство полнейшей растерянности, которое отметил и в первое пробуждение, но теперь быстро припомнил недавние события и, взглянув через отверстие шалаша, увидел человека, сидящего на корточках. Видна была только широкая мускулистая спина, и хотя она была сильно загорелой, д'Арно понял, что это спина белого человека, и возблагодарил судьбу.

Француз тихо окликнул Тарзана. Он обернулся и, встав, направился к шалашу. Его лицо было прекрасно — самое прекрасное из всех увиденных д'Арно в жизни. Нагнувшись, он вполз в шалаш к раненому офицеру и дотронулся холодной рукой до его лба. Д'Арно заговорил с ним по-французски, но человек только покачал головой с некоторой грустью, как показалось французю.

Тогда д'Арно попробовал говорить по-английски, но человек снова покачал головой. Итальянский, испанский и немецкий языки привели к тому же результату. Д'Арно знал несколько слов по-норвежски, по-русски и по-гречески и имел поверхностное представление о наречии одного из негритянских племен западного побережья — человек отверг их все.

Осмотрев раны д'Арно, незнакомец вышел из шалаша и исчез. Через полчаса он вернулся с каким-то плодом вроде тыквы, наполненным водой. Д'Арно жадно напился, но ел немного. Его удивляло, что у него не было лихорадки. Опять попытался он говорить со своей странной сиделкой, но и эта попытка оказалась безрезультатной.

Внезапно человек вылез из шалаша и через несколько минут вернулся с куском коры и — о чудо из чудес! — с графитным карандашом. Усевшись на корточки рядом с д'Арно, он несколько минут писал на гладкой внутренней поверхности коры, затем передал ее французю. Д'Арно был изумлен, увидев написанную четкими печатными буквами записку по-английски:

«Я Тарзан из племени обезьян. Кто вы? Можете вы читать на этом языке?»

Д'Арно схватил карандаш и приостановился. Этот странный человек писал по-английски. Очевидно, он англичанин!

— Да, — сказал д'Арно, — я читаю по-английски. Я и говорю на этом языке. Значит, мы можем говорить с вами! Прежде всего позвольте мне поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.

Человек только покачал головой и снова указал на карандаш и кору.

— О! — воскликнул д'Арно. — Если вы англичанин, почему же вы не можете говорить по-английски?

И у него блеснула мысль: человек, вероятно, немой, возможно даже — глухонемой.

Д'Арно написал на коре по-английски:

«Я Поль д'Арно, лейтенант французского флота. Благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Вы мне спасли жизнь, и все, что мне принадлежит, — ваше! Не разрешите ли спросить: почему вы пишете по-английски, не говорите на этом языке?»

Ответ Тарзана привел д'Арно в полное изумление:

«Я говорю только на языке моего племени — больших обезьян, которыми правил Керчак. Говорю немножко на языке слона Тантора и льва Пумы и понимаю также языки прочих народов джунглей. С человеческим существом я никогда не говорил, за исключением одного раза с Джен Портер и то знаками. В первый раз я говорю с другим из моей породы путем переписки».

Д'Арно был поражен. Казалось невероятным, чтобы на земле существовал взрослый человек, который никогда не говорил с другим человеком, и казалось еще более нелепым, чтобы такой человек мог писать и читать! Он снова взглянул на послание Тарзана: «за исключением одного раза с Джен Портер». Это была американская девушка, унесенная в джунгли гориллой. Внезапная догадка начала брезжить в голове д'Арно: — так вот она — «горилла!» Он схватил карандаш и написал:

«Где Джен Портер?»

И Тарзан подписал внизу:

«Она вернулась к родным, в хижину Тарзана из племени обезьян».

«Значит, она жива? Где же она была? Что случилось с ней?»

«Она жива. Теркоз взял ее себе в жены, но Тарзан отнял ее у Теркоза и убил его раньше, чем он успел навредить ей. Никто в джунглях не может вступить в бой с Тарзаном и остаться живым. Я, Тарзан, из племени обезьян, могучий боец!»

Д'Арно написал:

«Я рад, что она в безопасности. Мне больно писать. Я отдохну немного».

И Тарзан ответил:

«Отдохните! Когда поправитесь, я отнесу вас к остальным».

Много дней пролежал д'Арно на своей постели из мягких папоротников. На второй день началась лихорадка, и д'Арно думал, что это означает заражение, и был уверен, что он умрет.

Ему пришла одна мысль в голову. Он удивился, как раньше не подумал об этом? Он позвал Тарзана и знаками показал, что хочет писать. А когда Тарзан принес кору и карандаш, д'Арно написал следующее:

«Не можете ли вы сходить к моим товарищам и привести их сюда? Я напишу записку, и они пойдут за вами».

«Я подумал об этом в первый же день, но не смел. Большие обезьяны часто приходят сюда, и если они найдут вас здесь одного и раненого, они вас убьют».

Д'Арно повернулся на бок и закрыл глаза. Он

не хотел умереть, но чувствовал, что наступает конец, потому что жар все повышался и повышался. В ту ночь он потерял сознание.

Три дня он бредил, а Тарзан сидел около него, смачивал ему голову и руки и омывал раны.

На четвертый день лихорадка прошла так же внезапно, как и началась, но от д'Арно осталась одна тень. Он страшно исхудал и ослабел. Тарзан должен был поднимать его, чтобы напоить из тыквы.

Лихорадка не была вызвана заражением, как думал лейтенант, а была одной из тех разновидностей, которую обыкновенно схватывают европейцы в джунглях — она или убивает их, или же внезапно покидает, что и случилось с д'Арно.

Два дня спустя француз, шатаясь, бродил по амфитеатру, и сильная рука Тарзана поддерживала его, не давая упасть. Они уселись в тени большого дерева, и Тарзан добыл несколько кусков гладкой коры, чтобы они могли разговаривать.

д'Арно написал первую записку:

«Чем могу отплатить вам за все, что вы для меня сделали?»

Тарзан ответил:

«Научите меня говорить на языке людей».

д'Арно начал тотчас же, показывая на обычные предметы и повторяя их названия по-французски, потому что он думал, что ему легче всего будет научить этого человека своему родному языку.

Для Тарзана это было, конечно, безразлично, потому что он не мог отличать один язык от другого. Тарзан был очень ревностным учеником и через два дня настолько освоился с французским языком, что мог произносить маленькие предложения, вроде «это дерево», «это трава», «я голоден» и тому подобное, но д'Арно нашел, что трудно учить французской речи на основе английского письма. Лейтенант писал маленькие уроки по-английски, а Тарзан должен был произносить их по-французски, но так как буквальный перевод оказывался из рук вон плох, то Тарзан часто становился в тупик. д'Арно понял, что он сделал большую ошибку, но ему казалось уже слишком поздно начинать все сызнова и переучивать Тарзана, особенно потому, что они уже быстро подходили к возможности разговаривать друг с другом.

На третий день после прекращения лихорадки д'Арно Тарзан написал записку, спрашивая его, чувствует ли он себя достаточно окрепшим, чтобы его можно было отнести в хижину. Тарзан так же сильно стремился туда, как и д'Арно: ему так хотелось снова увидеть Джен Портера! Ему было нелегко оставаться с французом все эти дни, когда все его существо рвалось к маленькому домику у моря. д'Арно, только и желавший этого, написал:

«Но вы не сможете нести меня все это расстояние через дремучий лес!»

Тарзан засмеялся.

— Чепуха, — сказал он, и д'Арно тоже громко засмеялся, услышав от Тарзана это слово, которое сам так часто употреблял.

Они отправились в путь, и д'Арно так же, как и Клейтон, и Джен Портер, изумился поразительной силе и ловкости обезьяны-человека.

Далеко за полдень добрались они до откры-

той поляны, и когда Тарзан спустился на землю с ветвей последнего дерева, сердце его громко стучало в груди в ожидании встречи с Джен Портером. Но возле хижины не было заметно никого, и д'Арно недоумевал, увидев, что ни крейсера, ни «Арроу» нет в бухте.

Вокруг не было ни души, и чувство одиночества передалось обоим мужчинам, направлявшимся к хижине. Оба молчали, но еще до того, как открыть дверь, знали уже, что они найдут за нею. Тарзан поднял шеколду, и тяжелая дверь повернулась на деревянных петлях. Хижина была пуста!

Мужчины посмотрели друг на друга. д'Арно понял, что товарищи считают его мертвым, Тарзан же подумал только о женщине, которая с любовью целовала его, а потом бежала, пока он оказывал услугу одному из ее спутников!

Великая горечь затопила его сердце. Он скроется в джунгли и вернется к своему племени. Никогда не захочет он вновь увидеть кого-либо из своей породы и не зайдет больше в хижину. Он навсегда оставит ее вместе с безумной надеждой, которую он здесь вскормил, надеясь найти собственный род и сделаться человеком среди людей.

А француз? А д'Арно? Что ж! Пусть идет он своей дорогой, как и Тарзан. Видеть его Тарзан больше не желает. Он хочет одного — бежать, бежать от всего, что может напомнить ему Джен Портер!

Пока Тарзан стоял на пороге, погруженный в свои мысли, д'Арно вошел в хижину. Он увидел, что в ней значительно прибавилось вещей. Немало предметов оказалось тут с крейсера — походная кухня, посуда, ружье и значительное количество патронов, консервы, одеяло, два стула, койка, несколько книг и журналов, большей частью американских. «Они намерены вернуться», — подумал д'Арно.

Он подошел к столу, который столько лет тому назад смастерил Джон Клейтон в виде пюпитра, и увидел на нем две записки, адресованные Тарзану из племени обезьян. Одна была подписана твердым мужским почерком, другая, запечатанная, — женской рукой,

— Здесь есть два послания вам, Тарзан! — крикнул д'Арно, обернувшись к двери, но его спутник исчез.

д'Арно подошел к двери и выглянул. Тарзана нигде не было видно. д'Арно громко позвал его, но не получил ответа.

— Проклятье, — воскликнул д'Арно, — он бросил меня! Я это чувствую. Он вернулся в джунгли и оставил меня одного.

И вдруг он вспомнил взгляд Тарзана, вошедшего в пустую хижину, — такой взгляд бывает у раненого оленя. Тарзану был нанесен жестокий удар. д'Арно это было совершенно ясно. Но почему? Он не мог понять.

Француз огляделся. Одиночество начинало действовать на его нервы, уже ослабленные страданиями и болезнью. Остаться один на один со страшными джунглями, никогда не слышать человеческого голоса, не видеть человеческого лица — в непрерывном страхе перед дикими зверями и еще более страшными дикими людьми — и погиб-

нуть от одиночества и безнадежности! Это было ужасно...

А Тарзан мчался по средним террасам ветвей к своему племени. Он никогда не путешествовал с такой безрассудной поспешностью. Тарзан чувствовал, что бежит от самого себя, что, несясь по лесу, как испуганная белка, он спасается от собственных мыслей. Но как быстро он ни мчался, мысли не отставали от него.

Тарзан пролетел над гибким телом львицы, шедшей в обратном направлении, — к хижине, покинутой им.

Что мог предпринять д'Арно против Сабор? Что сделает он, если горилла Болгани нападет на него? Или лев Нума, или жестокая Шита?

Тарзан остановился.

— Кто вы такой, Тарзан? — спросил он громко. — Обезьяна или человек? Если — обезьяна, то поступайте, как поступают обезьяны, бросая слабых умирать в джунглях. Если же вы человек, то вернитесь, чтобы защитить своего соплеменника. Вы не должны убегать от одного из своих, потому что другой сбежал от вас.

Д'Арно крепко запер дверь. Он очень нервничал. Даже храбрые люди, — а д'Арно был храбр, — иногда боятся одиночества. Он зарядил одно из ружей и положил его поблизости, затем вновь подошел к пюпитру и взял незапечатанное письмо, адресованное Тарзану. Быть может, в нем было сообщение, что корабли только временно покинули бухту. Он чувствовал, что не нарушит этики, если прочтет письмо, и потому вынул его из конверта и стал читать.

«Тарзану из племени обезьян. Благодарим вас за то, что мы пользовались вашей хижинкой, и огорчены тем, что вы нас лишили удовольствия видеть вас и поблагодарить лично. Мы ничего не испортили у вас и оставили много вещей для удобства и безопасности вашей в вашем одиноком доме.

Если вы знаете странного белого человека, который столько раз спасал нам жизнь и приносил пищу, и если вы общаетесь с ним, поблагодарите и его от нашего имени за доброжелательность.

Мы отплываем через час, чтобы никогда больше не вернуться, но хотелось бы нам, чтобы вы и другой наш друг в джунглях знали, что мы всегда будем вам благодарны за все, что вы сделали для чужестранцев на вашем берегу, а также, что и мы сумели бы гораздо лучше отблагодарить вас обоих, если бы вы только доставили нам для этого благоприятный случай.

С уважением Уильям Сесиль Клейтон».

— «Чтобы никогда больше не вернуться», — повторил д'Арно и бросился ничком на койку.

Час спустя он вскочил и прислушался. За дверью был кто-то, пытавшийся войти.

Д'Арно достал заряженное ружье и изготовился к стрельбе.

Уже смеркалось, и в хижине было очень темно, но он видел, что щеколда поднимается. Он почувствовал, как волосы стали подниматься дымом у него на голове.

Дверь осторожно приотворилась, и сквозь тонкую щель можно было видеть что-то стоящее за дверью. Д'Арно навел в щель вороненое дуло и спустил курок.



## Пропавшее сокровище

Когда экспедиция вернулась после бесполезных попыток спасти д'Арно, капитан Дюфрен выразил желание отплыть как можно скорее, и все были с этим согласны, кроме Джен Портер.

— Нет, — решительно заявила она капитану Дюфрену, — я не поеду, и вам не следовало бы ехать. В джунглях осталось два наших друга, которые придут сюда, надеясь на то, что их будут ждать. Один из них ваш офицер, а другой — лесной человек, который спас жизнь каждому из членов экспедиции моего отца. Он простился со мной на краю джунглей два дня тому назад, чтобы поспешить, как он думал, на помощь моему отцу и мистеру Клейтону, и остался, чтобы спасти лейтенанта д'Арно, в этом вы можете быть уверены! Если бы его помощь лейтенанту оказалась запоздалой, он давно уже был бы здесь. Тот факт, что он этого не сделал, служит для меня вернейшим доказательством того, что или лейтенант д'Арно ранен и он задержался с ним, или же, что он должен был разыскивать его похитителей вне поселка, который атаквали ваши матросы.

— Но ведь мундир бедного д'Арно и все принадлежащее ему было найдено в этом поселке, мисс Портер, — возразил капитан, — и туземцы показали большое возбуждение, когда их спрашивали о судьбе белого человека.

— Да, капитан, но они не признали, что он убит! А что касается его одежды и вещей — что же? И более цивилизованные народы, чем эти бедные негры, отбирают у своих пленников все ценное, собираются ли они их убивать или нет. Даже солдаты моего родного Юга грабили не только живых, но и мертвых. Я готова согласиться с вами, что это очень важная улика, но ведь это еще не достоверное доказательство!

— Возможно, что и ваш лесной человек попал в плен к дикарям или был ими убит, — намекнул капитан.

Девушка засмеялась.

— Вы его не знаете! — возразила она, чувствуя, как легкая дрожь гордости пробегает по всем ее нервам при мысли, что она говорит о том, что принадлежит ей.

— Пожалуй, что этого вашего сверхчеловека и правда стоило бы подождать, — сказал капитан, смеясь, — я очень бы желал видеть его.

— В таком случае подождите его, дорогой мой капитан, — настаивала девушка. — Я во всяком случае останусь!

Француз был до крайности удивлен, если бы мог вникнуть в истинное значение слов девушки. Они подошли к хижине и присоединились к маленькой группе, расположившейся на походных стульях в тени развесистого дерева.

Тут собрались профессор Портер, мистер Филандер, Клейтон с лейтенантом Шарпантье и двумя его товарищами-офицерами. Эсмеральда крутилась рядом, вставляя время от времени свои замечания. Офицеры встали и отдали честь начальнику, а Клейтон уступил Джен Портер свой походный стул.

— Мы только что обсудили судьбу бедного Поля, — сказал капитан Дюфрен. — Мисс Портер

настаивает на том, что у нас нет положительных доказательств его смерти, и действительно, их у нас нет. С другой стороны, мисс Портер уверяет, что продолжительное отсутствие вашего всемогущего друга в джунглях указывает на то, что д'Арно еще нуждается в его помощи или потому, что он ранен, или потому, что он все еще в плену в более отдаленном поселке туземцев.

— А тут предполагали, — заявил лейтенант Шарпантье, — что дикий человек, быть может, член племени чернокожих, напавших на наш отряд, и спешил помочь им.

Джен Портер бросила быстрый взгляд на Клейтона.

— Это кажется правдоподобным, — сказал профессор Портер.

— Я не согласен с вами, — возразил мистер Филандер. — Он имел полнейшую возможность навредить нам самостоятельно или же повести против нас свое племя. Вместо того в продолжении долгого нашего пребывания здесь он никогда не изменял своей роли нашего защитника и поставщика.

— Это правда, — вмешался Клейтон, — однако мы не должны пренебречь тем фактом, что за исключением его, на сотни миль кругом единственные человеческие существа — дикие каннибалы. Он вооружен совершенно так же, как они, а это предполагает постоянную связь с ними. Сам факт, что он — единственный белый среди, возможно, тысячи чернокожих, указывает на то, что связь эта могла быть только дружеской!

— Да, это вероятнее всего, — заметил капитан, — возможно даже, что он сам — член этого племени!

— Или, — добавил один из офицеров, — он достаточно времени прожил среди диких обитателей джунглей — зверей и людей, чтобы стать искусным в стрельбе и охоте и в употреблении африканского оружия.

— Не подходите к нему с собственной меркой, — сказала Джен Портер. — Обыкновенный белый человек вроде любого из вас, — простите, я неловко выразилась, — вернее, белый человек, стоящий выше заурядного в физическом и умственном отношении, никогда бы не смог, уверяю вас, прожить целый год один без одежды в этих тропических джунглях! Но этот человек не только превосходит обыкновенных людей в силе и ловкости, он настолько выше даже самых тренированных атлетов, насколько они превосходят новорожденного младенца, а его смелость и свирепость в бою равняют его с диким зверем.

— Он несомненно приобрел себе верного сторонника, мисс Портер, — промолвил, смеясь, капитан Дюфрен. — Я уверен, что каждый из нас охотно согласился бы сто раз идти навстречу смерти, чтобы заслужить хоть половину похвалы столь преданного и столь прекрасного защитника...

— Вы не удивились бы, что я его защищаю, — сказала девушка, — если бы видели его сражающимся за меня с огромным волосатым зверем. Он бросился на это чудовище без малейшего признака колебаний или страха. Если бы вы видели его могучие мускулы под коричневой кожей, если б вы видели, как он отражал страшные клыки, — вы бы тоже сочли его сверхчеловеком. А будь вы

свидетелями его рыцарского обращения со мною, незнакомой девушкой, вы бы чувствовали к нему то же безграничное доверие, которое к нему чувствую я.

— Вы выиграли ваше дело, прекрасный адвокат,— воскликнул капитан.— Суд признает подсудимого невиновным, и крейсер задержится еще на несколько дней, чтобы дать ему возможность вернуться и благодарить прекрасную Порцию.

— Ради господ бога! — запричитала Эсмеральда,— неужели вы, мое сокровище, хотите остаться в этой стране зверей-людоедов, когда у нас есть удобный случай вырваться отсюда! Не говорите вы мне этого, цветочек!

— Эсмеральда! — воскликнула Джен,— как вам не стыдно? Так-то вы высказываете благодарность этому человеку? Ведь он вам два раза спас жизнь!

— Правда, мисс Джен, все, что вы говорите,— правда, но уж поверьте мне, что этот лесной джентльмен вовсе не спасал нас для того, чтобы мы здесь оставались! Он спас нас, чтобы мы могли уехать отсюда. Мне думается, он был бы страх как сердит, если б узнал, что мы до того одурели, что остались здесь после того, как он помог нам уехать. А я-то надеялась, что уже не придется больше ночевать в этом зоологическом саду и слушать все эти скверные звуки, которые поднимаются в джунглях, когда становится темно.

— Я несколько не осуждаю вас, Эсмеральда,— сказал Клейтон.— И вы действительно попали в точку, сказав «скверные». Я никогда не мог подобрать настоящего слова для них, а это, знаете ли, очень меткое определение: именно «скверные» звуки.

— Тогда вам с Эсмеральдой лучше всего перебраться на крейсер и жить там,— заявила Джен Портер насмешливо.— Что бы вы сказали, если бы пришлось прожить всю жизнь в джунглях, как жил наш лесной человек?

— Боюсь, что я оказался бы далеко не блестящим образчиком дикого человека,— с горечью рассмеялся Клейтон.— От этой ночной какофонии у меня волосы на голове поднимаются дыбом. Понимаю, что мне следовало бы стыдиться такого признания, но это правда.

— Не знаю,— сказал лейтенант Шарпантье.— Я никогда не думал о страхе и подобного рода вещах, никогда не пытался выяснить, трус я или храбрый человек. Но в ту ночь, когда бедный д'Арно был взят в плен и звуки джунглей окружили нас, я стал думать, что я в самом деле трус! Меня не столько пугал рев хищных зверей, сколько эти крадущиеся шорохи, которые вы неожиданно слышите рядом с собой и затем ждете повторения их,— необъяснимые звуки почти неслышно движущегося огромного тела, и сознание, что вы не знаете, как близко оно было и не подползло ли оно еще ближе за то время, когда вы перестали слышать его. Вот эти шумы и глаза... Я никогда не перестану видеть эти глаза в темноте, глаза, которые видишь, а если не видишь, то чувствуешь... Ах, это самое ужасное!

Все с минуту молчали, и вновь заговорила Джен Портер:

— И он там! — она сказала это сдавленным от ужаса голосом.— Эти сверкающие глаза будут

ночью глядеть на него и на вашего товарища, лейтенанта д'Арно. Неужели вы можете бросить их, джентльмены, не оказав им, по крайней мере, пассивную помощь, задержавшись еще несколько дней?

— Погоди, дитя, погоди,— сказал профессор Портер.— Капитан Дюфрен согласен остаться, а я со своей стороны тоже согласен, вполне согласен, как всегда, когда дело идет о подчинении твоим детским причудам.

— Мы могли бы использовать завтрашний день для перевозки сундука с кладом,— сказал мистер Филандер.

— Совершенно верно, совершенно верно, дорогой Филандер, я почти забыл о кладе! — воскликнул профессор Портер.— Быть может, капитан Дюфрен даст нам в помощь несколько матросов и очевидца с «Арроу», который укажет, где зарыт сундук.

— Конечно, дорогой профессор, мы все к вашим услугам,— заверил капитан.

Было условлено, что на следующее утро лейтенант Шарпантье возьмет взвод из десяти человек и одного из бунтовщиков с «Арроу» в качестве проводника. Они откопают клад, а крейсер простоят еще целую неделю в маленькой бухте. По окончании этого срока можно будет считать, что д'Арно действительно мертв, а лесной человек не хочет вернуться, и тогда оба судна покинут бухту.

Профессор Портер не сопровождал кладоискателей на следующее утро, но, увидев, что они возвращаются около полудня с пустыми руками, поспешил на встречу. Его обычная рассеянная озабоченность сменилась нервностью и возбуждением.

— Где клад? — крикнул он Клейтону еще издалека.

Клейтон покачал головой.

— Пропал,— сказал он, подходя ближе.

— Пропал? Этого быть не может. Кто мог взять его?

— Одному богу известно, профессор. Мы могли бы подумать, что проводник солгал, но его изумление и ужас, когда он увидел, что сундук исчез из-под тела убитого Снайпса, были слишком неподдельны, чтобы быть притворными. И кроме того, под телом действительно было что-то зарыто раньше, потому что под ним обнаружили яму, закиданную рыхлой землей.

— Но кто же мог взять клад? — повторил профессор.

— Подозрение могло бы, конечно, пасть на матросов с крейсера,— сказал лейтенант Шарпантье.— Но младший лейтенант Жавье уверяет, что никого из команды не отпускали на берег без сопровождения офицера. Я не думаю, что вы станете подозревать наших матросов, но очень рад, что фактически доказана полная несостоятельность такого подозрения.

— Мне никогда и в голову не приходила мысль подозревать людей, которым мы стольким обязаны,— любезно возразил профессор Портер.— Я скорее готов был бы подозревать дорогого моего Клейтона или мистера Филандера.

Французы улыбнулись — как офицеры, так и матросы. Было ясно, что эти слова облегчили им душу.

— Сокровище пропало некоторое время тому назад,— продолжал Клейтон.— Когда мы вынули покойника, то он развалился, следовательно, тот, кто взял клад, сделал это, когда труп был свежий, потому что мы нашли его не поврежденным.

— Похитителей должно быть несколько,— сказала подошедшая к ним Джен Портер.— Вы помните, что потребовалось четыре человека для переноски сундука.

— Клянусь Юпитером,— крикнул Клейтон,— это верно! Сделали это, должно быть, чернокожие. Вероятно, кто-нибудь из них видел, как матросы зарывали сундук, а потом быстро вернулся с помощниками, и они унесли сундук.

— Такие догадки ни к чему не ведут,— печально сказал профессор Портер.— Сундук пропал. Мы его никогда больше не увидим, как не увидим и клада, бывшего в нем.

Одна только Джен Портер понимала, что эта утрата означает для ее отца, но никто не знал, что она означала для нее.

Шесть дней спустя капитан Дюфрен объявил, что выход в море назначен на следующее утро.

Джен Портер стала бы просить о дальнейшей отсрочке, если бы сама не начала думать, что ее лесной возлюбленный не вернется. Вопреки самой себе, ее стали мучить сомнения и страхи. Разумность доводов беспристрастных французских офицеров помимо воли действовала на ее убеждение. Что он — каннибал,— этому она никак не могла поверить, но, в конце концов, ей стало казаться возможным, что он — приемный член какого-нибудь племени дикарей. Мысли, что он мог умереть, она не допускала, было невозможно представить себе, чтобы это совершенное тело, полное торжествующей жизни, могло перестать существовать.

Допустив такое в мыслях, Джен невольно стала предполагать и худшее. Если он принадлежит к племени дикарей, то, должно быть, имеет жену-дикарку, быть может, целую дюжину жен и диких полукровных детей. Девушка содрогнулась, и когда ей сообщили, что крейсер утром уходит, она была почти рада. Тем не менее именно она подала мысль, чтобы в хижине были оставлены оружие, патроны, припасы и много различных предметов, якобы для неуловимой личности, которая подписалась Тарзаном — из племени обезьян, и для д'Арно, если он еще жив и доберется до хижины. В действительности же она надеялась, что эти вещи достанутся ее лесному богу, даже если бы он оказался простым смертным.

И в последнюю минуту она оставила ему весточку, передать которую поручила Тарзану.

Джен последней побывала в хижине, вернувшись туда под каким-то пустым предлогом, когда все направились к шлюпке. Она стала на колени у постели, в которой провела столько ночей, вознесла к небу молитву за благополучие своего первобытного человека и, крепко прижав к губам его медальон, шепнула:

— Я люблю тебя, я верю в тебя! Но если бы даже и не верила, я все равно любила бы. Пусть бог сжалится над моей душой за это признание! Если бы ты вернулся ко мне, не было бы другого исхода, я ушла бы за тобой, навсегда ушла в джунгли.

## На краю света

Когда д'Арно выстрелил, дверь распахнулась настезь, и какая-то человеческая фигура грохнулась ничком, растянувшись во весь рост, у порога.

Француз, охваченный паникой, собрался еще раз нажать курок, но вдруг увидел, что это белый. Еще одно мгновение — и д'Арно понял: он застрелил своего друга, своего защитника Тарзана из племени обезьян!

С криком отчаяния бросился д'Арно к обезьяне-человеку. Став на колени, он поднял черноволосую голову и прижал ее к своей груди, громко называя Тарзана по имени. Ответа не было. Тогда д'Арно приложил ухо к его сердцу. С радостью услышал он, что сердце бьется размеренно и спокойно. Он с трудом поднял Тарзана и уложил его на койку, а затем, торопливо заперев дверь, зажег лампу и осмотрел рану. Пуля лишь слегка задела голову Тарзана. Рана была поверхностная, хотя и безобразная на вид, но без признаков перелома черепа. Д'Арно облегченно вздохнул и стал смывать кровь с лица своего друга. Вскоре холодная вода привела его в чувство, и, открыв глаза, он с изумлением взглянул на д'Арно.

Он перевязывал рану полосками полотна и, увидев, что Тарзан пришел в себя, написал записку и передал обезьяне-человеку. Д'Арно объяснил ужасную ошибку, которую он сделал, и сообщил, как он счастлив, что рана оказалась не столь серьезной.

Тарзан, прочитав написанное, сел на край койки и рассмеялся.

— Это ничего,— сказал он по-французски. Потом, так как запас его слов истощился, он написал:

«Вы бы видели, что Болгани сделал со мной, а также Керчак и Теркоз, прежде чем я убил их, тогда бы вы смеялись над такой маленькой царапиной».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ





НА ГРАНИ  
ФАНТА-  
СТИКИ

Игорь ПАВЛОВИЧ

# Многоэтажная Вселенная

Рисунки  
Сергея Григорьевича

Анализируя древнейшие мифы о мироздании, исследователи отмечают: люди верили в то, что существует несколько лежащих одно над другим небес... Множественной мыслилась и сама земля, и подземные пространства.

Н. К. Рерих писал: «Для народа все, что исчезло — отправилось под землю: луга там, табуны конские, овечьи. Одним словом, приволье. В мифическом сознании спуск под землю понимался как переход в другой мир».

Прекрасны сказания о Стране Вечной Юности в холмах Англии и Ирландии. Ночью, говорят легенды, в определенное время года раскрываются холмы, и льющийся из них странный неземной свет манит случайных путников в страну сидов-карликов, ушедших под землю в давние времена. Фольклор Урала прямо указывает на путь в волшебную подземную страну. Читаем у Бажова: «Погляди по озерам и увидишь в одном посередке камень тычком стоит, вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро».

Согласно уральскому фольклору, в древние времена опустилась под землю славная и богатая страна. И слышно порой, как звенят колокола глубоко под землей: динь-дон, динь-дон.

Как похожа на эту легенда Ярославской земли о дивном граде Китеже: «Только раз в году поднимается он из вод. Золотом сияют его башни, а колокольный звон летит над стенами». Этими же свойствами обладает сказочный Гильшский замок (Варенский район Литвы), страна Беловодье Алтая, Земля Санникова, «открытая» известным исследователем Севера русским ученым Эдуардом Толлем, и т. д. Одинокие очевидцы наблюдали параллельные миры в далеком прошлом, сообщения о них приходят и в наши дни.

Казалось бы, а не отмахнуться ли от всего этого, как от явного вымысла? Настораживает неизменность районов появления подобных свидетельств. Согласно сказаниям, подземная страна Урала простирается от р. Гремихи до р. Сысерть. В поздних вариациях она отождествляется с системой подземных дворцов Медной горы Хозяйки. Это перекликается с волжскими сказаниями о сподвижнике Степана Разина Федоре Шелудяке: «Спасла его Хозяйка Каменных гор. Попал он в удивительные подземные палаты».

Мифология Жигулей смешивает «палаты Хозяйки горы» и загадку «Мирного города». «И когда встает на востоке, над Волгой солнце, видны над рекой дворцы и стены Мирного города. И стоит он по-старому, и ждет, когда богатства его людям понадобятся!»

Что-то похожее мы находим в мифах древней Индии: «В ясную погоду в чистом воздухе предстает иногда взорам смертных призрачный город с высокими дворцами и башнями; это — город гандхарвов, и говорят, что беда ждет того, кто ненароком его увидит. И голос гандхарвов слышится иногда с небес...» Наука определяет «призрачные города» как Фату-Моргану, мираж второго рода.

Фата-Моргана (фея Моргана) — явление в атмосфере, состоящее в том, что на горизонте появляются многочисленные изображения, напоминающие удаленные острова,

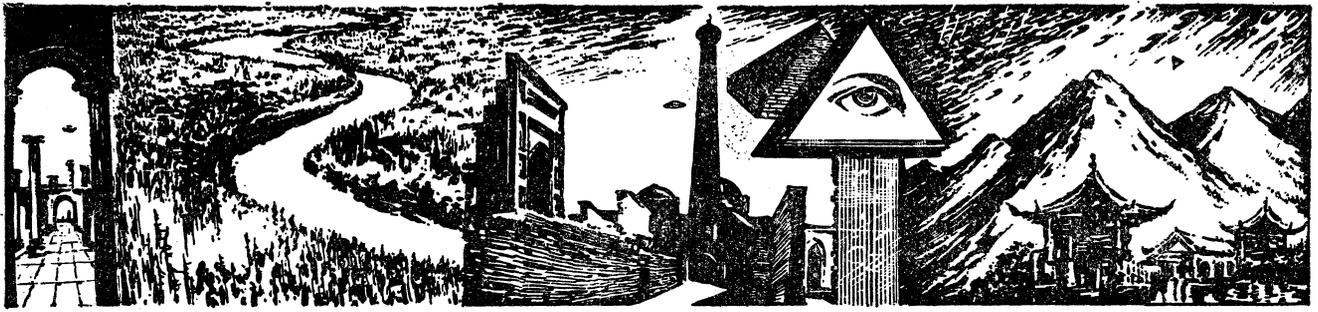
горы, города, замки и другие объекты, в обычных условиях невидимые. Представляет собой случай сложного и особенно эффективного миража. Следовательно, ряд сообщений о появлении и исчезновении городов, замков могут быть объяснены как наблюдение миража и имеют реальную природу. Одно из первых научных описаний миража принадлежит французскому ученому Г. Монжу, который наблюдал его в Египте во время похода Наполеона. Француз дал такое объяснение: «Мираж — своеобразное преломление световых лучей в неоднородно нагретом воздухе, в тепловых воздушных потоках».

Призрачные города появляются в районах, где есть озеро или речка. Появляются, исчезают, не оставляя следов. Но такими же свойствами обладают, например, удивительные существа — реликтовые гоминоиды, нединозавры. Очевидцы наблюдали их еще в далеком прошлом, сообщения о них приходят и в наши дни. На территорию их обитания в нашей стране претендуют различные области, даже обжитой, курортный Кавказ! Анализ сообщений указывает, что в месте встречи с ними всегда имеется либо река (например: р. Дольная Якутии, р. Каратага, р. Варзоба Памиро-Алтая и т. д.), либо озеро (оз. Воже, оз. Святое). Никто никогда не замечал таборов или поселений реликтовых гоминоидов, не видел групп нединозавров...

Стоит вспомнить, что фея Моргана была способна запускать в небо не одни города и замки, но и великанов, чудовищ из сказок. Можно предположить, что реликтовые гоминоиды, нединозавры тоже миражи. Нас могут спросить, а как быть с их материальными следами (пусть весьма и редкими)? Можно ответить: это не их следы. А можно...

Сказки и легенды, современный фольклор утверждают, что в призрачный город можно войти, его можно «потрогать». Он полностью осязаем. Выдумки? Древние египтяне верили, что мираж — блуждающий дух страны, которой больше нет на свете. Страна, покинувшая главный мир. Китайская мифология повествует о многих странах за гранью главного мира. «Существует страна Шоума... Если даже жители Шоума стоят прямо, то тени у них все равно нет. Когда они кричат, то ничего не слышно. Там стоит такая жара, что невозможно передвигаться». Очень ясное описание китайского автора... Возможно, древние народы знали множественность миров и умели проникать из одного в другой? Сегодня это — только фантастика...

Представление о многомерности мира, многоэтажной Вселенной пришли к нам из глубины веков. Возможность существования множества миров, «вложенных» один в другой, была логически разработана еще во времена средневековья Н. Оремом. Ряд современных космогонических теорий (например, американцев Эверета и Уиллера) указывают на возможность «разветвления» Вселенной на ряд независимых сопряженных областей, находящихся в одной и той же точке Пространства-Времени и при определенных условиях способных к взаимодействию. Доктор физико-математических наук В. Барашенков, размышляя о многомерности мира, пишет: «Обладай наш мир такими (многомерными) свойствами, вокруг нас постоянно происходили бы чудеса. Одни предметы исчезали бы без следа, другие неожиданно появлялись бы из ничего». Но ведь именно так и



ведут себя призраки-миражи. Ведут согласно теории движения в многомерности. Исчезают прямо на глазах, ибо свет от них уже не доходит до нас. Вернувшись в наше пространство, они словно возникают из ничего. Здесь материальность объекта определяется степенью насыщения его энергией. При ее малой концентрации мы наблюдаем лишь световой контур, практически не отличимый от миража. Полного перехода еще нет. Миры остаются закрытыми для перемещения вещества.

В. Авинский, исследователь контактов внеземной цивилизации с человечеством, считает, что в древности на Земле существовала высокоразвитая цивилизация: «Ее главная деятельность носила астро- или геонинженерный характер». Согласно современным представлениям физики для движения в многомерности требуются огромные затраты энергии.

Н. К. Рерих писал, что границы заповедной страны охранял Сур: «И мы замечаем на большой высоте — что-то блестящее движется от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. Мы наблюдаем большое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут: «Знак Шамбалы...»

Такие сфероидальные тела стали широко известны в наше время и даже получили название «летающие тарелки», «дисковидные зоны». Чаще всего они наблюдаются в районах древних святилищ. Вспомним хотя бы историю открытия «подземелий» Кугитангтау. Вот что сообщили в газете «Труд» свидетели: «На северо-востоке над грядой далеких гор появился ярко светящийся жемчужный шар размером в три-четыре солнца. Непрерывно увеличиваясь, он двинулся в нашу сторону. Через несколько минут сияние охватило половину неба, что-то огромное и светящееся зависло над нами. Мы шелкали затворами фотоаппаратов».

Часто видели «дисковидные зоны» над горой Жигули. В древности тут было культовое поселение. Рядом Молодецкий курган, легенды связывают его с «Потайным подземельем». Оно начинается от поселка Малая Рязань, в Поповом овраге. Тут расположена громадная пещера, носящая имя народного героя. Она поражает своими размерами: длина 20 м и высота до 5 м. Происхождение ее остается загадкой. Подземелье простирается от северного берега Самарской Луки к южному и дальше через Волгу. Над ним и возникают «миражи». Современный фольклор Жигулей сообщает: «По воде огненные искры побежали. Резкий порыв ветра. Холод. Из воды вырастает башня». Что-то похожее можно узнать из фольклора южной части Среднего Урала: выделяется гора Азов. Это гора одета сосновыми и березовыми лесами, ее вершина увенчана двумя вертикально стоящими скалами и жертвенным местом эпохи бронзы. В уральских сказаниях подземная страна связывается с волшебным Полозом: «И может Полоз все места, где золото родится, в свое кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из того кольца не уйдешь... Как солнышко село, Полоз все то озеро в три ряда ог-

ненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали...»

Специалисты указывают, что определенная геологическая структура (например, кольцевая) может вызывать локальное возмущение магнитных, гравитационных, тепловых, электрических полей. Внешние факторы (магнитная буря) — могут сдуть такое «энергетическое кольцо» в сторону, усилить или ослабить его. Можно объяснить, почему эту аномалию сложно обнаружить со спутника или большой наземной станции. Если структура поля «многополюсная», тогда силовые линии переменных магнитных полей локализованы в пределах небольшой сферы над «полюной», образуя конфигурацию, схожую со сводами из многих куполов. В этом случае обнаружить «полюну» можно лишь по косвенно-вторичным эффектам.

Имеются свидетельства, что перед появлением призрачного города наблюдались дисковидные зоны с ножкой — конус света. Многочисленные свидетельства наблюдений светящихся дисков в космическом пространстве. Интересен в этом плане район Моря Спокойствия. Здесь 21 ноября 1966 года с высоты 48 км американская станция «Лунар орбитер-2» запечатлела «объекты правильной пирамидальной и конической формы». Они расположены на сравнительно малой площади. План размещения лунных объектов в древней египетской системе «абака» с точностью до зеркального отображения сходен с планом египетских пирамид в Гизе. Случайное совпадение? Можно предположить: небесная-подземная страна — след древней космической цивилизации, указание на многомерность нашего мира.

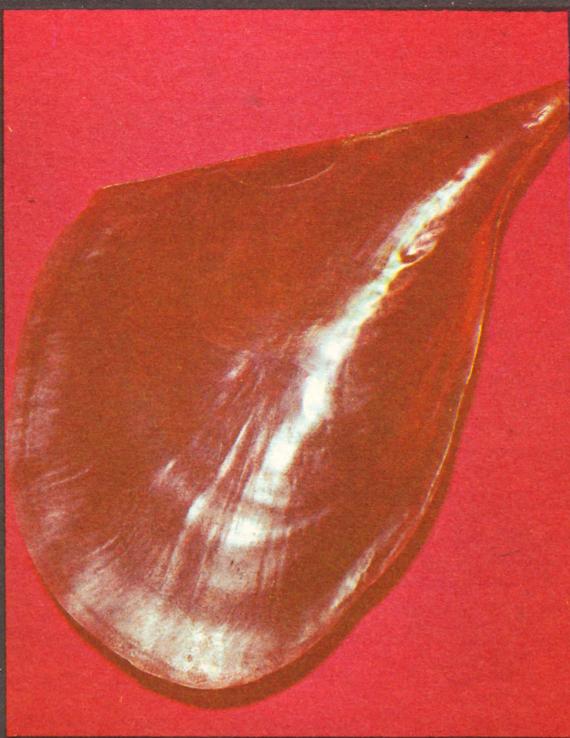
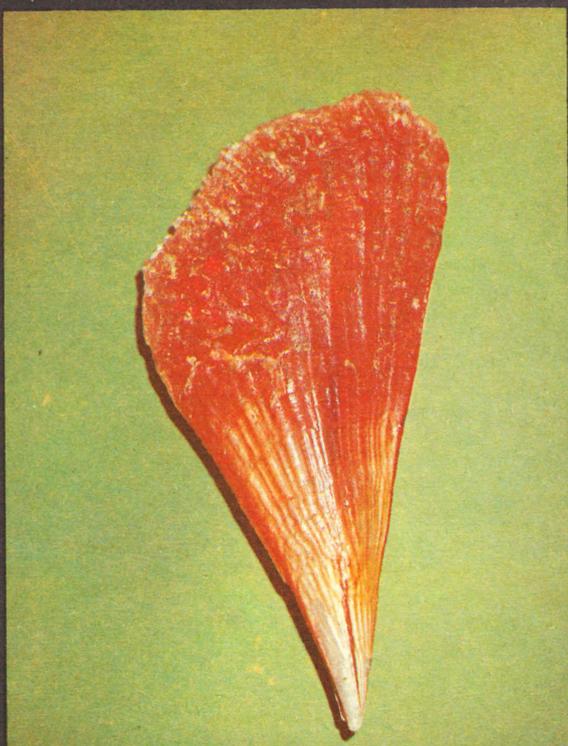
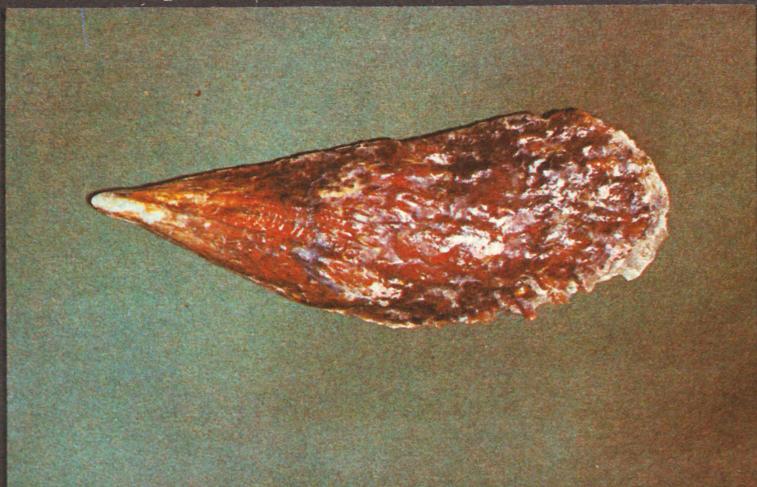
В заключение было бы полезно предложить и другое объяснение призрачных городов. Анализ географических характеристик районов их появления, а также наблюдений реликтовых гоминидов, неодиозавров, НЛО и т. д. показывает, что они совпадают с зонами биологического дискомфорта. Можно предположить, что достоверность контактов с миражами является лишь результатом воздействия электромагнитного излучения на человеческий мозг, вызывающего сложные галлюцинации. Некоторые понимают призрачные города как некие небесные ворота, через которые будет исход в райские земли.

Изучение районов возникновения миражей затруднено. Например, в Жигулях — отсутствием точной информации о точках выхода... Но устойчивость этих легенд на протяжении веков заставляет более внимательно отнестись к загадке призрачных городов, подземно-небесной страны.

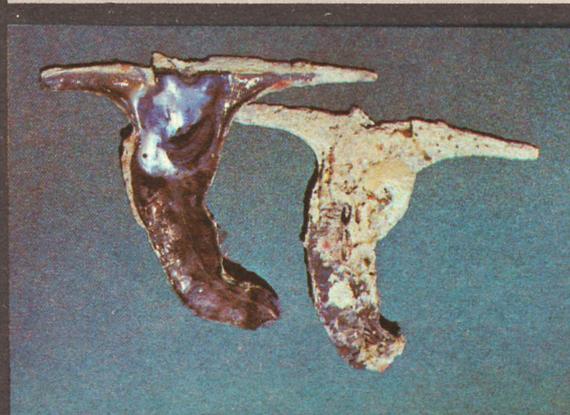


**ГАЛИОТИС ИРИС** из Новой Зеландии.  
В них очень редко попадаются зелено-радужные жемчужины.

А в таких пиннах попадаетея  
красный жемчуг.



В таких черных пиннах находят редкий черно-фиолетовый жемчуг. **ПИННА НИГРА** с Новой Гвинеи.



**МАЛЛЕУС-МАЛЛЕУС** — морской молоток. И в них попадаетея жемчуг. Маллеус живет в водах Южного Вьетнама.

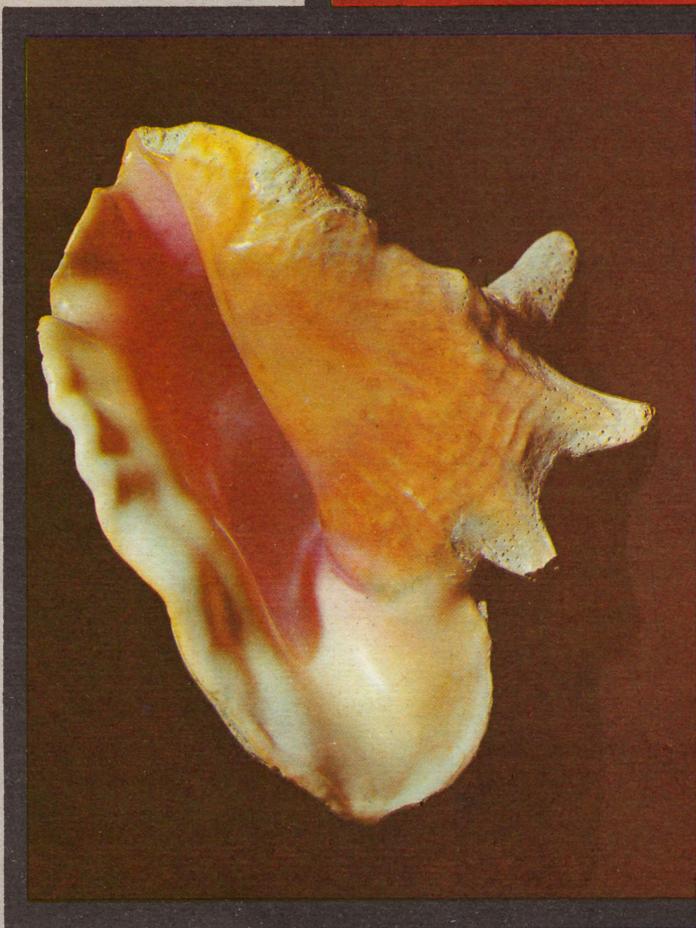
**ПИННА НОБИЛИС** из Дакара, в которой я нашел две жемчужины оливкового цвета.

**СТРОМБУС ГИГАС** — обитатель Карибского моря. В них изредка находят розовый — багамский — жемчуг.

**ПЛАКУНА СЕЛПА** из Китайского моря.



**ПИНКТАДА МАРТЕНСИИ** из вод Новой Гвинеи.



Слева — пресноводная жемчужница из наших северных рек (**МАРГАРИТАНА МАРГАРИТИФЕРА**). Справа — **ПТЕРИЯ** из Карибского моря.

Фото Николая Маркова

ДОСТИГНЕТ СОВЕРШЕНСТВА МАСТЕРСТВО,  
КОГДА УЧИТЕЛЬ ПЕРЕДАСТ ЕГО  
УЧЕНИКУ, ВСЕ КАРТЫ РАСКРЫВАЯ.  
СКАЖИ — НЕ ТАК ЛИ КАПЛЯ ДОЖДЕВАЯ  
ПРЕОБРАЗИТСЯ В ЖЕМЧУГ ДОРОГОЙ,  
ЛИШЬ В РАКОВИНЕ ЗАБЛЕСТИТ МОРСКОЙ!  
Калидаса. «Малавика и Агнимитра»



# ТАЙНА ЭМИКСИРА КЛЕОПАТРЫ

Рудольф  
БУРУКОВСКИЙ  
Фото на вкладке  
Николая Маркова

Рассказывают, что египетская царица Клеопатра как-то выпила растворенную в винном уксусе драгоценную жемчужину, чтобы сохранить красоту и вечную молодость. Что же такое жемчуг, которому приписывали столь чудесные свойства?

Существует множество легенд о его происхождении. По одной из них жемчуг — это попавшая в раковину и застывшая в ней утренняя роса. По другой легенде жемчуг — это слезы красавицы Ситы, жены прекрасного царевича Рамы. Злой демон десятиглавый Равана похитил Ситу, и когда он вез ее в лодке по морю, ее слезы попадали в жемчужные раковины и порождали жемчуг. Борьбе Рамы с Раваной за освобождение Ситы посвящен знаменитый индийский эпос «Рамаяна»...

Христофор Колумб склонен был верить, что именно роса, попадающая в раковины, и порождает жемчуг. Историк его походов Бартоломе де Лас Касас писал: «...И он гозорит, что если жемчуг родится от росы, попадающей в раковины, когда открыты их створки, как о том пишет Плиний, то есть основания предполагать, что здесь будет найдено много жемчуга, ибо росы в этих местах обильны, а жемчужных раковин, и при этом больших, встречается очень много».

И тремя страницами дальше: «Здесь, близ самого моря, найдено было множество устриц, прикрепленных к древесным ветвям, спускавшимся в воду. Створки их были открыты, чтобы принять росу, а от капель росы, попадающей внутрь раковины, зарождается жемчуг, как о том свидетельствуют Плиний и словарь «Католикон».

Вот так. Во времена Колумба легенда закреплена как бесспорный факт.

Существовало и другое поверье. Считали, что жемчуг зарождается внутри раковины от испуга при молнии. В личной библиотеке Св. Кирилла Белозерского (вторая половина XV века) обнаружен сделанный предположительно им самим вольный пересказ с византийской компиляции. Вот что в этом переводе: «А в том Красном море жемчуга множество. В том море есть раковины, то есть шивады, которые и пиннами называются. Эти пинны стоят у самого берега Красного моря, каждая из них держа свои створки открытыми, чтобы могло войти что-нибудь съедобное. Когда она стоит, держа створки открытыми, случаются там многократно частые и сильные молнии... Сила молнии падает внутрь этой шивады, а та, испугавшись, закрывает свои створки, и молния входит в зрачки ее глаз, и получается жемчужина».

Вероятнее всего, Кирилл Белозерский заимствовал эти сведения из пятнадцатитомной энциклопедии «Пир софистов» Афиней из Навкратиса (расцвет деятельности около 200 г. н. э.).

Афиней пересказывает историка Исидора из Харакса, который пишет, что «в пору гроз, когда непрерывно гремит гром и идут проливные дожди, чаще всего начинается у пинны беременность, больше всего рождается жемчужин, и к тому самых крупных».

Но в этой же энциклопедии Афиней приводит слова Теофраста — ученика Аристотеля, современника Александра Македонского, вошедшего в историю науки как «отец ботаники и минералогии». В своем сочинении «О камнях» Теофраст пишет: «К самым удивительным камням принадлежит так называемый жемчуг; он блестящ по природе, и из него делают драгоценные ожерелья. Образуется он в некоторых раковинах, подобных пиннам, только поменьше. Величиной он с довольно большой рыбий глаз».

Теофрасту вторят его современники: историограф Александра Македонского Харет из Митилены, участник походов Александра Македонского Андросфен, и все они — ни одного слова о возможном происхождении жемчуга. Чувствуется школа Платона и Аристотеля, школа мыслителей, полагающих на наблюдаемые ими явления, а не домыслы.

А вот согласно индийскому минералогическому сочинению «Ратнапарикша» жемчужины происходят от слона, облака, кабана, раковины, рыбы, змеи, устрицы. Вероятно, именно от этой книги отталкивался багдадский знаток минералов Наср ибн Якуб ад-Динавари ал-Катиб, утверждавший, что жемчуг зарождается дождем, а выращивает его раковина. Он тоже сообщал, что есть специальная порода слонов «темно-серого цвета с запахом жасмина», у которых в мясистых частях лба находят жемчужины желтого цвета.

Это было написано в X веке, через 1300 лет после Теофраста. Нельзя не уточнить, что ссылку на ал-Катиба я нашел у его современника, великого ученого Средневековья Абу-р-Райхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал-Бируни, который придерживался взглядов Теофраста. Еще один отклик нашелся в поэме Калидасы «Рождение Кумары»:

Смытая таянием горного снега,  
Кровь не видна, даже если терзают  
Львиные когти слона-исполина,  
Только на тропах виднеется жемчуг.

Это стихотворение требует расшифровки. Дело в том, что существует индийское предание, будто в головах слонов образуются жемчужины, и львы рассыпают их, раздирая слонам когтями головы. Вот где истоки сведений ал-Катиба.

Для полной ясности должно сказать, что существует целая группа образований, которые иногда объединяют общим названием «жемчуг». Так, в Индии известны известковые конкрекции, находимые в междоузлиях бамбука (Бируни называет их табашир), которые иногда использовались как бусы и ошибочно объединялись некоторыми авторами с жемчугом раковин.

Известен также пещерный «жемчуг». Вот как описывает основатель современной спелеологии Норбер Кастер его образование: «Нужно себе представить каскадик... чтобы падение воды было не очень слабым и не очень сильным и чтобы в резервуаре, куда она падает, происходили небольшие водовороты. Если в бассейн попадают зерна песка, то они беспрерывно вертятся и окатываются. Купаясь в сильно известковой воде, часто пересыщенной известью, эти маленькие ядрышки понемногу окутываются и часто закладываются в концентрические слои кальцита. Все время волнующаяся вода в лужице заставляет это драже непрерывно поворачиваться до тех пор, пока жемчужина не становится слишком большой и тяжелой...» Я специально привел цитату, так как между пещерным жемчугом и жемчугом морских раковин есть нечно общее. Например, общность химического состава и строения.

М. В. Ломоносов считал, что жемчужина — это зародыш будущей жемчужницы, и с его легкой руки в «Наставление о жемчужной ловле, каким образом при том промышленникам поступать и что примечать должно» попал следующий пункт:

«...3. Чтоб найти жемчуг, то в помянутых обиталищах не должно прежде за них приниматься, как с половины июля до половины августа месяца, ибо до того времени еще не бывает в них жемчужин, а после уже выпускают оные яко свои яйца, из коих происходят молодые раковины, и шешепоканное время есть самая пора добывать жемчуг».

На Кубани существовало поверье, что перловицы, в которых находят жемчуг, тесно связаны с поречней (выухолью — водяными родственниками землероек). Пока есть в реке поречня, есть и жемчуг.

На нашем Карельском севере ходят другие легенды. Герой очерка В. О. Опарина «Жемчуголов с реки Кереть» старый жемчуголов В. Н. Келеваев рассказывает: «Семга несет жемчуг... Его искра в жабрах у рыбы зарождается. Три года семга носит ее в море. Потом снова приходит в реку. Видит: раковины в солнечный день раскрылись, и опускает она в самую подходящую искру жемчуга».

Здорово, не правда ли? Не знаю, как кому, но у меня прямо встает перед глазами эта картина: лениво пошевеливающая плавниками крупная, серебристая рыба, стоящая в воде, из жабр которой вдруг падает что-то искрящееся, исчезающее в черной, словно замшелой, раковине...

Но куда интереснее, что связь семги и жемчужниц действительно существует! Э. П. Либман в своем очерке «Край жемчужных рек» прямо пишет: «Издавна кемляне знали, что жемчуг водится во всех реках, куда любит в избытке заходить семга, и что между этой породой рыб и «слизняком»... существует какая-то загадочная, трудно объяснимая симпатия».

Да! Много загадочного в жемчуге! Например, издавна знали, что жемчуг надо носить на обнаженной коже, а не на платье. Не зря же существовала старинная поговорка: «Шкатулка убивает жемчуг». Знали люди, что жемчуг любит ласку, что его надо поглаживать все время, чтобы он жил. Об этом, кстати, есть любопытная заметка в мемуарах Чарли Чаплина.

Но знали также, что умерший жемчуг, потускневший от времени, можно оживить. В Индии для этого предлагали дать петуху склевать жемчужные бусины. Да не простому, а красивому, с роскошным трехцветным хвостом! Через час петуха надо резать, и вынутые из его зоба жемчужины будут сверкать, как новые.

Существовал и другой, еще более загадочный способ оживления жемчуга. Суть его очень проста: юная, прекрасная девушка с ожерельем на шее из потускневшего жемчуга должна 101 раз (ни больше, ни меньше) искупаться в приборе.

Отзвук пиетета, которым всегда был окружен жемчуг, слышится и в его названиях в языках разных стран. В восточных языках широко распространено слово «марджан». Считают, что оно происходит от санскритского слова «манджари» (а «манджара» в том же языке — бутон цветка). Отсюда же и греческое «маргарон», и персидское «мерварид».

А по-японски жемчужина — «тама», но так же звучит и слово «душа». А посему по-японски «потерять жемчуг» — это еще и потерять душу. Когда я узнал это, во мне сразу отозвалось из «Слова о полку Игореве», помните? — «Изронил жемчужну душу...»

В русском языке вплоть до XI—XII веков он был известен под названием «бурмитское зерно» (или «гурмыжское» — названием, происходящим от города Ормузда). Жемчуг из города Кафы (нынешняя Феодосия) был известен как «кафское» или «кафимское» зерно.

Слово «женчюг», пришедшее в русский язык с востока, из Китая, появляется впервые в «Слове о полку Игореве». Оно происходит от китайского слова «гоньчу» — «то, что в раковине».

А вот при выяснении, откуда в русском языке взялось слово «перл» — синоним жемчуга, произошла следующая история. Я полез в этимологический словарь и узнал, что «перл» попало в русский язык лишь в XVIII веке, что по происхождению оно старофранцузское и пришло в французский язык из латинского, из так называемой «базарной латыни», на которой говорили римские легионеры, в виде измененной формы слова «перна». А на языке древних римлян это означает разновидность раковины. Я так и написал в самом первом варианте моей рукописи. Когда мой друг Кир Несис читал его, он резонно заявил, что «перна» по-латыни вовсе не раковина, а... «ляжка». Я не поверил. Уж больно далеки по смыслу друг от друга жемчуг и ляжка. Да и этимологический словарь — штука, внушающая доверие... Я заглянул в латино-русский словарь. Увы, Кир был прав, черным по белому написано именно ляжка, или окорок (что тоже не жемчуг!).

Когда я находился в очередной экспедиции, мне попала на борту судна книга Р. Вэзера «Человек и подводный мир». И вот из нее я и узнал, что окорок может иметь отношение к раковине! Ведь окороком, или морской ветчиной, жители Средиземноморья называют *pinna nobilis*. Для меня все стало на свои места! Это пинна является той самой «разновидностью раковины», которую римляне на базарной латыни звали «перна» — окорок. И от нее происходит название жемчуга «перл».

А жемчуг в пиннах, кстати, бывает. Я даже сам находил его. В Дакаре, нырнув с маской с мола, я увидел, что около одного из обросших всякой всячиной камнем медленно развезлась черная щель. Я торопливо вынырнул, глотнул воздуха и устремился обратно, прямо к камню. Пинна! Я вцепился в нее двумя руками, вырвал из грунта и поплыл к берегу. Это была *pinna nobilis*, примерно сорокасантиметровая! Но представьте мой восторг, когда вечером, препарировав пинну, я услышал, как о кювету что-то звякнуло. Не веря своим глазам, я обнаружил две жемчужины. Да, да! Именно они лежали передо мной. Крупные, примерно в пять-шесть миллиметров, неправильной формы, в каких-то наплывах, коричневатого-серого цвета. Между нами говоря, в них не было ничего из качества, присущих ювелирному жемчугу, кроме химического состава. Но ведь это были жемчужины!

Видимо, все-таки пора переходить с зыбкой почвы легенд и сказаний на твердый фундамент фактов. Ведь они существуют рядом.

Еще в XVI веке Гийом Ронделе высказал предположение, что жемчуг — продукт болезненных явлений в раковине.

Р.-А. Реомюр считал, что избыточная жидкость, выде-

ляемая моллюсками, может затвердевать и образовывать жемчуг. Тогда же возникло предположение, что жемчуг — вещество, служащее для «починки» поврежденной раковины. И это доказал великий Карл Линней в 1761 году, когда, повреждая мантию моллюска, добился образования в нем жемчужины. Этим он превзошел один из способов культивирования жемчуга.

Много позже были сформулированы современные представления. Теперь известно: чтобы возникла жемчужина, необходима целая совокупность случайностей. Прежде всего, нужно, чтобы в раковину попал посторонний предмет. Это может быть песчинка или еще что-нибудь. Например, в цейлонских жемчужницах образование жемчуга часто вызывает личинка паразитического ленточного червя. Жемчужница, покрывая личинку слоями перламутра, как бы заключает ее в саркофаг. Мало того, необходимо, чтобы будущее ядро жемчужины захватило при проникновении в раковину кусочек мантии. Она создает вокруг ядра так называемый жемчужный мешочек, клетки которого откладывают концентрические слои перламутра, в конечном итоге и образующие лучистую жемчужину.

Существует официальная классификация жемчуга. Различают так называемый круглый (правильной сферической формы), продолговатый яйцевидный (овальный), полусферический («пуговицы»), каплевидный (грушевидный) и неправильный (барокко). Чаще всего попадаются жемчужины овальной, пуговицной и неправильной формы.

В Карелии была своя классификация. Ее приводит В. В. Добровольский в своей книге «Летом день не кончается»: «Здесь наиболее крупные жемчужины, величиной с горошину, правильной круглой формы, называют «карго-полочки», т. к. их нашивали на самом видном месте на каргопольских женских головных уборах. Розоватые, деформированные, округлой формы — «крычажки», черные — «чернавки», а самые мелкие жемчужины назывались «жемчужная зернь».

Состав и структура жемчужины такие же, как у раковины. Роскошная, лучистая жемчужина по химическому составу идентична мелу (карбонат кальция), а по минеральному составу это арагонит. И жемчужиной, драгоценным камнем органического происхождения, ее делают микроскопические прослойки конхиолина — прозрачного или полупрозрачного белковоподобного вещества, близкого по составу к кератину человеческих волос и ногтей. Именно он превращает совокупность кристалликов арагонита, из которого состоит и пещерный «жемчуг», в сложную систему призм, причудливо отражающих и преломляющих в себе солнечные лучи. А золотистые и кремовые оттенки ювелирных жемчужин объясняются повышенным содержанием в конхиолине меди и серебра, розовые — натрия и цинка.

И теперь становятся понятны таинственные свойства жемчуга умирать и возрождаться.

Арагонит легко поддается выветриванию, а когда жемчужины несут на обнаженной коже, пот, имеющий кислую реакцию, стравливает тончайшие, микроскопические выветренные слои, обнажая лежащие под ними нетронутые поверхности. Примерно то же самое делает с «мертвым» жемчугом желудочный сок петуха. И, кстати, хвост здесь ни при чем. Петух может быть вообще бесхвостым.

Долгое время я не мог понять, почему же должен оживать жемчуг, если красавица искупается 101 раз в прибое. Рационального объяснения у меня не находилось. Мне казалось одно время, что это просто красивая легенда (как и искра жемчуга, что таятся якобы в жабрах у семги).

Но в 1981 году мы зашли в порт Котону в Гвинейском заливе. Когда нас отпустили в увольнение, я с друзьями отправился на пляж. Чистейший песок обжигал пятки. Пологая зыбь, почти незаметная в открытом океане, у берега, наталкиваясь на отмель, рождала прибой, который чередой пенистых валов высотой до 3—4 метров накатывался на берег.

Сначала я бултыхался в прибрежных волнах, со страхом поглядывая на громышающие рядом валы. Потом, поспешно привыкнув к их соседству и обнаглея (по-другому

я назвать это не могу), стал подныривать под более высокие и, наконец, набравшись духу, нырнул в главный, самый высокий вал.

...Как я из него выбрался — убейте, не помню! Меня подхватило, закутило, понесло... Помню лишь, как на дрожащих, подгибающихся четвереньках, весь в холодном поту, выбрался из воды, рухнул на горячий песок, прижался к нему всем телом... И еще с полчаса, как только я вспоминал про свое приключение, холодный — в буквальном смысле этого слова — пот выступал у меня на лбу и на плечах. Вот тогда и мелькнула мысль: «Бедная девушка! Ей это надо было сделать 101 раз».

Несмотря на чудесную способность жемчуга «оживать», считается, что он недолговечен. Особенно на воздухе: в конце концов теряет блеск, сморщивается и превращается в пыль. Средняя продолжительность его жизни 250—300 лет, но иногда жемчужины начинают разрушаться уже через 80 лет.

А известны жемчужные украшения и шитье, возраст которых превышает 500 лет! Так, в 1544 году в Риме была вскрыта гробница умерших в 397 году нашей эры дочерей знаменитого римского полководца Флавия Стилихона, среди украшений которых нашли 53 жемчужины. Они сохранили форму, но потеряли блеск и легко растерлись пальцами.

Без доступа воздуха жемчуг может сохраниться еще дольше: в развалинах Помпей, погребенных под пеплом в 79 году нашей эры, был раскопан скелет женщины с почтой не изменившимися жемчужными серьгами. В коллекциях Государственного Эрмитажа имеются образцы не менее древнего и хорошо сохранившегося ювелирного жемчуга, среди них двенадцать жемчужин в золотых подвесках из раскопок в Прикубанье, датированных первым веком нашей эры. Но и это еще не все. Английский палеонтолог Дж. Смит нашел в отложениях возраста около 400 миллионов лет ископаемые морские жемчужины. Они были желтого и коричневого цвета, с перламутровым блеском. Известен ископаемый пресноводный жемчуг. В 1970—1971 годах сотрудники советско-монгольской экспедиции обнаружили его в пустыне Гоби. Он имел желтовато-кремовый цвет с розовым оттенком и, как утверждают специалисты, когда-то не уступал по красоте современным ювелирным жемчужинам.

Как правило, в раковине (разумеется, далеко не в каждой) находят одну единственную, редко две жемчужины, шесть, семь — это уже совсем редкость. О совершенно уникальной находке жемчуга в мидии, найденной им у Феодосии на борту затонувшего судна, пишет М. Коваленко: «На берегу я раскрыл створки мидии. Все тело моллюска было буквально набито жемчугом и напоминало полупрозрачный мешок, заполненный отливающими перламутром шариками... В ней оказалось 133 жемчужины разных размеров — от 3,2 до 5,2 миллиметра и весом от 70 до 130 миллиграммов».

Размеры жемчужин бывают самыми различными. Арабы (они называют жемчуг «лулу») четко выделяют две разновидности: дурр — крупный, и марджан — мелкий жемчуг. Как опробует Бируни, «...мелкие жемчужины по своему размеру подобны горчичным зернам, а когда они нанизаны, то похожи на седой волосок». Не правда ли, образное сравнение? Но бывает и еще более мелкий жемчуг. Он хорошо известен специалистам по разведению мидий. Этот жемчуг, скрипя на зубах, как песок, портит настроение гурманам.

Наиболее обычные размеры жемчуга — от 3 до 9 миллиметров. Более крупные очень редки, и ценность их с размерами возрастает многократно. Некоторые жемчужины получали всемирную известность. Так, найденная в 1917 году у одного из западноавстралийских островов жемчужина размером с воробьиное яйцо и весом в десять граммов получила даже собственное имя «Звезда Запада». Оценили ее в четырнадцать тысяч фунтов стерлингов.

А вот какую раковину описывает Джек Лондон в своем рассказе «Дом Мапуи»: «...Жемчужина поразила его. Она была с голубиное яйцо, безупречной формы, и белиз-

на ее отражала все краски матовыми огнями. Она была, как живая... Когда Мапуа положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины (среди крупного жемчуга, особенно среди блистеров, обычно пустые внутри — и, значит, легкие экземпляры, быстро чернеющие и портящиеся. Об этом знал еще Бируни.— *Прим. авт.*).

Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что, казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливающим лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различать ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес».

И теперь мы в полной мере сможем оценить щедрость царя Нурадин-Фридоны по отношению к своему побратиму Тариэлю — «Витязю в тигровой шкуре» и его возлюбленной Нестан-Дареджан:

Девять перлов драгоценных  
царь поднес им в честь побед.  
Каждый был с яйцо гусыни  
и струил туманный свет.

(Перевод Н. Заболоцкого)

А помните, как в книге Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» капитан Немо, показывая профессору Аронаксу свою подводную сокровищницу, приводит его в подводный грот и показывает чудо-раковину? «Это была раковина необыкновенной величины, гигантская тридакна диаметром два метра (тридакны таких размеров неизвестны.— *Прим. авт.*)... Я подошел поближе к этому чудесному моллюску. Он прикрепился своим биссусом к гранитному пласту и рос в одиночестве в спокойных водах грота. По моим соображениям, эта тридакна весила килограммов 300... Обе створки моллюска были приоткрыты. Капитан Немо, подойдя к раковине, вложил кинжал между створками, чтобы не дать им сомкнуться, затем он поднял рукой бахромчатый край мантии.

Там, между листовидными складками мантии, свободно покоилась жемчужина величиной с кокосовый орех. Жемчужина безупречной сферической формы, чистой воды, бесподобного отлива».

Основываясь на фактах, можно предъявить целый ряд претензий к этой цитате. Например, вряд ли возможно, чтобы тридакна — типичный мелководный обитатель кораллового рифа, привязанный к нему необходимостью «заботы» о сожителях — микроскопической водоросли зооксантелле, без солнечного света погибающей, — могла жить в темном подводном гроте. Кроме того, у гигантских тридакн нет биссуса, а раковина размером в два метра весила бы полторы тонны. Но не будем об этом. Самая крупная жемчужина, описанная в научной литературе, была найдена все же в тридакне, около острова Палаван в Южно-Китайском море. Весила она 6,35 килограмма, имела длину 24, а толщину — 14 сантиметров. Это значительно больше, чем кокосовый орех! Ее назвали «Жемчужиной Аллаха». Ходили упорные слухи, что именно из-за этой жемчужины погиб сын местного шейха. Фантазия Жюль Верна в данном случае чуть-чуть уступила действительности. Конечно, такая жемчужина имеет только научное значение, вряд ли найдется женщина, которая захочет надеть на шею украшение почти в поллуна весом.

Жемчуг встречается практически во всех моллюсках, имеющих раковину, и в брюхоногих, и в двустворчатых, и даже в некоторых головоногих (наутилусах). А поскольку цвет жемчуга зависит от того, каков перламутр раковины-хозяина, точнее, конхиолин, перемежающий полупрозрачные бесцветные пластинки арагонита, он может быть самым разным. Наиболее ценный, так называемый восточный жемчуг дают родственники устриц — пинктады. В нем сосредоточены все наилучшие качества жемчуга.

А оценивают жемчуг специалисты по многим качествам. Прежде всего по ориенту — игре цветов, их перели-

вам, что зависит от степени прозрачности и отражения света поверхностями слагающих жемчужину слоев. У высококачественных жемчужин преобладают голубые и розовые тона.

Ценится также сверканье (блик в виде светлого пятнышка отраженного света) и блеск, который должен быть чуть бархатистым. Его обуславливает видимое под микроскопом как бы ступенчатое строение жемчужины, образованное нарастающими слоями перламутра, преломляющего свет.

В стромбусах, которые обитают в Карибском море, с их розовым перламутром, тоже находят жемчуг. Он имеет уникальный розовый цвет. Его называют нассауский жемчуг — по имени города Нассау на Багамских островах.

А в некоторых видах пинн Индийского океана встречается черно-фиолетовый жемчуг. Почти полуметровые пинны с раковиной интенсивно-красного цвета, обитающие в Красном море, иногда образуют такого же цвета жемчужины.

Молочно-белые и розовые жемчужины — клям — находят в тридакнах, а тускловатый жемчуг зеленого и сиреневого оттенков — в мидиях Черного моря. Возможно, именно он был известен на Руси под названием «кафского».

В раковинах причудливого «морского молотка» — маллеуса — жемчуг встречается исключительно редко, но зато отличается оттенками бронзы. Фиолетовый жемчуг бывает в ракушках венусов, а плакуны создают жемчужины самых неожиданных цветов — от свинцово-серого до красновато-черного.

Жемчуг фантастических зеленовато-синих оттенков, переливающийся, как оперение на груди павлина, встречается, хотя и очень редко, в раковинах брюхоногих моллюсков «морских ушек» — галиотисов.

Наряду с лучшими образцами морского жемчуга слывший и полупрозрачный, молочно-дымчатый, нежно светящийся «окатный», или «скатный» жемчуг, добываемый еще 500 лет назад на Руси в карельских реках. Его получали от нашей северной перловицы — маргаританы маргаритиферы (жемчужницы жемчугоносной). До сих пор в музеях сохранились украшенные жемчужинами одежды царей и князей церкви. Пресноводные жемчужницы распространены также в многочисленных реках бассейна Миссисипи в США, где и в настоящее время их отлов имеет организованый характер.

В нашей стране известны четыре вида жемчужниц. Та, что уже упомянута, маргаритана маргаритифера, заселяет водоемы европейской части СССР. Она обитает в бассейнах северных рек Карелии и Кольского полуострова, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской областей, республик Прибалтики. Раньше она жила в реках бассейна Днепра, в Московской области, в притоках Волги, а теперь южная граница ее распространения приходится на юг Калининской области.

Остальные три вида жемчужниц обитают на Камчатке (маргаритана Миддендорфа), в бассейне Амура (маргаритана даурика) и в реках Сахалина (маргаритана сахалинензис).

Очень интересна биология размножения жемчужницы. Она продуцирует около 3 миллионов яиц. Но лишь из части их в мантии моллюска разовьются личинки — глохидии, которые... паразитируют в жабрах лососевых рыб: форели, семги. Вот вам и разгадка красивой легенды, загадочного пристрастия жемчужниц к рекам, где водится семга...

Удар по северному жемчугу нанес хищнический лов лососевых, последнюю точку поставил лесослав. Щепка от сплаваемых бревен отравила большинство из тех трехсот с лишним рек, в которых водились жемчужницы. И здесь же, кстати, разгадка и последней легенды — о связи жемчуга с поречней-выхухолью. И жемчужница, и выхухоль очень чувствительны к чистоте воды. Если нет в реке условий для жизни выхухоли, не будет здесь жить и жемчужница.

Куда более глубоки корни морского промысла жемчуга. В качестве украшения его впервые находят в древнем Египте.

Начался промысел, несомненно, с находок его в раковинах на берегу моря, куда их выбрасывало штормовой волной.

Самым красивым и благородным жемчугом в те времена славились промысла Персидского залива — Бахрейн, Катар, Масира. Здесь он сохранился, кстати, до наших времен, и еще недавно по своей экономической значимости для этих стран соревновался с нефтью.

В китайском сочинении тех времен «Чжай-Жу-Чун» сообщается, что «лучший жемчуг тот, который привозят с некоторых островов страны Таши (арабов). Привозят его также из стран Си-нан (Цейлон) и Киен-Пи (западный берег Суматры). Когда отправляются на жемчужный промысел, снаряжают от 30 до 40 судов, причем на каждом находится по несколько ловцов. Ловец жемчуга обвязывает вокруг тела веревку, уши и нос затыкает желтым воском и опускается на глубину от 20 до 30 и более футов (шести-девяти и более метров). Веревка прикреплена, и когда ловец дает знак, натягивая веревку, его вытаскивают вверх и тут же окутывают разогретым к тому времени в кипящей воде одеялом. Иначе он подвергается очень сильному ознобу и умирает».

Вот картинка добычи жемчуга в водах Японии, нарисованная выдающейся японской писательницей хэйянской эпохи (IX—XII веков) Сэй-Сэнагон:

«Море всегда вселяет жуткое чувство. А ведь рыбачка-эма (в Японии лов жемчуга — женская профессия. — *Прим. авт.*) ныряет на самое дно, чтобы собирать там раковины. Тяжелое ремесло! Что будет с ней, если порвется веревка, обвязанная вокруг ее пояса? Пусть бы еще мужчина занимался этим трудом, но для женщины нужна особая смелость».

Муж сидит себе в лодке, беспечно поглядывая на плавающую по воде веревку из коры тутового дерева. Не видно, чтобы он хоть самую малость тревожился за свою жену.

Когда рыбачка хочет подняться на поверхность моря, она дергает за веревку, и тогда мужчина торопится вытащить ее как можно скорее. Задыхаясь, женщина цепляется за край лодки. Даже посторонние зрители невольно роняют капли слез».

Выдающийся шведский ученый Карл Линней в 1761 году получил жемчуг, повреждая внутренние ткани пресноводной жемчужницы. В 1904 году жемчужины размером три-пять миллиметров, на образование которых уходило до пяти лет, стал получать Ч. Хелемский, однако он никому не открывал своего метода. Позднее немецкий ученый Ф. Альвердес добился успеха, введя в ткань мантии клетку мантийного эпителия.

Подлинным же основателем жемчужководства стал японец Коукичи Микимото, добившийся первого успеха в 1893 году, а впоследствии усовершенствовавший свой метод на базе исследований доктора естественных наук Нисикава Токити.

Сейчас выращивание жемчужниц производится в 24 из 28 префектур Японии. Вот как росли «урожаи»: в 1953 году — 12 тонн жемчуга, в 1963 — 88, а в 1966 — 127 тонн! 75 процентов получаемого жемчуга идет на экспорт. Получаемые жемчужины только с помощью рентгена можно отличить от первоклассных «диких». Сейчас предприятия Микимото ведут выращивание жемчуга с огромным размахом, давно выйдя за пределы Японии. Его филиалы имеются на Цейлоне, в Австралии, Полинезии.

Лишь однажды за последние годы спрос на жемчуг упал так сильно, что несколько тонн драгоценных зерен лопатами выбросили в море из кузовов грузовых машин, куда они были насыпаны, как песок.

Не очень хочется на такой прозаической ноте заканчивать очерк об этом чуде природы — жемчуге, но что делать! Только от нас с вами зависит, сохраним ли мы флер таинственного очарования на нем или нет. Для меня лично ничего не меняется. Ведь сложность биографии — не повод для предвзятого отношения. Даже наоборот,



# НЕСТИ МИР И РАДОСТЬ

## В Тобольске возрождена духовная семинария

Именно возрождена, ибо трудилась она во славу Божию и на благо российской культуры с 1758 и до 1918-го, когда в числе всех подобных высших учебных заведений была закрыта, но, как оказалось, не умерщвлена.

Из интервью с архимандритом отцом Макарием, ректором Тобольской духовной семинарии, любезно предоставленного нашему журналу редакцией газеты «Тобольская правда»:

Вопрос: В Тобольске была ранее семинария. Ее возрождение сейчас — отрадное явление нашей современности.

Ответ: Тобольская духовная семинария — одно из древнейших учебных заведений в нашей стране. Основана она была при Петре I как школа при архиерейском доме. Позднее она была преобразована в семинарию. Тобольская семинария явилась рассадником духовного образования для всей Сибири и родоначальницей других семинарий в Сибири; в ней училось до нескольких сотен учащихся. Тобольск называли северными Афинами, а Знаменский монастырь, где она располагалась, сравнивали по его значению для Сибири с Киево-Печерской лаврой и Троице-Сергиевой лаврой.

Мне не довелось в марте застать отца Макария в Тобольске, меня принял в семинарии ее инспектор игумен отец Максим, молодой выпускник Московской духовной семинарии и Академии, принявший монашеский постриг у раки с мощами святого Сергия в Загорске. Он высказал заветную мечту:

— Хотелось бы, чтобы Тобольская духовная семинария стала детищем и подобием великой келии преподобного Сергия — Московской духовной семинарии.

Сергию было однажды видение: выглянув в окно, он увидел у келии множество птиц. Это было предзнаменование того, что его монастырь не оскудеет учениками. Мы — подобие птиц из келии Сергия.

Какой бы мы хотели видеть возрожденную Тобольскую семинарию? Преподобный Сергей более всего прославлен на ниве миротворчества. Жил он во время иноземного нашествия, и была тогда же межуособица русских князей — родные братья, с крестом на груди, шли войной друг на друга. Больно было Сергию видеть такое, и он, быв уже отшельником, пошел по земле русской, пешком, от одного князя к другому, словом Божиим убеждая их помириться для общей борьбы с захватчиками. Иллюстрацией его трудов можно назвать победу русичей в Куликовской битве, когда была спасена святая Русь (ведь татаро-монгольское иго, уничтожая все христианские храмы, уничтожило бы веру, а без веры распалась бы Русь).

Вот и мы хотели бы нести людям исконно русские святые чувства — Радость и Мир.

Но эти чувства не могут быть воспитаны одним рациональным образованием, потому мы стараемся создать здесь свою духовную семью.

Нас пока, в первый год обучения, немного — 17 учащихся и 6 преподавателей. Трудный подвиг Господь на нас возложил: возрождение нашей семинарии. Конечно, много сил и времени уходит на решение хозяйственных и бытовых проблем.

Тюремный замок передан епархии и семинарии. Ведутся ремонтные и восстановительные работы. Работают семинаристы, помогают и общественные организации, особенно — «Добрая воля».

Семинаристы своими руками реставрируют и церкви Петра и Павла, а ведь они не специалисты, не строители. Это просто чудо! Господь дал силы и крепость, ребята потрудились хорошо, на удивление — ведь в нынешнее время у молодежи другое воспитание, нетерпимость к лишениям...

Проблемы с размещением учащихся и прибывающих из Московской духовной академии преподавателей не решены. Здания, которые отошли семинарии в тюрьме, требуют капитального ремонта, а выполнить его своими силами трудно.

По долгу заботы об учащихся я вынужден был высказать это, но сие не значит, что мы пребываем в унынии. Нам радостно и приятно поселиться в городе, где трудился один из святителей Сибири — Иоанн, митрополит Тобольский. Моши его доступны верующим в храме Тобольского кремля, и семинаристы молятся у них. Это великое утешение — что здесь имеются моши святого. Почитание мошей — залог более полноценного духовного образования, которое тем и отличается от схоластического богословия, что дает не просто комплекс знаний, а познание общения с Богом.

Какие же науки питают юношей в Тобольской духовной семинарии? На первый год в программу занятий включены: история Русской церкви, Библейская история, Катехизис, литургия, церковное пение, церковнославянский язык и русский язык.

#### Из интервью с архимандритом Макарием:

— Все эти предметы направлены на то, чтобы будущему священнослужителю быть образованным пастырем. Весьма отрадным в этом отношении явилось совершение первого богослужения в семинарском храме Петра и Павла 19 декабря — в праздник столь любимого русскими людьми чудотворца Николая. Недаром этот храм у нас называется аудиторией № 1, где идет практическое применение получаемых знаний и осуществляется духовное воспитание семинаристов.

В распорядке дня, который начинается в 7 утра и заканчивается отходом ко сну в 23.00, после обеда идут «хозяйственные работы». Это не только реставрация храма, — семинаристы во всем обслуживают себя сами.

Они обеспечены бесплатным жильем и питанием, получают небольшую стипендию: 15—20 рублей плюс столько же за послушание (не путать с послушностью, хотя это качество тоже входит в обязанности послушника).

Отец Максим сожалеет о том, что нет регентской школы, ведь практика и опыт в этом профиле имеются.

#### Из интервью с архимандритом Макарием:

Вопрос: Как решается в Русской церкви проблема женского образования?

Ответ: При Московской духовной академии имеется регентская школа, при Ленинградской — регентское отделение, где учатся девушки и где готовят дирижеров церковных хоров. Ученицы получают также и необходимое богословское образование. Впрочем, цель таких учебных заведений шире — возрождение богатых музыкальных традиций. В этом направлении нужно думать и нам. Сибирь тоже нуждается в подготовленных певцах, псаломщиках и регентах.

Отец Максим, в прежней, мирской жизни получивший

диплом оркестрового отделения культпросветучилища и преподающий в семинарии церковное пение, дополняет:

— При семинарии можно получать музыкальное образование, и можно открыть иконописную школу — да такую, чтобы славилась, как славится письмо псковского монаха архимандрита отца Зенона — сегодняшнего Андрея Рублева.

#### Из интервью с архимандритом Макарием:

Вопрос: Откуда прибыли ваши ученики, и как будет происходить их распределение?

Ответ: Есть сибиряки, есть с Украины, из Подмосковья, с Урала. У нас обычно выпускников направляют в ту епархию, откуда они прибыли.

#### Вопрос: Что требуется при поступлении?

Ответ: Из документов, например, необходимо представить справку о крещении, рекомендацию местного священника. При поступлении абитуриенты пишут письменную работу, большое внимание уделяется собеседованию, спрашивается знание молитв, умение читать по-церковнославянски.

А мне показалось: необходимо предостеречь многие молодые горячие головы, алчущие развлечений. Духовная семинария — не кружок йоги и уж тем более не университет марксизма-ленинизма, где можно получить дополнительное образование. Я подумал об этом потому, что вспомнил толпы зевак, в большинстве молодых, толкающихся в храмах во время церковных праздников, вспомнил удивившую очередь человек в 60, опять же преимущественно молодых, в свердловской церкви на обряд крещения. Не думаю, что хотя бы половину этой очереди подвинула на крещение любовь к Богу: вероятнее всего, молодежь нашла, как джинсы в свое время, новую сферу моды, тем более, что сегодня участие в религиозных обрядах не преследуется государственными и общественными организациями так, как прежде. Вот только будет ли польза — духовная — от такой новой моды? Не больше ли вреда принесет фальшивая надуманная вера, чем прошлое бездумное безверие...

Наша встреча с инспектором ТДС состоялась, по совпадению, в Сретенье, и я спросил отца Максима, как он оценивает лавинообразно возросший интерес народных масс к церемониям церковных праздников и обрядов, и не собираются ли деятели церкви в связи с этим как-то усовершенствовать формы проведения массовых «мероприятий», вынести их «на улицы и площади», что ли... Отец Максим ответил:

— Церковный праздник требует церковного и воплощения. Участники его должны быть членами Церкви. Взаимоотношения священника с народом всегда выражались в пастырском снисхождении к пониманию народных требований. Церковь всегда готова снисзойти, протянуть руку народу — участвовать, например, в праздниках города, облагораживая их церковными песнопениями. Но отмечать церковные праздники вне церкви? Это трудно представить. Разве что нам в такие дни выступать в городе с лекциями, разъяснять суть наших празднеств.

При этом хотелось бы, чтобы народ — мало- или вовсе нецерковный — почувствовал, что Церковь не отталкивает его. Но и не зазывает неверующих к участию в церковных обрядах, ведь это будет — не совершенство; это — как пытаться рассказывать человеку о третьем человеке, которого тот никогда не видел. Отражение, тень. Только тень Бога истинного...

Самое ценное на свете — душа. В Святом писании говорится: «Весь тварный мир не стоит одной души». В пощении о душе я утверждаю: человек должен кушать истинную пищу...

*Беседу вел С. КАЗАНЦЕВ*

Николай ИВЛЕВ,  
краевед



# КАМЗОЛ, ПАРИК И ПАПИРОСА

Табак — это растение Нового Света, открытого, как известно, в 1492 году Колумбом. В XVI веке началось увлечение табаком на европейском материке от Лиссабона до Москвы.

Но в допетровское время у нас уже шла и яростная борьба с табаком. При Иване Грозном курение было категорически запрещено. Тайных и явных курильщиков после безрезультатных увещаний публично секли на площадях и навечно ссылали в Сибирь.

При первом царе дома Романовых Михаиле Федоровиче в 1636 году был издан указ о запрещении употреблять табак и торговать им. Предписывалось, «чтобы нигде русские люди и иноземцы всякие табак у себя не держали и не пили, и табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати или табаком учнут торговати... и за то тем людям наказание большое без пощады, под смертною казною, и их дворы и животы имеа, продавати, а деньги имати в государеву казну».

В «Соборном уложении 1649 года» царя Алексея Михайловича указ был повторен с добавлением ужесточенных наказаний ослушникам. Этим указом правоохранительные органы широко пользовались до преобразований Петра I.

Курение табака в России стало не только поощряться, но и принудительно внедряться в придворном обществе при молодом Петре I. Немецкий камзол и напудренный ржаной мукой парик, чисто выбритое лицо и курение табака превратились в признаки приобщения к европейской культуре.

Спустя столетие вышли из употребления парики и камзолы. А вот курение прижилось. Раскуривались трубки и папиросы. В продажу поступали отдельные гильзы и табак. Курили не только представители состоятельных сословий. Посасывали самодельные «цидульки» купцы, фабричные, солдаты, рабочие строительных и других сезонных артелей.

Сизый табачный дымок вился к небу над стойбищами оленеводов, избами русских деревень. Табак не только продавался в лавках тороватых деревенских торгашей, но уже выращивался в огородах. Товарный табак изготовляли из листьев и одеревеневших стеблей табачного растения.

В XVIII веке еще не предвидели никакой опасности от табака. Но неудобство и многочисленные неприятности от его употребления стали обращать внимание. Отмечались учащившиеся пожары из-за неосторожного курения. По требованию полиции, отвечавшей тогда за противопожарную безопасность, при Екатерине I был издан указ запрещающий курение на улицах сел и городов. Этот запрет был снят только в начале второй половины XIX века,

когда города стали строить из несгораемых материалов, а в продажу поступал только листовой табак, который полностью сгорал в папиресе.

Екатерининский указ не достиг желаемого результата. Новый указ от 1 июля 1865 года уже разрешил курение табака «на улицах и площадях как в столицах, так и в прочих городах и местностях». Местные же администраторы должны были определить те места, «где курение табаку признается вредным или неприличным, и потому должно быть запрещено».

После обсуждения этого указа Семипалатинским областным советом при военном губернаторе было вынесено следующее решение:

«1. Разрешить в городах и местностях Семипалатинской области курение табаку на улицах и площадях в сигарах и трубках с крышками, но не в папиросах и то только днем. При этом воспретить строго под опасением взыскания курить табак: а) на чердаках, в конюшнях, сараях, сенниках, кладовых, погребах и других нежилых строениях, б) около или близко веществ, подверженных скорому воспламенению, каковы порохи, сера, сено, солома, роужи, пенька, лен, хлопок и другие им подобные.

2. Воспретить курение табаку в местах служебных, при выборах общественных, в клубах и собраниях во время дамских вечеров и вообще, где того потребуют общественные приличия и условия».

Запрещение курения табака в Петропавловске было объяснено следующими местными обстоятельствами: «город стоит на открытом месте и постоянно подвергается ветрам; строения в оном большею частью деревянные, и улицы не мошены».

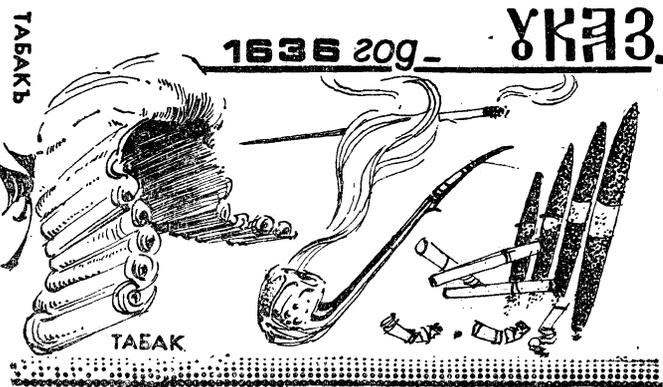
В уездном городе Ишиме власти постановили: «По тесноте деревянных построек курение табаку на улицах невозможно. Можно разрешить курение сигар и папирос во вновь устроенном саду, на берегу реки Ишима и в городской роше».

Внесла свою лепту и церковь. Она объявила табак дьявольским зельем. Папы с амвона разъяснили, что дьявол в противовес богу, наградившему человечество полезными плодами земли, подсунул людям табак.

И в XIX веке употреблению табака не было поставлено заслона. Торговля им не запрещалась, даже поощрялась. Табачные изделия ввозились из-за границы, популярными были турецкие сорта. На Кавказе, в Средней Азии и в Южном Казахстане расширялись площади посевов табака. Например, табачная фабрика верненского купца Гаврилова (ныне Алма-Атинская табачная фабрика) не раз завоевывала на европейских и российских выставках почетные призы. Гавриловский табак на мировом рынке считался одним из лучших.

Курение превратилось в своеобразную моду в среде эмансипированных городских девиц всех сословий. Фабриканты культивировали эту моду, наладив выпуск так называемых дамских папирос. Они отличались от обычных изяществом формы и удлиненным мундштуком.

г. Алма-Ата





# ПО СЛЕДАМ ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Владислав КУЛЕМЗИН

Достаточно одного самого беглого взгляда, чтобы убедиться в сложном характере формирования, казалось бы, совсем простой культуры. Для этого не надо ехать в заморские страны — стоит только заглянуть в сельский двор, войти в бревенчатый дом его хозяина. Когда и каким образом объединились в один цельный организм цветочная клумба в палисаднике, запряженная лошадь, огуречная грядка, приземистая капуста и долговязый подсолнечник, ладно сложенная кирпичная печь и электронные часы? Долго ли все это прилаживалось друг к другу?

Много загадок и тайн хранит в себе культура хантов — одного из коренных, в прошлом бесписьменных народов Сибири. Вот старый хант-охотник, сидя у костра, обрабатывает ножом сосновые лучины, и они постепенно превращаются в длинные ровные карандаши. Потом он с одной стороны этого карандаша делает небольшое углубление, накапает туда разогретой сосновой смолы и вставит железный или костяной наконечник; а с другой стороны ловко закрепит два расщепленных пера из хвоста глухаря — стрела готова!.. Она будет вставлена в хитроумное изобретение — лук-самострел, который охотник насторожит на тропе зверя.

На каждом хантыйском стойбище, возле каждого хозяйственного амбара можно увидеть большие куски заготовленной бересты. Из бересты делают удобные набирки для сбора ягод, вместительные и легкие корзины для хранения рыбы и других продуктов, большие цилиндрические чуманы для копченого мяса, различные куженьки для таких мелких предметов, как пуговицы.

Берестой покрывают жилища, оклеивают бревно рогатины, спинку детской колыбели. А какой сложный орнамент! Это не беспорядочный на-

бор кружков и кривых линий — в сложной символике переплетены солнце, рога оленя, ветви березы, следы собаки... Ни один дух болезни не приблизится к младенцу! Клей, которым приклеивают не только бересту к колыбели, но и мех к лыжам, вываривали из стерляжьих пузырей, звериных шкур, рыбею чешуи. Ничто не пропадало в хозяйстве хантов.

Вот охотник идет по обрывистому берегу реки и внимательно смотрит: не свешивается ли где кедровый корень. Если свешивается, — охотник его отрубает; другой корень взять нельзя — он нужен дереву. Умение использовать кедровый корень также вырабатывалось не одно-два столетия. Его вымачивают, а затем им переплетают рыболовные морды, связывают отдельные части нарта. В прошлом из него делали тетиву луков, рыболовную лесу. И по сей день сохранились мастера, которые умеют плести своеобразные шкатулки. Русские так и называют эти шкатулки — корневатики.

...Проводник-переводчик, который является первым помощником этнографа-полевика и который через полевика оказывает влияние на «кабинетного» ученого, делает что-то не совсем понятное, во всяком случае, не похожее ни на что. Словно опытный пекарь, он взбивает, как тесто, сырую глину, смешанную с песком и сухой травой. На специальном постаменте дугой загибает прутья, создавая таким образом нечто вроде остова шалаша. Затем остов обмазывает приготовленной глиной и дает день-два высохнуть. Впрочем, печь можно сделать и по-другому... На этот постамент, стоящий на четырех столбиках, нужно положить мешок с песком, а затем его обмазать глиной. Когда глина высохнет, мешок развязывают, и песок почти весь высыпается сам. Печь готова.

В своих жилищах ханты устраивают отопительные чужалы, устанавливая в углу кругом такие жерди, что концы их выходят наружу. Эти жерди тоже обмазывают глиной. Получается широкая глинобитная труба, опирающаяся на пол, правда, с небольшой выемкой для горящих дров. Никак не по-сибирски: все тепло уходит наружу.

На некоторых, теперь уже заброшенных местах религиозного культа, где под видом жертвоприношений ханты в прошлом забывали овец или лошадей, по сей день сохранились остатки остроголовых существ, вырезанных из дерева. Ханты-старожилы все до единого утверждают, что остроголовыми бываю только злые духи. Болезнь и смерть несут только остроголовые, хотя и невидимые существа.

«Так что же получается? — подумает исследователь. — В культуре хантов имеет место еще и среднеазиатский элемент? А подобные печи встречаются даже на северо-востоке Африки... Далекие предки хантов занимались коневодством и жили в Средней Азии, а их грозные враги саки, как пишет отец истории Геродот, носили остроконечные шапки из плотного войлока...»

Исследователь прав. Язык хантов увидит в Венгрии, деревянная посуда и шаманская одежда — на Алтай, печи — в Среднюю Азию, курительные трубки и танцы с саблями — в иранский мир, меховая одежда — к сибирским ненцам, плетеные коробики — к корякам. Многие «новинки» ввели в обиход и сами ханты.

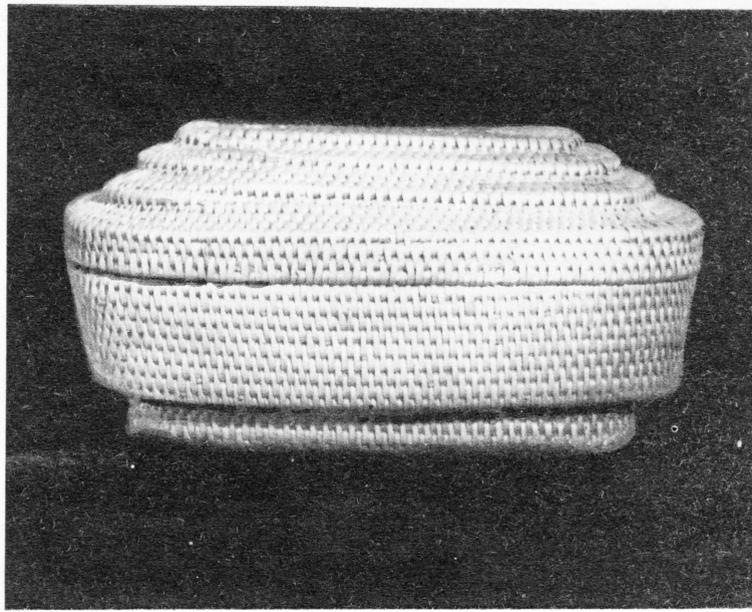
Не так-то просто выйти из подобного научного лабиринта. Лишь постепенно, объединяя усилия этнографов, лингвистов, археологов, общая наука ведет к постижению истины...



Рис. С. Бардина. ХАНТЫЙСКАЯ ПЕЧЬ

Фото В. Глулова

На снимках: ХАНТЫЙСКИЕ КОРНЕВАТИКИ



152



## ВЕСЕННЕЕ

А весной так бывает:  
Солнце меру забывает,  
Все на свете обнимает,  
Потеряв покой и стыд,  
Лезет в темные овраги,  
Жадно пьет хмельную влагу,  
Ткнуть сквозь дырочку в яранге  
Острым носом норовит.

А закроют небо тучи,  
Он упрямый и колючий —  
Шаловливый тонкий лучик —  
И сквозь них свой путь найдет:  
Озорной, как первоклассник,  
Он мясной ледник расквасит,  
Щеки девушке раскрасит,  
Парня дочерна сожжет...

АНТОНИНА КЫМЫТВАЛЬ

Фото Олега Капорейко. ЧУКОТКА